ПО
ДОРОГЕ
БОГА ЭРОСА
ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ
КНИГИ РУССКОГО ПЕН-КЛУБА
MY BEST
RUSSIAN P.E.N. BOOKS

ЛЮДМИЛА
ПЕТРУШЕВСКАЯ

ПО ДОРОГЕ БОГА ЭРОСА

ПРОЗА

МОСКВА
ОЛИМП • ППП
1993

Художник
М. ЗАКИРОВ

На обложке рисунок
Наташи Павловой
1986 г.

Петрушевская Л. С.
П 31 По дороге бога Эроса: Повести, рассказы. — М.: Олимп — ППП (Проза. Поэзия. Публицистика), 1993. — 336 с. (Серия «My best», выпуск первый, книга 2).
ISBN 5—7390—0234—6

В книгу Людмилы Петрушевской вошли ее повести «Свой круг», «Время ночь», «Смотровая площадка» и рассказы, написанные в разные годы.

П $\frac{4702010201 - 022}{Г 68(03)-93}$ Подписное ББК 84 Р7

Предлагается на суд читателя
выбранное автором. Только проза.

По дороге бога Эроса

АЛИ-БАБА

Они познакомились — так бывает — в очереди в пивбар. Она оглянулась и увидела синеглазого в финском костюме и с черными ресницами и решила: он будет мой. Поскольку она и не догадывалась, насколько легка будет ее пожива, некоторое время ушло на верчение головой, уходы («Я перед вами буду, хорошо?»), а он терпеливо стоял и ждал разрухи своей судьбы, бедный принц в единственном, что еще у него осталось, в сером финском костюме. В отличие от Али-Бабы он знал, что ни одна женщина в здравом уме на него не покусится, у них есть нюх. Ухаживание Али-Бабы он воспринял с легким интересом, собравши все остатки своей души и вспомнив то время, когда женщины и девушки в трамваях и метро еще вызывали в нем мысли типа «а что, если...». Последние несколько лет, прежде чем так подумать, он уже махал рукой. Именно: увидев девушку посимпатичней, он с озлоблением махал рукой. Али-Баба не вызвала в нем абсолютно никакого волнения, махать рукой тут было совершенно не на что, обыкновенная приличная еврейская женщина с большими черными глазками. Он не подозревал, будучи почти трезвым, что за каждыми большими глазами стоит личность со своим космосом, и каждый этот космос живет один раз и что ни день, то говорит себе: теперь или никогда. Тем более что Али-Баба, как и он, стояла в очереди в пивбар. Правда, для него поход в пивбар был возвышением до остальных нормальных и приличных людей, как эта Али-Баба. Для нее же, он мог подозревать, поход в пивбар был, возможно, падением: что делать приличной женщине в пивбаре, среди матерящихся мужиков,

пусть даже пивбар и на Пушкинской улице, где много милиции и где на стенах светильники, но где, однако, между столиками снует уборщица лет двадцати и уносит к себе в подсобку якобы порожнюю посуду из-под водки, а на самом деле клиент долго поражается, шаря у себя в ногах в полных потемках: где тут была недопитая поллитровка? Шасть в подсобку, а Нинка уже нюхает корочку, и из-за этого было много скандалов с руководством бара, минуя милицию.

Однако он не знал Али-Бабы, как и она, впрочем, не раскусила его. Оба они подозревали друг в друге порядочных людей и шли навстречу друг другу с самыми лучшими намерениями: поговорить с хорошим человеком.

Они поговорили о том, как долго здесь стоять и что в других местах тоже долго стоять, причем оба обнаружили полное знание всех возможных мест, до «Сайгона» включительно. Он подумал: «Молодец баба, всюду бывала» — и почувствовал к ней уважение, она подумала, что синеглазый, кажется, не избалован вниманием, как это могло показаться с первого полуоборота в очереди, и почувствовала к нему щемящую жалость и нежность, как к уличному котенку прекрасной породы, которого вот-вот хватятся хозяева.

Потом она прочла ему свои стихи, написанные предыдущему товарищу жизни, который проклял Али-Бабу за то, что она умело прятала не допитые им бутылки неизвестно где в его же собственной, небогатой на мебель квартире, мотивируя это тем, что не хочет, чтобы он спивался. Он и не подозревал, что Али-Баба все выливала внутрь себя, а что значит одной пустой бутылкой больше на том балконе, где они хранили обменный фонд. Предыдущий товарищ, однако, просек ее хитроумные ходы и перевалил Али-Бабу через перила того же самого балкона, куда она тихо, как можно тише, выставила пустую бутылку, но звяка не избежала по причине неточности рук. Али-Баба, будучи переваленной через перила, зацепилась пальцами за железную поперечину в оградке балкона и повисла, как гимнастка, на высоте четырех этажей. Проходящий народ быстро вычислил, откуда ветер дует, и стал взламывать квартиру, поскольку испуганный товарищ жизни Али-Бабы не открыл на звонок, а сидел на кухне и придумывал, какие показания он даст в милиции: то ли самоубийство, если никто не видел, то ли что она хотела его скинуть вниз, а он защищал свою жизнь. Вид у него был злобный, когда ворвавшиеся два шофера привели к нему Али-Бабу с совершенно скрюченными пальцами рук. Шофера хотели сбегать за водкой,

видя, как расплакался мужик, но в квартиру набежали еще бабы, поднят был большой крик, вызвана «скорая» неизвестно зачем, хотя Али-Баба умоляла этого не делать. Наконец все разошлись, не «скорая» же лечит скрюченные пальцы, все это в амбулаторном порядке, а версию Али-Баба придумала такую, что мыла балкон снаружи. Врачи не следователи, не стали проверять, где ведра и тряпки, сделали успокоительный укол Али-Бабе и мужику и уехали. А мужик в секунду выставил Али-Бабу из дому, в бешенстве собрал все ее тряпки в свой рюкзак и бросил с того же балкона. А у нее там все было — и мохеровая кофта, и рейтузы, и мало ли еще что. Косметику она оставила в ванной, неверным шагом спустилась за рюкзаком и ушла к себе домой к маме, где очень долго так и жила со скрюченными пальцами рук, не в силах начать устраиваться на работу. И поход в пивбар был для нее началом новой эры.

А финский костюм оказался в этом пивбаре после недолгой внутренней борьбы, поскольку, не заставши нужного человека в конторе, куда он был послан начальством (в результате разных перипетий финский костюм в свое время был понижен до старшего лаборанта и использовался на разных работах, в том числе и как курьер), он решил пообедать (у каждого человека может быть обеденный перерыв) в пивбаре жидким хлебом, как он называл пиво.

— Жидкий хлеб, — сказал этот Виктор, осушивши кружку.

— Солнце, — ответила Али-Баба.

— Понимаю, — сказал Виктор, — все от фотонов.

— Я люблю солнце, — ответила Али-Баба.

— Возьму еще? — предложил Виктор, а она запротестовала, что теперь ее очередь, он уже брал шесть раз.

И Витя опять подумал, что баба понимающая, так как денег у него теперь было только еще на две кружки, и это вплоть до получки, то есть на будущую всю неделю.

А у Али-Бабы деньги были, она взяла у матери восьмой том Блока, с конца, чтобы мать не схватилась. Бунин у них уже стоял в четырех томах вместо девяти. Анатоль Франс в трех, а двухтомник Есенина отсутствовал целиком. Половина нажитого имущества, считала Али-Баба, принадлежит ей, не ждать же смерти мамы. Кстати, мать лежала в больнице и не знала, что Али-Баба вернулась, а то бы она прекратила врачебные исследования и в тот же момент Али-Баба оказалась бы на принудительном лечении от алкоголизма, как уже дважды было. Почему Али-Баба и опа-

салась возвращаться домой, жила у подруг и друзей уже давио, только подруг у нее уже почти не было, одна Лошадь, да и та завела себе мужика Ваиечку, который бил смертным боем и самое Лошадь и всех, кто к ней приходил, так что быстро отвадил круг друзей, а привадил грузчиков из гастронома, и в доме всегда было что выпить и чем закусить, пошла веселая жизнь. Что касается Али-Бабиных друзей мужского пола, то у иее с этим проблем не было, вставал только вопрос, где ночевать. У всех друзей были жены или матери; а как раз сегодня мамаша Али-Бабы на арапа позвонила из больницы, и заспанная Али-Баба ответила «Але», и мамаша тут же сказала: «Ты что, дома?», но Али-Баба тут же положила трубку и больше уже ие отвечала иа звоики, а под иеумолкающий трезвон собралась, печально взяла том Блока, остатки косметики, материны нераспечатанные колготки, флакон успокоительных таблеток и оказалась в очереди в пивбар.

Когда пивбар закрыли, оии пошли домой к Виктору, благо он жил один. Это было большое открытие для Али-Бабы, узнать, что Виктор, во-первых, не женат, а во-вторых, живет без мамы. То есть у иего есть давно вымечтанная хата. И хотя ои ие слишком горячо воспринял предложение Али-Бабы пойти к иему, ио все-таки они на ночь глядя пошли имеино к иему, ои открыл ключом дверь и еще дверь, и там, в комнате, было темно и тепло, хотя и отдалеино смердело. Ои включил настольную лампу, нашел и постелил чистое белье, и наступила ночь любви. Али-Баба была довольна, что обрела пристанище, Виктор был доволен, что ие сплоховал и нашел чистые простыии, когда к иему пришла порядочная женщина, и иа сон грядущий Али-Баба по собственной инициативе почитала ему еще раз свое стихотворение «И нелегкой дорогой иду я к тебе... Никому ие подвластны мы в нашей судьбе». Не дождавшись конца длинного стихотворения, Виктор заснул, то есть стал громко и мерно храпеть. Али-Баба замолчала и с нежным, материнским чувством в душе благодарно заснула, после чего иемедлеино проснулась, потому что Виктор обмочился. Али-Баба тут же поияла, почему Виктор жил бесхозный и ничей и почему его бросила сука жена, разменявшая трехкомнатную квартиру на квартиру себе и девять метров ему, а он безропотно согласился. Али-Баба заплакала, вскочила, переоделась, села к столу и в полиой темноте, при храпе и зловоиии задумалась еще раз над своей судьбой, после чего приняла давно уже приготовленный фла-

кончик успокоительного. Виктор очнулся к утру, увидел лежащую лицом в стол Али-Бабу, прочел ее записку и вызвал «скорую». Когда Али-Бабе сделали промывание желудка, она пришла в себя, и ее увезли в психбольницу уже в полном сознании и вместе с ее сумкой. Виктор, дрожа с похмелья, кое-как оделся и пошел на работу дожидаться, когда откроют винный отдел, а Али-Баба в это время уже лежала в чистой постели в палате для психически больных женщин сроком не меньше чем на месяц, ее ждал горячий завтрак, беседа врача, рассказы соседок об их бедствиях, и ей было о чем им всем порассказать, в особенности то, что когда она в первый раз приняла таблетки, то ослепла на сутки, во второй раз проспала тридцать шесть часов, а на шестой раз встала в восемь утра ни в одном глазу.

ПО ДОРОГЕ БОГА ЭРОСА

Маленькая пухлая немолодая женщина, обремененная заботами, ушедшая в свое тело как в раковину, именно ушедшая решительно и самостоятельно и очень рано, как только ее дочери начали выходить замуж, — так вот, рано располневшая немолодая женщина однажды вечером долго не уходила с работы, а когда ушла, то двинулась не по привычному маршруту, а по дороге бога Эроса, на первый случай по дороге к своей сослуживице, женщине тоже не особенно молодой, но яростно сопротивлявшейся возрасту — или она была таковой по природе, вечно юной, как она выражалась, «у меня греческая щитовидка» и все. Вечно молодая сослуживица праздновала день рождения и ни с того ни с сего пригласила к себе эту Пульхерию (как они на работе называли ее по имени гоголевского персонажа, верной пожилой жены своего мужа), а могли бы ее называть также и Бавкидой по заложенным в нее природой данным быть верной, бессловесной, твердой как камень и преданной женой, но Господь Бог судил иначе, и Пульхерия осталась очень рано в единственном числе с двумя дочерьми. Она-то была верной, но этого для жизни мало, как выяснилось, и у ее мужа завелась после санатория знакомая, были звонки, даже угрозы, что кто-то «примет газ» и так далее, а

затем Пульхерия, как известно, осталась одна и мгновенно, как только младшая дочь вышла замуж и забеременела, она тоже как бы забеременела ожиданием, ушла в себя, спряталась в свое пухлое маленькое тело, в щеки, спрятала глаза, когда-то большие и, судя по фотографиям, прекрасные (одну из таких фотографий Пульхерия как-то нашла на своем пороге с выколотыми зрачками, понятно чьи дела)— но прежде всего Пульхерия спрятала душу, бессмертную душу юного гения, каким его рисуют — с крыльями, бесплотного, с кудрями и сверкающими лаской и слезой глазами. Все это Пульхерия быстро спрятала, быстро обросла бренной плотью, кудри обвисли. Но этот гений добра не исчез, как мы увидим дальше, и иногда сверкал в ней, подобно озарению. На работе она так болела за свое маленькое порученное ей судьбой дело, что в буквальном смысле болела, когда, к примеру, назначили некомпетентную начальницу, злобную и никчемную, которая уничтожала все предыдущее и накопленное со злорадством беса, перекроила уже приготовленную к отправке выставку, заставила писать новые тексты, и вот тут Пульхерия и ее молодая еще ровесница Оля спелись и сдружились. Люди быстро объединяются на почве общего негодования, забыв все свои взаимные чувства, и ничего хорошего из этого, как правило, не возникает. Так вышло и в нашем случае. Сухая и самолюбивая Оля возненавидела начальницу люто, вся жизнь Оли была в работе, поскольку дома у нее происходили какие-то неурядицы и проживал тяжело больной муж, поэтому были регулярные поездки к нему в больницу и мучения с ним дома, затем имелся сын, который быстро женился и хотел привести прямо в дом к маме какую-то ловкую бабу старше себя, и Оля потемнела лицом на глазах у сослуживцев, но потом все-таки она поселила парочку у новоявленной жены в тесной комнатке плюс родился ребенок, а у Оли с мужем были хоромы. Вот в эти хоромы Пульхерия и поплыла по житейскому морю, предварительно поручив на один вечер все дела дочери, но болея душой за нее, как она справится с малышом одна, оставшись со своим суровым, но бестолковым юным мужем.

Пульхерия, таким образом, оттолкнулась от житейского берега и взмахнула веслами, чтобы уже никогда больше не возвращаться в прежнюю жизнь. Все произошло так мгновенно и все так переменилось, что уже назавтра Пульхерия не помнила ни себя, ни, страшно сказать, свою семью, она как бы впала в сон, а некоторые считали, что она слегка повредилась в разуме, например та же Оля.

Итак, приехав на место, Пульхерия сразу затерялась, засунула свое бренное толстое тельце в какой-то угол и там затихла, наблюдая утомленными, заплывшими глазами за хлопотами и приготовлениями Оли, не такой скорбно-значительной, как всегда на работе, а простой и домашней, в кружевном старинном фартучке. Оля была очень мила, ей помогали какие-то женщины-подруги с прическами, а в большой комнате (сколько комнат было вообще, Пульхерия не посмотрела) курили у телевизора мужчины — для Пульхерии этот высший свет, этот шикарный мир людей со свободным временем не существовал, и Пульхерия даже и не подумала предложить свою помощь, она просто сидела и отдыхала в кои-то веки. Пульхерия очень хорошо и с некоторой неловкостью всегда понимала истинные побуждения людей, и в этом случае она тоже понимала, что Оля хочет окончательно подавить ее, Пульхерию, своим великолепием и затем с ней, подавленной, выступить единым фронтом, три человека в отделе, пойти в наступление на начальницу, скинуть ее и затем заступить на это место самой. Пульхерия с досадой думала о своей всегдашней мягкотелости и уступчивости, что поехала в эти гости, где все чужое и малоинтересное, но у маленькой Пульхерии тоже весьма накипело на душе против начальницы, которая плевать хотела на огромную многолетнюю работу по обработке фондов и хотела все перевести на другие рельсы, на рельсы самоокупаемости, в том числе в русло пикантных разоблачений кто с кем жил и какие есть письма и доносы. Начальницу быстро назвали «Шахиня» и поняли, что она хочет на чужих плечах сделать докторскую, для того она и въехала сюда на плечах мужа, замдиректора родственного НИИ, а он взял на работу кого-то из детей их директора, тоже порядочного проходимца, похожего на артиста в роли архиерея. Все всем было известно и всех брала тоска, но что делать!

Таким образом, Пульхерия сидела в гостях тихо и безучастно, выключившись полностью, отдыхая от своих бесконечных трудов, уйдя в свою личину толстенькой тихой бабушки и чуть ли не древней старушки — при том что Пульхерия была старше Оли всего на два месяца. Однако заметим, для будущего это важно — Пульхерия расценивала свою внешность как несуществующую и знала про себя, что настанет момент, и она из куколки, из кокона обратится обратно в бабочку. Она как бы играла сама с собой в старость в том возрасте, когда другие еще очень и очень возрождают-

ся и поддерживают в себе тонус — и сама не знала, что о т т у д а уже нет выхода таким как она. Оле был выход, а ей — нет. Тем не менее Пульхерия иронически приглядывалась к Олиной вечной молодости и расценивала все ее гимнастики, диеты, корты и лыжи как легкий сдвиг. Пульхерия к себе относилась легкомысленно, а Оля даже сделала небольшую косметическую операцию за ушами и стала еще моложе, а во рту у нее полыхал голубоватый фарфор, но Пульхерия стеснялась смотреть на Олю в ее затянутое лицо выше уровня рта. Она, что называется, смотрела Оле «в рот», что Оля принимала за ее приниженность. Оля вся была как на ладони, а Пульхерия носила в своей душе маленького, но крепкого и иронического ангела-спасителя, который все про всех понимал, и Пульхерия в ответ на все иронические замечания Камиллы, третьей сотрудницы, молодой женщины богемного типа из художественной среды вечно в свитере, джинсах, кольцах и браслетах — в ответ на ее иронию в адрес молодящейся Оли Пульхерия только вздыхала. А Оля решила полностью опереться на приниженную Пульхерию и именно ее пригласила в гости в дом на день рождения, а Камиллу инстинктивно оставила без внимания, поскольку Камилла на работе томилась, начальнице грубила и просто так бы поддержала любое деструктивное, то есть разрушительное, начинание в адрес существующего положения вещей. Камилла могла бы, кстати, и не пойти в гости к старому бабью, да и Оля могла опасаться ее подлинной без натяжки юности. Так что оставалась безопасная Пульхерия, а у Камиллы были другие мечты и другие дела, и на этом мы ее оставим. Камилла тоже была не просто так с улицы взята на работу, у нее имелись непростые родственники.

Пульхерия сидела сиднем, потом стронулась, как все, будучи приглашенной к столу, села и расплылась, растаяла, как бы не существовала уже, вела скромную и тихую, как обычно, жизнь, что-то попивала, ела салаты, пока вдруг не поняла, что рядом спрашивают, как ее зовут. Это был мужчина, сидевший справа. Пульхерия ответила, завязался разговор, речь шла о том ученом, архивом которого много лет занималась Пульхерия. Ученый был уже разоблачен, свергнут, забыт и упоминался только в юмористическом и разоблачительном плане, а Пульхерия знала всю его жизнь и все его взаимоотношения с великими мира сего, любила его, как энтомолог любит особую разновидность, допустим, мелкого жучка, признанного вредоносным, но

открытого собственноручно. Поэтому она возражала, как ей казалось, обывательскому тону в вопросах этого соседа и тихо и немногословно отвергла общепринятую точку зрения. У вредного старца была надежная защита в лице кроткой Пульхерии! Сосед начал ниспровергать и горячиться, а она не стала продолжать разговор, снисходительно помалкивая. Сосед приводил общепринятые и истасканные факты, давно обнародованные, а Пульхерия знала многое другое, но, как специалист, не снисходила до спора с невеждой, а только вздыхала. Один раз она поправила его, и он с изумлением посмотрел на Пульхерию, настолько изящным и точным было ее возражение. Пульхерия тоже впервые посмотрела на своего соседа и увидела как в тумане красноватое худое лицо, седые всклокоченные волосы, недостаток одного зуба впереди и воспаленные, часто моргающие, очень светлые глаза. Пульхерия увидела, однако, не совсем то, а увидела мальчика, увидела ушедшее в высокие миры существо, прикрывшееся для виду седой гривой и красной кожей.

Сосед глядел на Пульхерию и мягко улыбался. Он, видимо, вообще улыбался всегда, есть такие люди с определенной мимикой, они всегда улыбаются и в этом их обаяние, но улыбка эта не означает ровным счетом ничего, и многие люди ошибаются, приняв ее на свой счет. Сосед, однако, улыбался Пульхерии как восхищенный ее разумом, покоренный собеседник, и Пульхерия полюбила его жалостливой, щемящей любовью, такой получился результат. То есть она сама еще не знала этого, а просто как бы освободилась, расцвела, и ее гений послал сияющий луч доброты в адрес соседа справа, и дело было завершено. Пульхерия тихо и со вздохами, но твердо и обоснованно рассказала о предмете своих исследований — то, чего она никому бы не рассказывала, но важен был не предмет, а сущность разговора. Сущность же была в том, что эти двое нашли друг друга за пиршественным столом, где вино лилось рекой и дым стоял коромыслом, а хозяйка, раскрасневшись до лилового румянца на своей новенькой коже, необыкновенно похорошев и подобрев, бегала из кухни в комнату, но на одном из своих путей она, приостановившись и принагнувшись, сказала соседу Пульхерии что-то громко на ухо. Громко и на ухо в основном говорят обидные, язвительные вещи, рассчитанные на чужой слух и на оскорбление адресата, но Пульхерия не поняла ничего, и Оля удалилась, а беседа продолжилась. Сосед затем проводил засобиравшу-

юся Пульхерию до двери и вдруг заторопился, надел зимние сапоги (он был почему-то в домашних тапках), оделся и пошел провожать Пульхерию вон из дому. Они отправились по морозцу пешком до метро, и Пульхерия не стеснялась ни своего легкого старого пальтеца с висящими кое-где нитками, ни своей шапки, бывшей меховой, еще со времен молодости. Кудри Пульхерии обрамляли ее милое пухлое лицо, глаза раскрылись, румянец проступил на бледных щеках, короче говоря, ее гений, ее ангел-хранитель вознесся сквозь толщу плоти, уже готовой к старости. Пульхерия была доведена до метро, затем до вагона, затем провожатый влез вместе с ней в поезд и еще долго вел Пульхерию до самого ее дома, до подъезда, где прощание было церемонным и галантным, так как Пульхерин была поцелована ее пухлая маленькая рука, кстати, очень красивая. Ни о каком номере телефона и речи не было, Пульхерня даже не узнала имени своего любимого человека и так, согбенно и скромно, скрылась во тьме подъезда, ни о чем не думая.

Однако червь отчаяния начал глодать ее уже ночью. Пульхерия знала себя и знала, что не спросит никакую Олю о том, кто это был этот сосед справа. На работе Оля вела себя обычно, все силы занял у нее очередной конфликт с начальницей, которая, сидя в той же комнате что и Оля, попросила Олю достать ей из шкафа нужную папку. Оля вспылила и предложила начальнице самой прогуляться до шкафа, и завязался свистящий разговор о перечне служебных обязанностей. Пульхерия нз соседней проходной комнатушки, где она обреталась в архнвной пыли и не спеша обрабатывала очередную папку писем, слышала всю беседу соперниц, но — удивительно — она настолько была занята своими мечтаниями и мыслями о Неизвестном, что все это пролетело мимо нее. И на обеденном перерыве, стоя в очереди, она слышала, как Оля, вся кнпя, с мнимым юмором рассказывала кому-то инцидент, поправляя его довольно грубо в свою пользу, но Пульхерия, опять-таки равнодушно, пропустила это мимо ушей. Оля тоже как бы сторонилась Пульхерин, не прнгласила ее как обычно идти в столовую вместе, а пролетела словно фурия, не глядя по сторонам. То ли она не одобряла все, что произошло вчера, то ли равнодушие Пульхерии дало о себе знать — ведь иногда, Пульхерия это давно заметила — ты думаешь, что к тебе началн относиться плохо, а на самом деле просто это ты уже плохо начал думать о человеке. Все люди внутрн остались животными и без слов чувствуют все, что происходит, ни

одно душевное движение не остается без ответа, и более всего равнодушие.

Равнодушная Пульхерия, однако, отстояв очередь до кассы, к своему удивлению, двинулась с подносом к столику, за которым уже сидела взбешенная Оля совершенно одна. Пульхерия твердо решила ни о чем не спрашивать Олю и спросила:

— Ну как вы вчера?

— Что вчера? — резко ответила Оля.

— Я ушла раньше...

— А, какое кому дело до мытья посуды, — едко ответила Оля. — Нет, вы видели эту хамку, она меня просила написать объяснительную записку. Кто она? Жена она, и все! Она же жена этого идиота, друга нашего идиота! А знаешь какая у нее была диссертация? Особенности морфологии суффиксов ачк-ячк и ушк-юшк! Ушки-юшки! И идет после этого без стыда работать к нам!

Оля еще долго говорила, что у нее тоже есть связи — у мужа — времен института, такие связи, что боже мой. В президиуме, сказала Оля своим свистящим голосом, так что за соседними столами явно слышали. И что ей стоит только позвонить. Что ее мужа тоже ценят и уважают как математика, и неважно, чей муж где работает и что один болен, а другой здоров как бугай, но полное ничто как ученый. Важно как кого уважают! И когда муж болен, слышали бы вы, какие люди звонят и спрашивают, как он чувствует!

— А что с ним, — неожиданно для себя спросила Пульхерия, чтобы только перевести разговор поближе к своей теме, к событиям в доме Оли, к своему Неизвестному.

— Не спрашивай, — ответила Оля. — Шизофрения. Вот так!

Пульхерия должна была бы страшно пожалеть бедную Олю, от всей души, с содрогнувшимся сердцем, но она почему-то осталась вполне спокойной.

— Я этим диагнозам не доверяю, — сказала Пульхерия.

— И он старше меня на десяток добрый лет, я не знала и вышла замуж (дело причем было лет двадцать с гаком тому назад!).

— А ты не верь.

— И выяснилось недавно, что это уже давно. Все желудок, желудок, худел, все ссорился на работе. Вроде бы ему не дают заниматься прямым делом. Зарезали докторскую.

— И что же в этом ненормального? — спокойно сказала Пульхерия. — Это обычно.

— Он так бил кулаком в больнице по стене, все думали от боли, а потом стали спрашивать меня, я все рассказала. Говорят: как хорошо, что вы пришли, он все звал вас, пусть придет Аня. Аня, представляешь?

— Аня? — спросила сбитая с толку Пульхерия. Она еще не понимала, что вся ее последующая жизнь обрисована была Олей в этом разговоре. Пульхерия ничего не понимала, но слушала прилежно, с бьющимся сердцем. Оля явно что-то ей хотела сообщить, что-то внушить.

— Сказали: он все звал вас, позовите Аню, позовите Аню!

— Аню?..

— А сам никому не нужен, кроме меня. Хорошо у нас в отделе я не дала ему телефон, а на той работе звонил по десять раз в день. Ревнует. Сумасшедший.

— А как же ты? — сказала Пульхерия вполне бессмысленно.

— А вот так. Хорошо еще, что он в постели пока слава Богу, а то бы я вообще повесилась. Ты рассмотрела, какие у меня гости были мужики?

Пульхерия не ответила, только воззрилась на Олю, ничего не понимая.

Оля сказала:

— Какие мужики, и все мои любовники, я их всех собрала с женами, жены тоже все мои подруги. Что-то же надо делать с начальницей!

Ошеломленная Пульхерия заткнулась на этом, вопросов больше не задавала, Оля отвлеклась на новый рассказ о событии, а Пульхерия пила компот, неожиданно для себя ощущая жар в щеках.

Мыслей о разговоре с Олей хватило Пульхерии на всю вторую половину рабочего дня, Пульхерия должна была честно признать, что есть какая-то область жизни, совершенно непонятная, но именно там на пороге могут лежать фотографии с проколотыми глазами. Эти соображения перемежались у Пульхерии волнами страшной тоски. Внешне же это выглядело так, что Пульхерия углубилась в чтение все одного и того же пыльного старинного письма.

Тем же вечером, возвращаясь с работы с тяжелыми сумками, Пульхерия увидела у подъезда в сумерках фигуру с непокрытой седой головой. Как само собой разумеющееся, возникло перед ней то, о чем она тосковала все последние сутки, и теперь душа Пульхерии успокоилась. Она повела гостя к себе в квартиру, где на кухне сушились пеленки, в

большой комнате у молодых была тишина, то ли они гуляли с ребенком, то ли спали все втроем перед бессонной ночью: ребенок часто плакал между тремя и пятью утра. Пульхерия завела гостя к себе в маленькую комнату, где было чисто и просто, диванчик (Пульхерия смотрела на все новыми глазами, как бы со стороны), круглый столик еще бабушкин, кресло — все рухлядь и старье, но старье старинное, в том числе два маленьких книжных шкафа и старые книги в них. Гость сразу стал рыться в книгах, Пульхерия принесла чай и жареную картошку с кухни, поели в молчании, потому что гость весь ушел в книгу, потом он сказал, что ему пора, и удалился. Пульхерия, не прикоснувшись к нему рукой в этом тесном пространстве, после его ухода взяла книгу, которую он смотрел, и прижала ее к груди, закрывши глаза. Так она сидела в полной прострации, пока не загремело на лестнице, это молодые, везя коляску, ворвались в квартиру с шумом, громко разговаривая, забегали, затопали, полилась вода в ванной, закричал ребеночек, а Пульхерия сидела, не в силах выйти из комнаты, и думала, что хорошо, что их не было дома — и думала, что же это с ней происходит!

Теперь каждый вечер она семенила домой, на работе сидела как во сне и как во сне пребывала дома, делала все то же, то есть стирала, убирала, готовила, бегала по магазинам, но все в полной отключке, потому что каждый вечер приходил Он — то на час, то на пятнадцать минут, сидел, что-то говорил, приносил все время одни и те же пирожные «картошка», они ели, пили чай, он читал ей иногда вслух, иногда писал в тетрадке цифры типа формул, потом исчезал. Пульхерия сильно похудела, все вещички с нее сваливались, она почти ничего не ела, с работы старалась улепетнуть как можно быстрей и незаметней. Еще большую роль играло то, что Пульхерия жила сравнительно недалеко от работы — она как будто придавала огромное значение тому, что именно в назначенное время, минута в минуту, он должен был появиться, и пропустить это время было нельзя. Молодежь очень быстро привыкла к гостю, его не стеснялись, хотя и никаких бесед не происходило, только здоровались и прощались, если он попадался им на своем целеустремленном пути, а вид у него был именно целеустремленный, такой же как у Пульхерии, когда она торопилась домой.

На работе Пульхерия очень много трудилась, почти не поднимая головы, и Оля к ней быстро охладела, тем более

что она внезапно как бы набралась сил (какие-то результаты закулисных переговоров), объединилась вдруг с начальницей, и они обе совместно стали выживать с работы молодую Камиллу, которая действительно и опаздывала, и брала часто бюллетень, и грубила, хотя работа ее продвигалась, статью она написала, и очень дельную. Но все разрешилось на том, что Камилла, как это выяснилось, уйти с работы не имела права, она, это выяснилось, ждала ребенка, муж привозил ее на машине и раньше времени увозил. Результат был такой, что начальница и Оля еще при наличии Камиллы начали активно искать ей замену прямо в ее присутствии, и Камилла грубила им обеим еще с большим чувством, но пухла и увеличивалась на глазах, и уже с трудом таскала ноги. Кто-то им всегда был нужен как предмет борьбы, и хорошо, что это была Камилла, однако Пульхерия чувствовала, что недалек и ее час. По институту прошел слух, что у Пульхерии не все в порядке с головой: Пульхерия явно опаздывала со сдачей в срок ежегодного листажа, на обед не ходила, а бегала по магазинам. Никто не знал, что все ее время занимает Он, каждый вечер к ней приходил ее Каменный гость и неслышно сидел как камень, и не могла же она при нем писать свои труды! Она и делала это по ночам, а утром тащилась на работу, ничего не успевая, и там сидела сиднем и что-то корябала на своих карточках, не видя в своих занятиях смысла.

Дело разрешилось на том, что спустя два месяца такой жизни ее гость пропал. Проживши три ужасных дня, Пульхерия опять пошла обедать в институтскую столовую и села за столик, где восседали начальница и Оля. Они-то встретили ее радушно, посоветовали обратиться к хорошему врачу (Оля вызвалась даже устроить консультацию), начальница похвалила статью Пульхерии, наконец-то сданную, Оля похвалила Пульхерину фигурку («у тебя что, диета»), и затем они продолжили свой разговор, от которого Пульхерия оцепенела.

— Значит завтра до обеда меня не будет, — сказала Оля значительно.

— Как скажет ваша милость, — сказала начальница шутливо. — Можешь быть уверена.

— Положили в беспокойное отделение, — сказала Оля. — Это — буйное отделение. Там его убить запросто могут. Да те же санитары. Надо переводить его во второе, как обычно. Там его знают, там его любят. А то в этом беспокойном его заколют совсем, вообще больным придет дебилом или импотентом.

Начальница при этом сделала рот как для поцелуя и пошлепала сочувственно губами:

— В буйном да, сделают.

— А очень просто, — сказала Оля. — Я когда вызвала психоперевозку, он начал скандалить, не шел, а от этого зависит. На улице кричал громко «помогите!» и извивался. Санитары прямым ходом отвезли в беспокойное.

— Это кто? — спросила Пульхерия.

— Мой, — ответила Оля. Щеки у нее были сизо-алые. — Ведь что кричал? Что я его враг, додумался! Типичный бред. Кидался в окно, разбил стекло головой, весь порезался, все было залито кровью, еще кошка эта поганая пришла, я его держу, как Иван Грозный, а она лижет с пола... Веником выгнала, нализалась человеческой крови, как людоед!

— А с чего это началось? — спросила Пульхерия участливо. Сердце ее стучало.

— Опять начал пропадать из дома на сутки, на двое, возвращался ободранный... Голодный, грязный...

Врет, — подумала лихорадочно Пульхерия.

— Еще что: ну как это у них, не спал, ни с кем не разговаривал, одичал... На работу, слава тебе Господи, он вообще раз в неделю ходит... Одну статью в год пишет, они и рады... Одну статью, а они после этой статьи диссертации защищают... А он до сих пор кандидат... Конечно, он гений. Доморощенный. Я на работу, обратите на странности поведения, они отвечают, директор, спасибо, ему надо отдохнуть, дадим путевку... А он тут же бросается из окна головой в стекло... Я одна, я одна только знаю... Присосались к нему какие-то пиявки опять.

— Ну ты подумай, — вставила начальница.

— Не работал, ни одной формулы, я смотрела, обычно он исписывает пачками бумагу...

Пульхерия вспомнила, что Он иногда писал что-то в тетрадке. «Опять врет», — подумала она.

Оля вытирала со щек щедрые слезы, не обращая ни на кого внимания.

Пульхерия теперь все знала. Оставалось выяснить, в какой больнице он лежит. Как-то все сразу соединилось, встало на свои места. Огонь горел у Пульхерии чуть выше желудка, как будто зажгли лампочку и именно на том месте, где обычно ухает, когда человек проваливается или видит чужую рану.

— Ничего, пройдет, — сказала она. — У меня брат лежал в Кащенко, ничего, выпустили.

— В Кащенко мы не лежали, — ответила Оля задумчиво. — Мы лежали в своей, там его знают с первого раза, с этой Ани начиная. Чуть не кирпич из стены выпал, так он бил по стенке кулаком.

— Ничего, выйдет и опять все путем, — сказала начальница.

— Но сколько можно на одного человека! — воскликнула Оля. — Сколько можно! Эта его девушка, я имею в виду сына, опять она его подсылает разменять квартиру! Настрополила сына подавать в суд! Ему же говорят языком: она получит квартиру, которую мы тебе дадим, сами останемся на бобах с психически больным отцом и она тебя погонит. Отдай сыну квартиру, не будет ни сына, ни квартиры!

И дальше потекла ее речь одинокого в своей огромной квартире человека, всех раскидавшего, безудержного, страстного и непобедимого.

Пульхерия сидела окаменев за этим столом над пустыми грязными тарелками.

— Главное, — продолжала Оля, — всегда находятся бабы, которые на него клюют. Вечно навещают его в больнице, носят ему домашние пирожки с капустой, передают бульоны, черта-дьявола. Я говорю нянечке: никаких передач, кроме меня, мало ли они ему намешают в тот бульон. Чтобы не тревожили его, не беспокоили. Слава Богу, сейчас в больницах карантин, вообще никого не пускают из-за гриппа. Так только, передачи принимают или письма. Он ведь там, его держат, он ничего не ест.

— Как моего брата, — сказала Пульхерия задумчиво. — Но его брали как диссидента, он голодовку объявил. Кормили через зоид.

— Уж не знаю, — раздраженно сказала Оля, — через что его там кормят. Врач сказала, что у шизофреников это такая форма самоизлечения, все эти голодовки. И не надо вмешиваться в организм. Но голодовка именно в буйном — это страшно. Они там не церемонятся, сразу пускают электрошок. Как через электрический стул проводят, только электрический стул это раз и навсегда, а тут повторяют.

Пульхерия держалась изо всех сил, она понимала, что Оля вызывает ее на реакцию, что Оля за ней наблюдает, как за подопытным животным.

На этом обед завершился, Пульхерия вернулась за свой стол в свою проходную комнату, теперь кончились, как ни странно, ее страдания на протяжении всех этих трех суток,

проведенных абсолютно без сна, теперь начались только его страдания, его жизнь там, в тюрьме, его одиночество в толпе буйных зверей. Страдания брошенной женщины превратились в страдания насильно разлученной женщины, а это разные вещи, как разные вещи горе вдовы и горе покинутой, подумала Пульхерия, наблюдая за собой. Лихорадка, знакомое еще со времен проколотых фотографий чувство, оставила ее. Пульхерия даже с некоторым торжеством думала о покинутой Оле, о победительнице, не нужной никому.

— И если бы не мои любовники, я бы вообще повесилась, — сказала Оля, входя последней в отдел.

— Ой, не говори, — откликнулась из комнаты начальница Шахиня. — Иной раз любой хорош.

— Нет, я этим брезгую, у меня люди преданные, семейные, я всех собираю на день рождения и на всех смотрю.

Так сказала Оля, задерживаясь за стулом Пульхерии.

Так она пыталась уменьшить победу Пульхерии, и Пульхерия все поняла и осталась спокойна.

Она размышляла. Тоска еще не захлестнула ее, не накрыла с головой, Пульхерия отдыхала после смертельного ужаса, и волны любви и преданности носили ее над этим грязным полом, над стулом, над столом, голова кружилась, Пульхерия как бы шептала что-то о своей любви над пыльными письмами, старалась послать всеми силами Ему поддержку.

Когда-то Его страдания должны будут кончиться, надо будет Ему помочь, надо будет действовать с предельной осторожностью, передать весточку, надо будет жить, все рассчитав, до полной победы, до освобождения, до свободы, хотя опыт Пульхерии с ее братом-диссидентом подсказывал ей, что все очень непросто, и яростным усилием освободить человека это еще не все. И дело не в формальностях, не в правах человека, грубо нарушенных и потому легко восстановимых. Стронуть человека с его места, даже с такого места это большой риск, думала пока что спокойно, как шахматист в начале партии, Пульхерия. Нельзя трогать человека, думала Пульхерия, нельзя, нельзя, он все должен сделать сам. Все, кто до сих пор его освобождали, все эти переносчицы пирожков и бульонов ушли в тень, исчезли, а Пульхерия знала, что должна остаться в его жизни — остаться верной, преданной, смиренной, жалкой и слабенькой немолодой женой, Бавкидой.

Пульхерия за одну секунду превратилась в какого-то

полководца, знающего силу отступления, ухода в тень, силу молчания. Надо будет ждать. Он вернется, — думала Пульхерия. — Он сам прорвет эти цепи. Он сильный. И слишком велико беззаконие, ему помогут. Ему поможет сын. Победа придет, но без меня. О ужас, ужас, — подумала Пульхерия, — не видеть его, ничего не знать.

— Ты не желаешь поехать со мной в больницу? — подошла сбоку к ней Оля. — Ты ведь за столом, помнишь, с ним сидела, вы так мило толковали, забыв прямо обо всех!

— Это был твой муж? — ровным голосом спросила Пульхерия.

— Ты что! Он ведь тебя поехал домой провожать, я ведь его попросила, помнишь? Перед чаем.

— Он проводил да, до автобуса, — сказала Пульхерия, — я же ведь откуда знала, что он больной. Я их боюсь после брата, я и брату в Америку редко пишу.

— Интересно, — сказала Оля и вся как-то затуманилась, выпрямилась, взор ее обратился вдаль, упершись в грязные обои над Пульхериным столом. — Интересно, какие бывают суки, приманивают больного человека.

— Я не приманивала, — холодно ответила Пульхерия, — он сам меня пошел провожать. Там пять минут ходьбы, автобус сразу подъехал, у меня и никаких подозрений не было, что он больной.

— Ну, поехали со мной? Лидочка нас отпустит. Мне одной страшно.

— Ты извини, у меня ведь внук...

— Так это в рабочее время!

— Ты извини, мне как-то неудобно, кто я такая.

— Да он меньше на меня орать будет при постороннем человеке, — сказала Оля.

— Ой, да я боюсь, — ответила Пульхерия и достала из ящика очередной пакет писем.

— Слушай, — как-то медленно заговорила Оля. — Ты не видела, в какую он потом сторону пошел?

— Откуда я видела, я не смотрела. И потом в автобусе стекла замерзли. И буду я проверять, зачем мне это!

— С кем-то он все это время жил. Со мной лично он не спал, — так же задумчиво сказала Оля.

— Ну, — отвечала на это Пульхерия довольно холодно, — это от меня не зависит. Он мне такого наговорил про деда, — Пульхерия показала на портрет объекта своих исследований, находящийся под стеклом в виде то ли Ворошилова, то ли Гитлера, с пучком волос под носом и в пенсне

как у Берии, такая была мода у руководителей той эпохи. — Он сказал, что я вообще работаю напрасно, гну спину.

— Это он умеет, оскорбить, унизить, задеть, — сказала Оля. — Это у него главное в личности. Он сам гений, все же остальные сявки. Это квартира, где проживает гений, все ему принадлежит, а нет! Вот нет! Это его инициатива разменивать квартиру, а ее дали на нас на всех! Мне сын сам проболтался, что он хотел сыну двухкомнатную квартиру, себе квартиру, а мне, как последней спице в колеснице, что останется. Но не вышло! Он психически больной и вообще недееспособный. А как сын-то разорялся кричал! Наследственность. Надо его показать психиатру. Отец, видите ли, все ему подписал, все бумаги на размен квартиры! А я оформляю над отцом опеку, он ненормальный и недееспособный! И все! Квартиру ему! Да не ему, а этой! (Она добавила еще слова.)

Неожиданно Пульхерия покраснела, но она сидела читала, и такая же раскрасневшаяся Оля стояла и не видела ее лица, не вглядывалась, ее несло как на крыльях, она проклинала, угрожала, сулила чертей, и все напрасно.

— А ты возьми с собой Лиду, Шахиню, — сказала Пульхерия.

— Да хорошо, хорошо, никто мне не нужен, первый раз, что ли, — сказала выдохшись Оля и удалилась к себе.

Пульхерия, прошедшая с честью проверку Оли, продолжала корпеть над своими пыльными бумажками в тесноватой проходной комнате без окна, дело шло к марту, и Пульхерия работала в большой тоске. Она знала, что теперь надо только положиться на судьбу, набраться мужества и ждать терпеливо, скрываясь...

Ибо одно было то, что ничего не стоило вспугнуть Олю. Узнав правду, она способна была бы поджечь квартиру Пульхерии, убить мужа каким-нибудь легким способом — санитары в буйном отделении тоже люди, и сколько ни надейся, там могут найтись преступники и взяточники.

И второе было то, что Он, Каменный гость, мог уже забыть свою Бавкиду, свою Пульхерию, ибо любовь — это игра и ничего больше, она боится взаимности, привязчивости, преданности, боится платить долги и любит загадку и ложные пути.

Гость ценил недоговоренность, внезапность, свободу и нападал только из-за угла.

Возможно, в нынешних обстоятельствах ему было уже

не до игры. Возможно, он и обвинял Пульхерию, проклинал эту нелепую пухлую старушку.

И Пульхерия залегла на дно, и единственно что с ней произошло, — она побарахталась и тихо перебралась в другой отдел и на этом пути похудела, осунулась и каждый день, возвращаясь домой, чуть не теряла сознание.

И только в конце июня Пульхерия, поздно идя домой из библиотеки, увидела у подъезда на скамейке знакомую фигуру, сидящую в свободной позе нога на ногу, фигуру в сером, с седыми волосами.

Гость медленно встал, открыл перед ней дверь, Пульхерия прошла, позорно споткнувшись — он поддержал ее под локоть, как даму, и повел к лифту.

ТЕМНАЯ СУДЬБА

Вот кто она была: незамужняя женщина тридцати с гаком лет, и она уговорила, умолила свою мать уехать на ночь куда угодно, и мать, как это ни странно, покорилась и куда-то делась, и она привела, что называется, домой мужика. Он был уже старый, плешивый, полный, имел какие-то запутанные отношения с женой и мамой, то жил, то не жил то там, то здесь, брюзжал и был недоволен своей ситуацией на службе, хотя иногда самоуверенно восклицал, что будет, как ты думаешь, завлабом. Как ты думаешь, буду я завлабом? Так восклицал он, наивный мальчик сорока двух лет, конченый человек, отягченный семьей, растущей дочерью, которая выросла ни с того ни с сего большой бабой в четырнадцать лет и довольна собой, в то время как уже девки во дворе ее собирались побить за одного парня и так далее. Он шел на приключение как-то очень деловито, по дороге они остановились и купили торт, он был известен на работе как любитель пирожных, вина, еды, хороших сигарет, на всех банкетах он жрал и жрал, а виной всему был его диабет и непреходящая жажда еды и жидкости, все то, что мешало и помешало ему в его карьере. Неприятный внешний вид, и все. Расстегнутая куртка, расстегнутый воротник, бледная безволосая грудь. Перхоть на плечах, плешь. Очки с толстыми стеклами. Вот какое сокровище вела к себе в одно-

комнатную квартиру эта женщина, решившая раз и навсегда покончить с одиночеством и со всем этим делом, но не деловито, а с черным отчаянием в душе, внешне проявлявшимся как большая человеческая любовь, то есть претензиями, упреками, уговорами сказать, что любит, на что он говорил: «Да, да, я согласен». В общем, ничего хорошего не было в том, как шли, как пришли, как она тряслась, поворачивая ключ в замке, тряслась насчет матери, но все обошлось. Поставили чайник, откупорили вино, нарезали торт, съели часть, выпили вино. Он развалился в кресле и посматривал на торт, не съесть ли еще, но живот не пускал. Он смотрел и смотрел, наконец взял пальцами зеленую розу из середины, донес до рта благополучно, съел, облизал щепоть языком, как собака.

Потом посмотрел на часы, снял часы, положил на стул, снял с себя все до белья. Неожиданно очень белое оказалось белье, чистый и ухоженный толстый ребенок, он сидел в майке и трусиках на краю тахты, снимал носки, вытер носками ступни. Снял очки наконец. Лег рядом с ней на чистую, белую постель, сделал свое дело, потом они поговорили, и он стал прощаться, опять твердил: как ты думаешь, будет он завлабом? На пороге, уже одетый, заболтался, вернулся, сел к торту и съел с ножа опять большой кусок.

Она даже не пошла его провожать, а он, кажется, даже этого не заметил, приветливо и по-доброму чмокнул ее в лоб, подхватил свой портфель, пересчитал деньги на пороге, ахнул, попросил разменять трешку, ответа не получил и пошел себе со своим толстым животом, детским разумом и запахом чистого, ухоженного чужого тела, совершенно даже не подумав, что тут ему дан от ворот поворот на веки вечные, что он проиграл, прошляпил, ничего ему больше тут не выгорит. Он этого не понял, ссыпался вниз на лифте вместе со своей мелочью, трешками и носовым платком.

По счастью, они работали раздельно, в разных корпусах, она на следующий день не пошла в их общую столовую, а проторчала за своим столом весь обеденный перерыв. Вечером предстояла встреча с матерью, вечером начиналась опять та, настоящая жизнь, и неожиданно для себя эта женщина вдруг заявила своей сослуживице: «Ну как, ты нашла уже себе хахаля?» — «Нет», — ответила эта сослуживица стесненно, поскольку ее недавно бросил муж и она переживала свой позор в одиночку, никого из подруг не пускала в опустевшую квартиру и никого ни о чем не уведомляла. «Нет, а ты?» — спросила сослуживица. «Я —

да», — ответила она со слезами счастья и вдруг поняла, что попалась бесповоротно, на те же веки вечные, что будет теперь ее трясти, ломать, что она будет торчать у телефонов-автоматов, не зная, куда звонить, жене или матери или на службу: у ее суженого был ненормированный рабочий день, так что его свободно могло не быть ни там, ни здесь. Вот что ее ожидало, и ее ожидал еще позор как то лицо, которое все бесплодно звонит ему по телефону все одним и тем же голосом в добавление к тем голосам, которые уже до того бесплодно звонили этому ускользающему человеку, наверное, предмету любви многих женщин, испуганно бегающему ото всех и, наверное, всех спрашивающему все одно и то же все в тех же ситуациях: будет ли он завлабом?

Все было понятно в его случае, суженый был прозрачен, глуп, не тонок, а ее впереди ждала темная судьба, а на глазах стояли слезы счастья.

МИЛАЯ ДАМА

История была весьма и весьма плачевной как с точки зрения того, каков был состав действующих в этой истории лиц, так и с точки зрения того, насколько эта история была банальна, и оттого странным могло бы показаться, что она все-таки повторилась и разыгралась как по нотам, от смехотворного ловушечного, ничем не подозрительного начала и до конца, в котором было буквально все как бы заранее предусмотрено — и отчаянные взгляды, и как будто бы невинные рукопожатия, с той только особенностью, что последний отчаянный взгляд послал не кто иной, как человек шестидесяти с лишком лет, и послал он его из окошка такси, широко улыбаясь и помахивая рукой в адрес остающихся, а среди остающихся находилась молодая женщина, двадцати с чем-то лет, и именно ей и была послана отчаянная, оскаленная улыбка откуда-то снизу, с сиденья машины, уже наглухо запертой и готовой отъехать.

Таким образом, оба героя нашей истории уже внешне очерчены, и этого достаточно, поскольку ничто не играло в этой истории такой роли, как именно разница в возрасте,

тем более что по всем другим статьям они подходили друг другу как нельзя лучше и в иных обстоятельствах, при других возрастных соотношениях, у них мог бы получиться классический роман с участием многих действующих лиц — ее мужа, например, или немолодой жены нашего героя, и, возможно, получилась бы трагедия и мало ли что еще.

Однако, как это принято говорить, она несколько опоздала родиться, то есть Земля и звезды повернулись непоправимое число раз, прежде чем она соизволила явиться на свет, а он уже давно тут пребывал. Никакими другими, никакими другими причинами, кроме этих нескольких оборотов Земли и звезд, нельзя объяснить, почему он так отчаянно скалился, сидя внизу в такси и готовясь отбыть навсегда, навеки и повторяя, что зачем же так прощаться, если послезавтра он снова будет тут, вернется, у него тут, на даче, всякие дела.

Впрочем, возможно, что и он строил какие-то свои радужные планы и что-то вымерял и высчитывал, выкраивал какое-то время на дальнейшее, чтобы продолжать вести эти беспредметные разговоры со своей избранницей, со своей милой дамой, которая теперь оставалась на даче доживать неделю ради маленького ребенка — и несколько раз кивнула головой в ответ на его слова о скором возвращении, кивнула головой в беспечной уверенности, что так оно и будет.

Возможно, что и он в этом был уверен, когда уезжал, наглухо запертый в машине, — и возможно, что этому его возвращению помешали отнюдь не высшие соображения о бесплодных круговращениях Земли и звезд в те времена, когда он жил без нее, без своей милой дамы, поскольку ее даже не было на свете, и отнюдь не соображения, что теперь все карты спутаны этим ее поздним приходом на Землю, излишне, чрезмерно поздним. Возможно, что он о таких материях даже не помышлял и думал только о своих запутанных делах, которые ему предстояли в городе, где начиналась суровая повседневная жизнь, отличная от беспечных каникул на даче, от всех этих бесед при свете солнца и прогулок при ночных туманах. И весьма возможно, что городские дела поглотили его без остатка, когда он после сладкого дачного воздуха нырнул в атмосферу города, сидя на заднем сиденье обшарпанного низкого такси.

Однако может быть и так, что и высшие соображения обрушились на него, как только он сел, погрузился на низ-

кое сиденье такси и оттуда, снизу, из-под крыши, стал делать приветственные знаки рукой и улыбаться своей милой даме.

Вместе с ним уезжала и его жена, и она тоже улыбалась, отчаянно оскалившись при этом, и это у них с мужем оказалась совершенно одинаковая улыбка, которая, в частности, возникла на лице жены сразу же, как только муж представил ей свою милую даму, соседку по даче и спутницу прогулок. Жена, правда, приехала внезапно, нагрянула как снег на голову, хотя ей ничто не угрожало, но она приехала, совершенно ни за чем, взяла отгул на работе и приехала без повода и причины. Они провели вместе, втроем, десять — пятнадцать минут, причем, разумеется, вначале наступило некоторое замешательство, поскольку жена с отчаянной улыбкой смотрела на милую даму и наконец сказала, что прикидывает в уме разницу в возрасте. «Небольшая», — пошутила милая дама, и разговор потек дальше, безумный разговор о каких-то супах, которые муж вынужден был здесь есть, и о синтетических супах вообще. Жена, вероятно, чрезвычайно волновалась во время этого разговора, и вдруг в разговоре наступила пауза, однако присутствовавшая тут же хозяйка дома повела с этой женой отдельную беседу, и наконец те другие двое получили возможность поговорить еще раз, в последний раз, на сей раз в таком опасном окружении. И они стали говорить о каких-то пустяках, буквально перебивая друг друга и действительно забыв обо всем на свете.

А затем пришла машина, заказанная заранее, и все кончилось, и исчезла проблема слишком позднего появления на Земле ее и слишком раннего его — и все исчезло, пропало в круговороте звезд, словно ничего и не было.

Бессмертная любовь

СКРИПКА

Она врала безудержно, путалась сама в своих рассказах, забывала то, что говорила вчера, и так далее. Это был типичный, легко распознаваемый случай вранья, напускания на себя важности и преподнесения всех своих действий как каких-то важных, имеющих большие последствия, в результате чего должно было что-то произойти, но ничего не происходило; а она все с тем же своим важным видом тащилась через всю палату, неся немного на отлете голубой конверт, в котором содержалось, вероятно, не Бог весть какое послание, но она несла его с чудовищной важностью, всем своим видом демонстрируя высшую необходимость послать письмо. То, что содержалось в ее письме, приблизительно было знакомо всем присутствующим в больничной палате, — но, очевидно, было знакомо только намерение, с которым посылалось письмо, а не то, в какие слова она облекла это свое явное намерение, в какую форму все эти свои жалкие, всем очевидные желания упрятала и как на этот раз наврала избраннику своего сердца, некоему инженеру Валерию, живущему в другом городе.

Из этого, однако, никак не следует, что она, эта самая Лена, была болтлива или охотно вступала в объяснения по поводу своего теперешнего положения. Напротив, она была немногословна и излишне церемонна, в особенности эта церемонность выступала на сцену во время обхода главного врача, который любил с Леной беседовать, обходя по понедельникам больных. Главный врач, отечески нахмурившись, говорил, что все идет как надо и если все так и в дальнейшем пойдет, то наша студенточка поправится и

выйдет еще немного погулять, прежде чем наступит самое главное; и что бояться выходить на улицу не надо, перебивал он затем Лену, надо, надо перед родами подышать свежим воздухом, прогуляться по парку, набраться сил. «Ну, а как руки? — спрашивал он у Лены. — Как руки скрипачки, не отвыкнут они от струн и смычка, ведь, как известно, музыканты, да еще консерваторцы, должны заниматься в день по скольку часов?» — «По четыре, иногда по пять, — отвечала Лена, нимало не краснея, — а перед экзаменом по специальности столько, чтобы только не растянуть сухожилия, — а уж это дело выносливости».

Профессор шел дальше и наконец исчезал из палаты, и каждый продолжал заниматься своими делами, а Лена, трудолюбивая Лена, снова садилась за письмо и писала, писала, писала, пока не подходила пора запечатывать всю эту писанину и торжественно нести ее через всю палату к выходу. Или еще она шла звонить и с кем-то вела тихие переговоры, очевидно, сугубо делового характера — по ее лицу было видно, что она что-то хочет выяснить чрезвычайно важное и решающее для себя, и так происходило каждый день с этими телефонными разговорами — всякий раз было все то же озабоченное лицо, тот же тишайший голос, те же неопределенные, непонятные вопросы.

Несмотря на эти сугубо деловые телефонные разговоры, а значит, и наличие кого-то, кто что-то делал для Лены, — к ней никто никогда не приходил, и соответственно ничего на ее тумбочке не стояло, кроме пустого стакана, накрытого бумажной салфеткой.

Лена после первых дней молчаливого лежания в постели — ей не разрешали ходить, как вообще в этой больнице было принято не разрешать ходить, если имелись хоть малейшие намеки на осложнения, — так вот, после первых дней обязательного вылеживания ей наконец разрешили ходить, и она отправилась со своим очередным письмом в голубом конверте куда-то вон из палаты. Она начала ходить взад и вперед, у нее завелись какие-то тихие многозначительные знакомства с нянечками и сестрами, однако ради чего Лена предпринимала эти свои секретные переговоры с нянечками и сестрами было неизвестно, потому что никаких реальных результатов они не давали: к Лене по-прежнему никто не приходил, по-прежнему зиял пустотой ее чистый стакан, с которым она иногда ходила пить воду. Еще Лена занималась тем, что трудилась над своими письмами, или шла причесываться в коридор к зеркалу, или

скромно ела свой больничный обед. И всему этому, следует отметить, она придавала какой-то высший, не поддающийся толкованию смысл.

И единственным каналом, по которому просачивались хоть какие-то сведения о Лене, были ее разговоры с профессором по понедельникам, во время обхода, когда она, разрумянившись, лежала на своих высоких подушках и отвечала тихим голосом на вопросы профессора, хотя тот все мог знать по истории болезни.

Однако профессор спрашивал, а Лена ему отвечала, и из этих тихих, кратких ответов замершая палата узнавала, например, что Лена упала в обморок на улице и что подруга вызвала «скорую помощь». Далее на вопросы профессора Лена отвечала, что чувствует сейчас сильную слабость, головокружение, иногда боли в пояснице. «Полежите, полежите у нас», — говорил профессор после этих разговоров, переходя к следующей кровати.

Каждый понедельник у них возобновлялись краткие беседы, во время которых Лена однообразно жаловалась на головокружение и какую-то слабость, — а анализы у нее были, как выяснилось тут же, прекрасные, и с сердцем дела обстояли прекрасно, — и вот в один прекрасный день, в один из понедельников, профессор назначил Лену на выписку, рекомендовав ей при этом как можно больше двигаться, чтобы снять слабость, образовавшуюся от лежания в больнице, и хорошенько заняться гимнастикой и подготовиться к родам, чтобы быть крепкой и сильной и все хорошо перенести. Профессор шутливо пригласил Лену приходить рожать в его дежурство, спросил в который раз, будет ли она присылать ему билеты на свои сольные концерты, — и удалился восвояси.

К этому дню, к этому понедельнику, Лена уже освоилась в палате и понемногу рассказывала о своем муже Валерии, инженере, который живет в другом городе и сейчас не может приехать. Лена рассказывала также, что была под Новый год у него дома и что родители прекрасно ее встретили и так далее.

Она все так же трудолюбиво писала письма и своей торжественной походкой шествовала через всю палату к дверям, и вела все те же секретные переговоры с нянечками, и так же тихо беседовала со своей подругой по телефону — и все понапрасну.

Однако следует сказать, что в это время ее тумбочка уже не пустовала, она была заполнена всякими фруктами и

овощами и вообще едой. Это заполнение произошло довольно скоро, сразу же, как только женщины догадались о действительном положении вещей. Они сначала робко и совестливо, а затем все более спокойно и свободно начали носить на тумбочку Лены свои припасы, и Лена также сначала робко и совестливо, а затем все более свободно стала распоряжаться этими дарами: она без конца ела, грызла, тащилась к умывальнику мыть на тарелочке фрукты и снова ела. Она ела яблоки, салат, сыр и колбасу, конфетки и даже однажды съела половину кочана сырой капусты, которую как-то передали в палату для одной женщины с больным желудком.

Нянечки теперь приносили Лене увеличенные порции и даже иногда, когда не было ничего другого, предлагали ей вторую тарелку супа — уже после компота. И Лена соглашалась, торжественно кивая головой, и спокойно съедала вторую тарелку супа, а затем шла причесываться или садилась за очередное письмо. Кстати, конверты у нее тоже теперь были не свои, поскольку, как выяснилось, муж задержал перевод денег, а подруга не может прийти. Эта подруга, надо сказать, все не шла и не шла, и весь тот месяц, который Лена провела в больнице, эта подруга не показывалась и явилась только в самый кульминационный момент, когда Лена покидала больницу.

Правда, прежде чем Лена ушла, женщины из ее палаты вели переговоры с врачами о том, чтобы оставить Лену в больнице еще на два месяца, до самых родов, но, очевидно, этого сделать было нельзя, и наступил понедельник, когда профессор в очередной раз побеседовал с Леной о трудностях обучения в консерватории, уже зная о том, что никакой консерватории нет и никакой скрипки и в помине нет. Однако эта беседа на самом высшем уровне состоялась, и Лена вскоре удалилась из палаты насовсем со своей желтой расческой, которая так примелькалась всем за этот месяц.

Лена удалилась из палаты, можно сказать, полностью развенчанной, однако не потерявшей своей торжественности и таинственности, — и все это после того, как вся палата серьезно обсуждала при Лене, как ей быть с будущим ребенком, обсуждала также, можно ли рассчитывать на помощь того инженера, про которого Лена говорила, что он ее муж, — все эти проблемы мгновенно всплыли на поверхность, как только Лена начала прощаться. Палата хором советовала Лене пока отдать ребенка в дом ребенка хотя бы на год, а за этот год как-то встать на ноги, найти работу и

жилье и затем забрать ребенка к себе насовсем. Лена торжественно кивала, сидя на своей кровати, а затем все-таки попрощалась со всеми снова и пошла со своим вздутым животом, и потом ее еще раз можно было видеть спустя полчаса в окно, когда она торжественно удалялась в каком-то мятом желтом плаще, держа под руку свою знаменитую подругу, и всем было ясно, что обморок на улице был подстроен и что спустя какое-то время они опять что-нибудь инсценируют с подругой на улице, если только Лена не упадет в обморок еще до того, как они успеют обо всем договориться.

ИСТОРИЯ КЛАРИССЫ

История Клариссы в своей начальной стадии как две капли воды похожа на историю гадкого утенка или Золушки. В самом деле, до семнадцати лет Кларисса, школьница в очках, не вызывала ни в ком не то что восхищения, но и малейшего интереса — и это касалось как мальчиков в классе, так и девочек, особенно чувствительных к красоте, выискивающих ее повсюду, где им приходилось бывать, и подталкивающих друг друга локтями в таких случаях. Кларисса не отличалась чувствительностью к красоте, она была достаточно примитивным созданием, не обращавшим внимания, как казалось, ни на кого и меньше всего на самое себя. Чем были заняты ее мысли по целым дням, неизвестно. На уроках она была невнимательной, и ее взор постоянно обращался на пустяки. Она с раскрытым ртом следила, как вытирают мел с доски, это ее повергало в задумчивость, и Бог весть о чем она вспоминала, глядя в такой момент на доску.

Однажды у нее случилась, уже во взрослом состоянии, в последнем классе, драка с мальчиком, однако эта драка была лишена каких бы то ни было иных мотивов, кроме того мотива, что Кларисса по закону чести дала пощечину однокласснику за слово, показавшееся ей оскорбительным, а на самом деле сказанное просто никуда, в воздух, случайно. Одноклассник тут же дал сдачи, вместо того чтобы долго объяснять, что Кларисса тут ни при чем, что она не имеет

никакого отношения ни к оскорблению, ни вообще к чему бы то ни было и напрасно суетится.

Это событие говорит о том, что как раз в этот период в душе у Клариссы происходил некий перелом в сторону повышенной чувствительности к своему положению в мире, к положению девушки, которой придется в дальнейшем самой за себя стоять и одиноко идти среди враждебного мира, принимая на свой счет все его проявления.

Однако, как мы увидим, это направление затем исчерпало себя, хотя могло и развиться при других обстоятельствах. Но обстоятельства повернули так, что буквально через полгода после окончания школы Кларисса жила уже иной жизнью и на зимних студенческих каникулах, поехав на экскурсию в другой город, во мгновение ока вышла замуж и вернулась уже в ином качестве, в качестве жены иногороднего мужа, что налагало на нее определенные обязательства.

Что произошло в душе Клариссы за эти полгода, неизвестно, налицо были только внешние проявления внутренних перемен: Кларисса свою прежнюю, едва проклевывавшуюся ориентацию на враждебность внешнего мира сменила иной ориентацией, ориентацией девушки глупой, мягкотелой, как будто не понимающей, куда ее ведут внешние обстоятельства, и без тени мысли следующей этим обстоятельствам. Вместе с тем Кларисса, оставаясь все той же девушкой в очках, превратилась в полную красавицу с золотистыми кудрями и тонко вылепленными пальцами рук.

Как и следовало ожидать, Кларисса, со своей мягкотелостью и неумением рассчитывать хотя бы на два пальца вперед, не удержалась в роли жены мужа, находящегося в другом городе, и, когда ее спрашивали о муже, она отвечала, что не имеет представления ни о чем и ей все это надоело.

Следующий брак не заставил себя долго ждать, и Кларисса вышла за врача «Скорой помощи», крупного мужчину, пропахшего табаком, с налитой грудью и толстыми руками. Этот брак стал настоящей житейской трагедией Клариссы, потому что муж ее сразу после рождения их общего ребенка стал гулять, много пил и иногда дрался.

В новый период жизни, который наступил в результате новых взаимоотношений Клариссы с мужем, произошли и заметные изменения в ее облике. Она, можно сказать, беспрерывно продолжала свой спор с мужем, продолжала доказывать свою правоту и свою точку зрения даже тогда,

2 Зак. № 40

когда находилась далеко от него, к примеру, на службе, в гостях у подруг, в самых неподходящих обстоятельствах. Оиа вела свой монолог на одной и той же ноте протеста, с горящими щеками, с позывами к плачу. Она оказалась не в силах достойно вынести свалившееся на нее презрение и равиодушие мужа, и даже прежняя ее, школьная ориентация защищаться пощечииой от оскорблеиия не вериулась к ней. Можно сказать, что оиа в эти годы жила без руля и без ветрил, от толчка до толчка, чувствительная, как амеба, которая перемещается с места на место с примитивной целью уйти от прикосиовеиий. Кларисса в тот период своей жизии никак не могла успеть определить свою роль, свыкнуться с этой ролью и принять наиболее достойное решение. Она еле успевала принимать удары судьбы, которую олицетворял собой ее невоздержанный, не стесняющий себя ии в чем муж, ведущий свою грубую, тяжеловесную жизнь в одной комиате с Клариссой и ребеиком.

Наконец это завершилось самым большим ударом — муж ушел от Клариссы и одиовременно забрал с собой, к своим родителям, мальчика. Кларисса сделала едииствеииое, иа что ее толкало помутившееся созиаиие, — оиа стала биться о дверь родительской квартиры мужа, и биться иапрасно, так как старики уехали, сняли дачу в неизвестной местности, о чем Клариссе сказал их сосед, выглянувший на лестиичиую площадку.

Клариссе оставалось вернуться в свое разоренное гнездо несолоио хлебавши. Все дальнейшие действия, которые она предприняла, были нелогичными и бесперспективными. К примеру, оиа раза три ездила на электричках за город и там бродила вдоль дачиых участков, надеясь увидеть желтую соломеииую кепочку сыиа. Кларисса звонила также друзьям своего мужа, мужчииам, занятым своей работой, серьезным людям, с просьбой помочь ей выкрасть обратно ребенка. Все это не принесло никаких результатов, и едииственным результатом был только тот факт, что к ней домой вечером приехал врач с сестрой, которого оиа совершенно не вызывала, и врач участливо расспрашивал ее о том, как она спит, и нет ли у нее врагов и преследователей, и не хочет ли оиа лечь в санаторное отделение больницы, где ей дадут возможиость спать хоть неделю подряд. Кларисса сказала, что кто же ей даст бюллетень, но врач и сестра в один голос заверили ее, что об этом ей, во всяком случае, думать не надо. «Это все он вас прислал, — ответила Кларисса, — я давио поняла». Врач и сестра стали собираться и

уходить и в дверях еще раз напомнили Клариссе о возможности отдохнуть, но Кларисса их уже не слушала. Она с горящими щеками сидела задумавшись у стола.

На этом занавес опускается, потому что Кларисса втихомолку вновь начала перестройку, и опять-таки никто не скажет, каким образом она спустя полгода снова выплыла на поверхность жизни уже в качестве разведенной жены, оставшейся с ребенком на руках, алиментами раз в месяц и вечной проблемой, куда девать ребенка. В этом новом качестве Кларисса была совершенно банальна и по-своему умна каким-то коротким умом. Она не заглядывала особенно далеко, поскольку существовала еще одна сложность, а именно то, что мальчик страшно привязался к отцу и его родителям, которые давали ему уход, ласку и воспитание, какого не могла дать Кларисса, оставшись в единственном числе. Поэтому Кларисса не заглядывала далеко, не планировала надолго свою совместную жизнь с сыном, понимая всю скоротечность своих прав, и все внимание сосредоточила на сиюминутных проблемах, встающих перед ней одна за другой.

Кларисса кропотливо рассчитывала время на дорогу от детского сада до работы, бегала в обеденный перерыв по магазинам и относилась к своим служебным обязанностям как к чему-то второстепенному в жизни, что было, несомненно, вполне понятно в ее положении.

Поэтому огромным событием для Клариссы стал спустя год отпуск, который она впервые провела на юге в полном одиночестве, оставив ребенка в детском саду за городом. Очутившись на юге, Кларисса первое время сохраняла еще свою недалекую озабоченность женщины-матери, относилась к морю, загару и фруктам совестливо, вспоминая своего ребенка, оставленного на севере, где лил дождь. Можно сказать, что в этот период отпуска ей кусок не лез в горло и она простаивала по полдня в длинных очередях на междугородние переговоры, чтобы дозвониться в детский сад и узнать, как там мальчик и там ли еще мальчик. Она страстно мечтала водить его с собой к морю, как это делали все мамаши вокруг нее, но дело уже было сделано, и так прошла половина отпуска.

Тут море, загар и южные фрукты, которые Кларисса покупала из-за их дешевизны, оказали свое влияние, и произошла вторичная метаморфоза во внешности Клариссы. Теперь она была зрелой женщиной двадцати пяти лет, глядящей сквозь очки с кроткой отчужденностью, и в этом

качестве ее сильно полюбил летчик гражданской авиации, проводивший день между рейсами на городском пляже. Летчик стесиялся подойти поближе к Клариссе, поскольку он был на пляже не в подобающих купальиых плавках, а в обычных сатииовых трусах. Ои только смотрел на Клариссу издали, как оиа по-куриному копошилась в сумке, чтобы наконец достать оттуда трогательио малеиький носовой платок и начать протирать им стекла очков.

Через день летчик снова был на пляже, ближе к вечеру. Он уже приготовился к пребыванию у моря, был соответственно одет и смог расположиться поближе к своей Клариссе. Кларисса неприятио испугалась, стала мучиться, искать предлог уйти и наконец с бьющимся сердцем, с отвращением раньше времеии сбежала, провожаемая изумлеииым взглядом летчика.

Все, одиако, шло к лучшему, через деиь в беседе с летчиком Кларисса уже могла выдавить из себя несколько фраз, хотя следующее утро оиа провела на междугородней и получила известие, что мальчик здоров и бегает и что погода хорошая.

Все это коичилось тем, что через три месяца после отпуска Кларисса переехала к своему новому мужу, Валерию Петровичу, в его трехкомнатную квартиру, и началась новая полоса в жизни иашей героиии. Мальчик в свое время пошел в школу, родилась еще девочка, и можио считать, что все стабилизировалось и поплыло к естествеииой, здоровой зрелости, к чередe зим и отпусков, к покупкам, к ощущению полноты жизни, если не учитывать того факта, что в дни полетов Кларисса, оставшись одна, способиа часами звоиить иа аэродром и выбивать сведеиия о рейсе, и Валерий Петрович по возвращеиии выслушивает замечания о звоиках своей жены. Только это тумаиит светлые горизонты жизни Валерия Петровича и Клариссы, только это.

СТРАНА

Кто скажет, как живет тихая, пьющая женщина со своим ребенком, никому не видимая в однокомнатной квартире. Как она каждый вечер, как бы ни была пьяной, складывает вещички своей дочери для детского сада, чтобы утром все было под рукой.

Она сама со следами былой красоты на лице — брови дугами, нос тонкий, а вот дочь вялая, белая, крупная девочка, даже и на отца не похожая, потому что отец ее яркий блондин с ярко-красными губами. Дочь обычно тихо играет на полу, пока мать пьет за столом или лежа на тахте. Потом они обе укладываются спать, гасят свет, а утром встают как ни в чем не бывало и бегут по морозу, в темноте, в детский сад.

Несколько раз в году мать с дочерью выбираются в гости, сидят за столом, и тогда мать оживляется, громко начинает разговаривать и подпирает подбородок одной рукой и оборачивается, то есть делает вид, что она тут своя. Она и была тут своей, пока блондин ходил у ней в мужьях, а потом все схлынуло, вся прошлая жизнь и все прошлые знакомые. Теперь приходится выбирать те дома и те дни, в которые яркий блондин не ходит в гости со своей новой женой, женщиной, говорят, жесткого склада, которая не спускает никому ничего.

И вот мать, у которой дочь от блондина, осторожно звонит и поздравляет кого-то с днем рождения, тянет, мямлит, спрашивает, как жизнь складывается, однако сама не говорит, что придет: ждет. Ждет, пока все не решится там у них, на том конце телефонного провода, и наконец кладет трубку и бежит в гастроном за очередной бутылкой, а потом в детский сад за дочкой.

Раньше бывало так, что, пока дочь не засыпала, ни о какой бутылке не было и речи, а потом все опростилось, все пошло само собой, потому что не все ли равно девочке, чай ли пьет мать или лекарство. Девочке и впрямь все равно, она тихо играет на полу в свои старые игрушки, и никто на свете не знает, как они живут вдвоем и как мать все обсчитывает, рассчитывает и решает, что ущерба в том нет, если то самое количество денег, которое уходило бы на обед, будет уходить на вино — девочка сыта в детском саду, а ей самой не надо ничего.

И они экономят, гасят свет, ложатся спать в девять ча-

сов, и никто не знает, какие божественные сны снятся дочери и матери, никто не знает, как они касаются головой подушки и тут же засыпают, чтобы вернуться в ту страну, которую они покинут опять рано утром, чтобы бежать по темной, морозной улице куда-то и зачем-то, в то время как нужно было бы никогда не просыпаться.

РАССКАЗЧИЦА

Ее можно заставить рассказать о себе все что угодно, если только кто захочет этого. Она совершенно не дорожит тем, что другие скрывают или, наоборот, рассказывают с горечью, с жалостью к себе, со сдержанной печалью. Она даже, кажется, не понимает, зачем это может ей понадобиться и почему такие вещи можно рассказывать только близким людям да к тому же потом жалеть об этом. Она может рассказать о себе даже в автобусе какой-нибудь сослуживице, которая от нечего делать начнет спрашивать, как жизнь.

Она с легкостью ответит, что все пока плохо. Что маму положили в больницу, отец взял отпуск, чтобы за ней ухаживать. «Что, такое тяжелое у мамы положение?» Она ответит, что положение средней тяжести, но если отец взял отпуск, значит, скоро всему конец. «Как так конец?» — Ну как, обыкновенно. — «А у мамы что?» — Ну рак, ответит она как ни в чем не бывало. «И давно?» — спрашивает сослуживица, заинтересованная до такой степени, что она даже теряет всякое ощущение места. «Восемь лет», — отвечает рассказчица и продолжает отвечать дальше на вопросы, которые следуют один за другим, так что, когда пора выходить и рассказчица сходит, ее сослуживица остается в автобусе ошеломленная, темно-красная от внезапного прилива крови и поправляет на шее выбившийся шелковый шарфик.

Той, которая сошла, двадцать лет, она высокая, очень высокая, но достаточно полная и поэтому соразмерная. Несмотря на это, некоторые вдруг замечают, что у нее огромные икры. Ей можно сказать об этом, она оглянется, задрав ногу, и вполне простодушно скажет, что за последний год она выросла в объеме на семь сантиметров и теперь уже не

сомневается, что вырастет такой же, как мама. Если ее дальше спрашивать, она расскажет, что мама у нее полная женщина, особенно живот, который отвисает, как у беременной на девятом месяце. «И кроме того, он весь изрезан, но она все равно каждые три месяца ложится на операцию, ей опять режут живот. И так уже восемь лет». Еще она живет, говорит рассказчица, ее уже давно все врачи схоронили, а она все живет, все ходит из комнаты в комнату. И отец уже как бешеный, вдруг бросается к столу с кулаками. Особенно он бешеный и подозрительный, когда у самого совесть нечиста, тогда можно после кино домой не приходить, все равно не поверит, что была в кино, а не где-то еще, неизвестно где. В эти периоды он с матерью забирает у рассказчицы из комнаты все тряпки до единой, все кофты и платья, которые они ей сами купили или которые она уже сама купила на свою зарплату, и все эти тряпки запирает в шифоньер в своей комнате и выдает потом только по одной, пока наконец все эти вещи не перекочуют обратно.

И еще она может рассказать, что отец бил ее все время, с самого детства, особенно за то, что она задерживалась у какой-нибудь подружки после школы. Отец мог прямо стулом бить за такие дела, а иногда это могло сойти с рук неизвестно почему. И она привыкла отличать эти настроения отца одно от другого и догадываться, есть ли у отца кто-нибудь в этот период или у него никого нет. А матери эти дела отца были безразличны — в конце концов, она знала, что ей с животом все равно некуда податься, а специальности у нее не было. Так что она пекла пироги, пришивала подворотнички отцу и еще что-то там делала. Но отец не хотел признаваться, что порядок вещей изменился и что теперь ему нельзя так же честно смотреть людям в глаза, хотя его никто не попрекал, а наоборот — все подталкивали улучшить свою жизнь. Но отец упорствовал и держал себя так, чтобы никто не мог даже подумать о том, что у него что-то не так, и поэтому особенно усердствовал в подозрениях по отношению к Гале, давая этим знать о своей честности. Но только раньше, говорила Галя, когда мама еще не была больна и все у них было в порядке, почему же и тогда он все-таки подозревал и встречал Галю у школы или внезапно, на ночь глядя, когда ее уже уложили и потушили ей свет, вдруг вхóдил к ней в комнату, врасплох зажигал свет и делал вид, что что-то ищет в письменном столе — ластик или карандаш?

Она может это все рассказать одно за другим, пока зада-

ют вопросы. При этом у нее нет такого вида, будто она стесняется отвечать на некоторые вопросы или не хотела этого делать, но внезапно решила все-таки рассказывать дальше: будь что будет. Нет, она с видом полнейшего равнодушия выкладывает все, что у нее есть за душой. Допустим, зимним вечером на остановке она может ответить, что у нее есть один архитектор, но он что-то говорит, что им необходимо расстаться на месяц, пока он будет в доме творчества и оценит все, чтобы после этого месяца встретиться с ней и уже окончательно решить насчет всего, что будет. А на вопрос, любит ли она его, Галя спокойно говорит, что конечно, но что из этого выйдет, вот вопрос. У него мать старая, а ему уже почти что сорок лет, и он никак не может решиться представить себе, как же так в их двух комнатушках вместо одной хозяйки, его матери, будет жить еще и молодая жена, и насколько это будет сложно, он просто не представляет, ему нужно много работать, он еще и художник. До сих пор он приглашал ее к себе в гости, они с матерью усаживали ее в кресло, ухаживали за ней и осторожно переглядывались между собой, как будто спрашивали друг друга, как же они все вместе поместятся в двух комнатушках? Он рисовал портрет Гали и говорил ей иногда, что никто ей не говорил, как она похожа на греческую богиню с этими своими волосами, глазами, носом, и ртом, и подбородком, и шеей, и ушами?

А потом у Гали появится новый мальчик, и точно так же, как и об архитекторе, и об этом новом, инженере, тоже все будут знать. Можно сказать, что в конторе, где Галя работает, это стало каким-то новым видом спорта — выуживать у нее все до самого конца, до самых подробностей, до дна, до того, чего она еще сама не поняла, но все остальные, опытные женщины и мужчины, поймут еще лучше, чем она. Тем более что на нынешнем этапе уже ничего не надо начинать сначала, а все продолжается. Допустим, не надо ее выспрашивать, девушка она или нет, она уже сказала, что девушка, и можно не сомневаться, что она не врет. То есть она до такой степени не скрывается, что даже иногда становится неудобно, стыдно ее спрашивать. Чего-то она не понимает, каких-то женских стыдливых тайн, какой-то самообороны, тактики моллюска, который захлопывает створки раковины, пока еще никто не успел разглядеть, что там скрывается дальше, хотя все прекрасно знают, что там может скрываться. Но то, что не обозначено словом, того как и не существует в природе, поэтому остается только пред-

полагать, а точно никто не знает. Вот что такое настоящая стыдливость, настоящая скромность. А Галя нет, Галя, например, говорит, что отец каждый вечер ее расспрашивал о том, как прошел день, н потом проверял, звонил учительнице н подругам, так что Гале волей-неволей надо было говорнть правду. Но этого ему было мало. Он ее выспрашнвал о ее мыслях, о том, что она переживает, плакала ли она и где, когда учительница ее выставила из класса за то, что она слишком разболталась с передней партой. И о чем разболталась, спрашивал отец, а руку держал на спинке стула, на котором сидела Галя рядом с ним, н она знала, что в любой момент он мог крикнуть «врешь» и начать бить, так что она вся прямо наизнанку выворачнвалась, н если чегонибудь не думала в тот момент, о котором ее расспрашнвал отец, то даже и не пыталась придумывать эти мысли, потому что отец очень тонко чувствовал, когда она начинает придумывать, а сидела вспоминала и наконец говорила, что болтали о том, что она просила отдать ластнк, который передняя парта взяла на предыдущем уроке.

Так что с Галей можно было не начинать расспросы с самого начала, а просто продолжать с того момента, на котором в предыдущий раз остановились. Например, спроснть, как же чувствует себя ее мама. И она ответит, что пока плохо, у отца кончился отпуск, он там с ней в больнице каждый день сидел, так что вся больница теперь его уважает и знает, и в гардеробной ему безо всякого пропуска сразу вешают шинель н дают халат, и что теперь он не знает, что делать, ее ведь надо кормить насильно, она ничего не принимает, может быть, разве что ложечку бульона, а он все равно ей варил каждый день цыпленка и носил в широкогорлом термосе в больницу. Теперь приехала мама отца, бабушка, теперь она ездит в больницу, а отец даже не спрашивает бабушку, как там дела, потому что знает, что когда что-нибудь будет, ему же первому на службу сообщат, он оставил свой телефон на столике у дежурной медсестры под стеклом.

И при этих рассказах она даже не плачет, хотя у всех, кому она это рассказывает по очереди, глаза на мокром месте. Так не получается, чтобы Галя рассказывала все собравшимся вместе, — это же не отчетное собрание, чтобы всем сразу рассказывать. Так что ее расспрашивают все по очереди в коридоре, в буфете, у зеркала. Тут же попутно она может ответить н на вопрос об этом инженере, своем новом мальчике, н она расскажет, что это очень хороший

человек, на восемь лет ее старше, что он уже познакомил ее со своими родными на дне рождения у своей матери и что ей все очень понравились. «Но ты смотри раньше времени...» — почти все без исключения женщины говорят ей, а она только машет рукой и отвечает, что куда там.

Потом Галя надолго исчезает из конторы, берет отпуск, чтобы, в свою очередь, сидеть с матерью в больнице. Тут уже все сразу о ней забывают, только иногда кто-нибудь да скажет: «Надо бы позвонить ей, узнать, как дела», но на этом дело и кончается, пока наконец не кончается срок ее отпуска, ей выходить на работу, а ее нет целый день. Начальник выходит из своей комнаты вместе с инспектором отдела кадров в общую комнату, они спрашивают, не слыхал ли кто-нибудь, когда Галя должна появиться, потому что все сроки истекли, а если есть какие-нибудь оправдательные документы, справки и так далее, то их нужно было предъявить заранее. Но тут раздается звонок, и мужской голос сообщает, что у Гали умерла мама и в связи с этим она выйдет на работу в четверг, а заявление о продлении отпуска за свой счет она принесет с собой, так что чтобы ее оформили, она просит, задним числом.

Потом Галя как ни в чем не бывало выходит на работу, совершенно такая же, как была, и не более бледная, чем обычно. И вот тут начинается все наоборот. Наоборот, никто ни о чем ее не расспрашивает, обращаются к ней только по делу или засчет погоды, но расспрашивать ее никто не собирается. Что-то такое произошло у всех в душах, какой-то переворот, что никто и слышать не хочет ни о похоронах, ни о том, как теперь Галин отец, не собирается ли жениться, и как Галин мальчик, инженер.

И вот проходит месяца два, и кто-то из женщин по инерции все-таки задает вопрос Гале, шуточный вопрос, на который ни одна нормальная девушка не ответила бы: «Когда же свадьба?» Но Галя как ни в чем не бывало во всеуслышание говорит, что бракосочетание назначено через два месяца, на семнадцатое, на пятницу.

Во-первых, никто от нее и не ждал такого точного ответа, и никому это не нужно было, никого это не касалось. Во-вторых, даже из чувства простого самосохранения ни одна девушка не стала бы всех оповещать за два месяца до свадьбы: мало ли что может случиться за эти два месяца, да и потом зачем же это надо, чтобы каждый встречный-поперечный знал об этом глубоко личном, сокровенном событии?

Все просто опешили. Никто этого не ожидал от Гали, тем более что предстояла реорганизация, и по этой реорганизации Галина единица подлежала сокращению, так что в то время, когда Галя стала бы выходить замуж, она уже давно была бы не в коллективе конторы, и тем более это глубоко личное событие в ее жизни уже никого бы не коснулось. Но пока Галя ничего не знала о предстоящем сокращении. Потом, правда, она все-таки узнала, ее вызвала к себе инспектор отдела кадров и сказала ей, добавив, что они постараются ее как-то трудоустроить, потому что у заведующего большие связи.

Но к этому моменту Галя уже сделала одну большую ошибку: она пригласила всю контору к себе на свадьбу и даже назвала адрес кафе, где все это будет происходить через месяц. Она стала приносить в контору разные вещи — материал на платье для свадьбы, и все его посмотрели через силу, потому что знали, что Галя подлежит сокращению, а она еще в то время не знала. Потом Галя принесла жемчужный воротник и жемчужные манжеты к этому платью, и всем желающим рисовала, какое у нее будет платье. Но теперь в том, что она все рассказывала, совсем не было прежнего — что ее расспрашивали, а она отвечала. Нет, теперь она рассказывала сама, и как-то лихорадочно, точно боялась, что ее не расслышат. И ей стали делать замечания, что в рабочее время надо заниматься совсем другими вещами, а именно тем, за что платят зарплату. Она тут же замолкала и прятала свои рисунки и манжеты, но на следующий день все повторялось сначала.

Когда Галя вернулась от инспектора отдела кадров, от которого наконец узнала о предстоящем сокращении ее единицы, то как ни в чем не бывало сказала, что все равно ждет всех на свадьбу в кафе и пришлет всем пригласительные билеты. И все как-то неприятно растерялись, тем более что пятница для всех дорогой день, конец недели, кто-то уезжает за город, у кого-то свои, другие дела. Но она ничего этого даже не подозревала от других и, уходя в последний день и со всеми прощаясь, она еще раз повторила: «Ну, погуляем у меня на свадьбе, не забудьте, через пятницу».

И причем она уходила не на пустое место, а уходила в архив на хорошую должность, оклад выше, чем в конторе. Так что обижаться ей было не на что, это о ней позаботился, похлопотал заведующий.

И все бы уже позабыли о Гале и ее свадьбе, но как раз за день до ее свадьбы, в четверг, она позвонила в контору и

застала всех буквально врасплох. Люди подходили к телефону, потому что она подзывала каждого и каждому говорила: «Не забыли ли вы, что завтра вечером я вас жду в кафе на Семеновской улице? И получили ли пригласительные билеты?» Все, каждый отвечал, что пригласительные получили, большое спасибо, но прийти, к сожалению, не смогут. И тогда, что уже совсем трудно было представить, она стала с той стороны, по телефону, по проводам, не видя никого, как слепая, спрашивать, почему не можете. Такие вещи так не делаются. Если уж спрашивают такие вещи, то обязательно с глазу на глаз, чтобы видеть собеседника и по его виду все понять и решить, продолжать ли с ним дружеские взаимоотношения в ответ на такую подлость, как отказ прийти на свадьбу. Но эта Галя как будто ничего не понимала, она все спрашивала и спрашивала каждого из конторы, почему он не может прийти к ней на свадьбу. И у нее не было в конторе ни одного человека, на которого она могла бы опереться, никакой подруги, которая бы с охотой, волнуясь за нее, организовала бы подзывание каждого сотрудника к телефону. И какие подруги могли быть у Гали в конторе, когда ей было всего двадцать лет, а ее возраста были только машинистка и курьер, но они обе сидели в комнатке рядом с гардеробной, в экспедиции. Вот это и могли быть ей подруги.

И каждый из конторы выворачивался, как мог. Одна женщина вообще даже не подошла к телефону, попросила сказать, что ее нет, что она уехала в снабсбыт. Другая пообещала по телефону приехать, но все знали цену ее слову, знали, что она в последний момент всегда вывернется из неприятного положения, да и потом объяснить, уже после всего, после свадьбы, почему она не смогла попасть на нее, это легче легкого. Да и Галя уже не работала в конторе и вряд ли пришла бы после свадьбы выяснять, почему, по какой уважительной причине к ней не пришли на свадьбу. Один молодой человек тридцати лет, очень умный и не терпящий, чтобы на его психику давили в смысле устройства его личной жизни, так остроумно ответил ей по телефону: «Галочка, вы еще молоды, у вас вся жизнь впереди. А я приглашен как раз на эту пятницу в гости к одной старой прекрасной женщине, которой в этот вечер исполняется семьдесят лет. Так что вы поймете. Так что я от всего сердца желаю вам огромного счастья. Вы этого достойны. Будьте умницей и не пейте ничего слишком на свадьбе. Еще раз желаю счастья. Будьте здоровы». И на этом он положил

трубку, облегчив положение дел для всей остальной конторы.

Но самое неприятное началось пять минут спустя, когда из своей комнаты вышел заведующий и, весело потирая руки, сказал: «Ну, организуем, что ли, субботник по выходу на свадьбу Гали?» Все переглянулись и поняли, что Галя ухитрилась позвонить непосредственно ему и он принял приглашение, он, далекий от всех дел своей конторы, видящий их в каком-то небывалом, несуществующем свете бумаг, заявлений и задушевных разговоров один на один с каким-нибудь сотрудником в кабинете.

Все с неудобством начали объяснять, что на свадьбу пойти не могут и вот по каким причинам. Некоторые просто молчали и не объясняли ничего, как тот молодой человек. В конце концов засуетилась профорг и сказала, что поедет тоже и что организует субботник, а потом, когда заведующий скрылся за дверями своего кабинета, профорг помчалась в экспедицию и мигом организовала девочек — машинистку и курьера и вызвала по телефону конторского фотографа, так что на следующий день они все отправились на свадьбу на «Волге» и в понедельник очень много рассказывали смешного о свадьбе. О том, что Галя со свойственным ей простодушием и даже наивностью сказала им: «Ну как вам мой муж?» — и показала им туфли из-под длинного платья: «Ну как вам мои туфли?» И что закуски было страшно мало, так что девочки из экспедиторской просто были посланы в разведку по другим столам и утащили и принесли тарелку вареной колбасы и тарелку копченой колбасы и блюдо заливного. И их столик был самый шумный, хотя все шумели на этой свадьбе, все сто человек. И как заведующий дико смеялся и кричал вместе со всеми «горько». И ими овладел какой-то бес добычи, они прямо хватали с соседних столиков то водку, то букет цветов. И как девчонки из экспедиторской стащили с соседнего стола большой букет белых лилий, когда уже нужно было уходить со свадьбы, потому что заведующий по-детски хитро им сказал: «Пользуйтесь, девчонки, когда еще вам удастся на свадьбе именно такой погулять», — и они уже при выходе схватили прямо из кувшина этот букет белых лилий и пошли на выход. А по дороге зашли в туалет поправить прически и попудриться, потому что были все-таки порядочно пьяны. И тут они увидели Галю, смутились, протянули ей этот злосчастный букет белых лилий и сказали глупо-преглупо: «Это тебе». А Галя в своем длинном до пят

платье, откинув фату и сняв перчатки, страшно плакала в этом мокром туалете при кафе.

Особенно им запомнился этот ужасающе дурацкий случай, как они вдруг вручили невесте в мокром туалете перед концом свадьбы этот букет белых лилий и как она вынуждена была держать его вместе со снятыми перчатками обеими руками, не зная, что с ним делать.

БАЛ ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Ты мне говори, говори побольше о том, что он конченый человек, он алкоголик, и этим почти все сказано, но еще не все. Он живет на иждивении у своей больной матери-надомницы и поэтому так всегда старается уйти до половины первого, до того часа, как закрывается метро, все потому, что у него никогда нет денег на такси. И если в конце концов он все-таки остается на мели где-нибудь за тридевять земель, он идет пешком домой или еще как-нибудь поступает — во всяком случае, утром всегда оказывается, что он дома, а как это происходит, никто не ведает. И это не потому, что он бережет деньги, которые ему дает больная старуха мать, — просто у него нет этих денег, нет вообще денег, вот и все.

Но как-то он все-таки из любой точки ночью добирается до своего дома. Я думаю, как должна любить его старуха мать, как она его должна любить, просто уму непостижимо.

Еще ты мне скажи, что он опустошенный человек, что для него нет ничего святого, что он вот уже год переводит Теннисона, никому не нужного, наконец, ты мне скажи, что ему всего двадцать три года, но и этим ты тоже не скажешь ничего. Ты можешь еще наговорить такого, что когда-то ты все думала, что, может, родить от него ребенка, но потом поняла, что это ничему не поможет, а ребенок окажется вещью в себе, не зависящей ни от чего и не желающей ни на что влиять.

И вот наконец в полутьме твоей комнаты он сидит за столом вместе с другими людьми, а ты сидишь далеко от него, где-то на отшибе, не думающая о себе буквально ничего, ни крошечки — это твоя самая прекрасная особенность, — ты сидишь, как всегда, в полном спокойствии. Он важен с легкой подковыркой, вежлив, он джентльмен с бе-

совским выражением лица, он внезапно смеется гораздо более высоким голосом, чем его собственный. Все происходит нормально, все едят рыбку с какими-то сухими скорыми блинами производства твоей сестры и наливают друг другу то ли столичную, то ли вудку польску выборову. Он наливает своей соседке, которая таинственно накрашена и неумело курит, каким-то образом она тоже попала сюда, ну да бог с ней. А ты сидишь, щурясь, и смеешься так сердечно, без капли наблюдения за собой со стороны и сравнения себя с кем-то...

Очень весело за этим полутемным столом, играет пластинка «Бай-бай, мон амур», никаких ухаживаний за этим столом, никакого секса, никакого возраста и служебного положения. «Рыбка, рыбонька», — раздаются возгласы в полутьме.

Он пьет рюмочки одну за другой, абсолютно не пьянея, он ест рыбку и говорит удачные остроты, подставляет спичку своей соседке и подливает в ее стопку, и все это кажется таким обыденным. Разговор держится на воспоминаниях об общих знакомых и том учреждении, где они все немного подрабатывают, — а того прекрасного общего разговора, какой иногда возникает из пустяка, этого нет и нет. Постепенно бутылки пустеют, и происходит очень простой факт: твоя сестра приносит в комнату и ставит в центр стола двухсотграммовый лекарственный пузырек со спиртом. Сестра — биохимик, она выписывает на работе спирт для экстракции высокомолекулярных органических соединений, для выделения тейховых кислот клеточной стенки, для спектрофотометрии антибиотиков-сырцов, для стерилизации стола и посуды.

Никто не потрясен этим фактом появления спирта, некоторые отказываются это дело пить, разбавляют, а он аккуратно себе наливает воды в стакан на донышке и спирту полную рюмку и своей соседке предлагает то же самое, и она неожиданно соглашается.

Здесь уже начинает действовать его знаменитое обаяние, хотя эта соседка и начинает объяснять вполголоса, что согласилась, чтобы и ей налили спирта, исключительно для того, чтобы никому не было заметно, что он чаще других и в одиночку наливает себе спирту. В ответ он делает любезное лицо и предлагает хотя бы чокнуться с ним, а все остальные смотрят кто куда, и только одна ты с простодушным беспокойством наблюдаешь за ним и за его соседкой, которая в это время с храбростью одним духом проглатывает свой спирт и, не переводя дыхания, как учит он, что главное — это не переводить дыхания, тут же выпивает

воды и делает равнодушное лицо, а все вокруг восклицают, что она помрачнела.

Некоторые в этот момент прощаются и уходят, потому что есть какие-то дела дома, пока еще без двадцати двенадцать. И тут он, которого, кстати говоря, зовут Иван, поднимается и выходит из комнаты, оставляя соседку в состоянии разочарования. Кто-то берет тремя пальцами пузырек за горлышко и встряхивает, и обнаруживается, что спирт весь. «Ого», — говорит кто-то, а ты смотришь на дверь. Иван появляется оттуда позади сестры-биохимички. Он спокойно идет в свой угол и усаживается рядом с прежней соседкой, которая от нечего делать перелистывает в полутьме какую-то книжку. Соседка продолжает свое дело, иногда беззвучно смеясь, а он сидит и терпеливо смотрит перед собой, опершись ладонью о край стола и дымя сигаретой. Идет общий разговор, соседка вслух читает какие-то смешные заголовки из книжки. Потом входит сестра-биохимичка, неся мокрыми пальцами полную маленькую рюмочку Иван поднимается перед этим фактом, благоговейно пьет и тут же запивает водой и садится рядом с соседкой, которая говорит «А мне?»

Спустя некоторое время он начинает проявлять беспокойство, выходит из комнаты и входит в комнату вслед за сестрой-химичкой, у которой постепенно становится раздосадованное лицо с примесью невольного смеха. Они ходят так неразлучной парой, объясняются в коридоре и наконец возвращаются в комнату, и он осторожно, пальцами, притворяет за собой дверь.

Соседка Ивана по столу, взбудораженная этим хождением, тоже подымается и выходит в кухню и там бессмысленно курит, облокотясь на холодильник, в полной темноте, при звуках женского смеха, периодами возникающего в комнате.

Наконец раздаются шаги, и в темную кухню входит Иван, а за ним химичка, которую Иван ведет за руку. Соседка Ивана выскальзывает из темной кухни, оставляя их одних, и приходит в комнату, где танцует в одиночестве хорошенький юноша, и она начинает подчеркнуто ритмично танцевать напротив него, и ты тоже подымаешься со своего стула и, глупейшим образом смеясь, оставив туфли в стороне, тоже танцуешь.

А Иван с химичкой то входят в комнату, то гуськом выходят в коридор, плотно притворяя дверь. И с каждым новым приходом Иван выглядит все более безумно взбудораженным, а химичка все досадливей пожимает плечами,

потому что у нее есть свои причины не давать Ивану спирта. А ты все смеешься и смеешься, танцуя в одних чулках на грязном полу, пока не раздается на кухне страшно громкий крик: «Но это же нетрудно!» Что-то с легким треском падает на кухне, а соседка Ивана по столу спрашивает вернувшуюся в комнату химичку: «И часто он так?» — а химичка отвечает: «Каждый божий раз»

— Да-да-да, — говоришь ты, — это опустившийся человек, конченый алкоголик. — А хорошенький мальчик ставит снова «Бай-бай, мон амур», и снова все танцуют, а химичка говорит: «Я не могу, пойди ты, он там все шурует, ищет». — «Не надо было ему отдельно полную приносить, это ошибка», — говорит кто-то.

Иван входит в комнату, тут же притягивает к себе за руку свою бывшую соседку по столу и берется с ней танцевать, но как-то однобоко, неуклюже, подскакивая на одной ноге, совершенно не в такт этой четкой музыке, и соседка по столу считает своим долгом приспособиться к его подскакиваниям и вскоре начинает сама через один шаг подскакивать. А он говорит высоким голосом: «Поглядите, бал последнего человека».

Но он ее скоро бросает и снова берет за руку химичку, которая как бы уже уснула, умерла в своем углу, и ведет ее из комнаты, и так продолжается до бесконечности, пока соседка Ивана по столу не выходит из комнаты сама и не начинает долгое зимнее одевание — замшевые сапоги, толстая кофта, большой шарф, меховая шапка. И тогда Иван, который стоит тут же с химичкой, бросается к своей бывшей соседке по столу и говорит ей, глядя безумными глазами: «Каких-нибудь маленьких пятнадцать минут, вы согласны? Только маленьких пятнадцать — двадцать минут, и я вас провожу. А так я вас не отпускаю». И он берет свою бывшую соседку сильно за руки и вталкивает ее в полутемную комнату, а сам остается в коридоре со своей химичкой.

А ты сидишь на своей тахте, подобрав ноги, и счастливо смеешься: «Я вижу все в четвертом измерении, это прекрасно. Это прекрасно».

И соседка Ивана по столу, улучив момент, когда Иван проходит со своей химичкой, которая невольно, животно смеется, эта соседка выскальзывает за дверь, надевает шубу и выбегает на лестницу.

А ты все это понимаешь и сидишь, улыбаясь, в одних чулках на своей тахте, в третьем часу ночи, зная, что Иван пойдет домой пешком

Какова же дальнейшая судьба героев нашего романа? Надо отметить, что после отъезда Иванова все осталось на своих местах, как было, ведь не может же из-за отъезда одного человека переместиться с места на место жизнь, как не может обрушиться из-за отъезда одного человека крыша над головой у многих, у целого учреждения. Так что то, что у Лены, фигурально выражаясь, обрушилась крыша над головой и жизнь переместилась с одного места на другое, в то же самое время ничего не значило для всех остальных, для того мира, который каким был при Иванове, таким и остался, не принимая в расчет, что Иванов исчез, что вместо него зияет пустое место.

Таким образом, Лена вынуждена была ходить на работу в то место, в котором зияла пустота вместо Иванова и в котором всего еще неделю назад сама Лена стояла на коленях перед столом Иванова, как бы шутя. Она встала на колени и молитвенно стояла, сложив руки и закрыв глаза, примерно в двух метрах от сидевшего за столом Иванова, который, в свою очередь, спокойно приводил в порядок бумаги, добродушно посмеиваясь, словно не видя, в какое состояние впала Лена. Видимо, она до самого последнего момента, до того, как Иванов начал приводить в порядок свой стол, все еще надеялась, что что-то произойдет, какое-то помилование, что ведь не может даром пройти, окончиться все это дело, и когда Иванов начал приводить перед уходом в порядок свое рабочее место, она, как бы горя безумием, встала на колени. Она стояла на коленях десять минут по часам, и в эти десять минут все вели себя хоть и степенно, но как обычно, нисколько не растерявшись, не изменив выражение лиц и принимая все как должное, как будто им на жизненном пути часто встречалась подобная ситуация; все восприняли это всё как некую истерику, которую не следует замечать, которую не следует гасить, чтобы не показать, что веришь в истинное существование того горя и отчаяния, которое обыкновенно изображают, впадая в истерику.

И сама Лена также спокойно стояла, не подымая излишнего шума относительно своих чувств; и потом люди, присутствовавшие при этом в комнате, два или три человека, должны были сознаться, что единственное, что остается

человеку в такой ситуации — это его право стать на колени, и что это сладостно — стать на колени.

Наконец Иванов уехал, а Лена осталась, и не было никакого сомнения в том, что Лена тем или иным путем последует за Ивановым, несмотря на то что в родимом городе у нее были обязательства перед матерью, сыном и мужем.

Лена никому не говорила о своих планах на будущее и работала как обычно, однако сдружилась с библиотекаршей, что было признаком будущего бегства. Дело в том, что эта библиотекарь Тоня, очень милая и печальная блондинка, на самом деле представляла из себя вечную странницу, авантюристку и беглого каторжника. У нее тоже, как и у Лены, был некий дом, в котором она жила с ребенком, с девочкой, однако Тоня время от времени уклонялась от своих материнских обязанностей и, как-то уговорившись на работе и подкинув ребенка родителям, ехала в тот город, где жил избранный ею человек, ее предмет, причем ехала нежеланной, неожидаемой, спала на вокзале, пряталась по каким-то лестницам, пока ее любимый человек выйдет, и так далее.

Лена сдружилась с Тоней и вместе с ней проводила обеденный перерыв в разных кафе и пирожковых, и после работы они шли до остановки, чтобы разъехаться затем на разных трамваях — Тоне в детский сад за дочерью, а Лене — в свою квартиру, где ее ждали обязательства перед матерью, сыном и мужем.

Однако, как потом выяснилось, все это были не обязательно требующие выполнения обязательства, потому что в конце концов Лена все же уехала в тот город, где теперь работал Иванов, и вернулась обратно только через много лет, а именно через семь лет, вернулась с помутневшим сознанием, с манией преследования, вернулась потому, что ее привез обратно ее муж Альберт.

Здесь следует пояснить все-таки, какие обязательства были у Лены перед матерью, сыном и мужем.

Все началось с рождения сына, которого Лена родила в невероятных муках, но не крикнув ни разу. Ребенок тоже, очевидно, вынес большие страдания, потому что родился с кровоизлиянием в мозг, и спустя три месяца врач сказал Лене, что ни ходить, ни тем более говорить ее сынок не сможет, видимо, никогда.

Лена год провела с ребенком, а затем ей настало время идти на работу, и она вышла на работу, найдя ребенку сиделку. Мать ей была в этом деле не помощница, потому

что сошла с ума через три месяца после рождения ребенка, очевидно от отчаяния при виде неподвижного малютки, а впрочем, как сказала врач-психиатр больницы, причины безумия следует искать не вне, а внутри, и таким же толчком к болезни могли бы быть какие угодно другие обстоятельства, самые незначительные; однако, без сомнения, толчок был.

В ту весну, когда Иванов уехал, Лена была занята сугубо материальными делами: снимала дачу, на которой должен был жить ее уже выросший, семилетний мальчик с сиделкой, а также она с Альбертом. Затем наступил переезд на дачу и два месяца жизни на даче, после чего, в июле, Лена снялась с места и покинула и дачу, и городскую квартиру, и свою приятельницу, беглую каторжанку Тоню; Лена уехала под видом поступления в институт, уехала якобы ненадолго, а на самом деле на семь лет.

Она действительно поступила в новый институт, во второй институт в своей жизни, из общежития которого три года спустя и была увезена в карете «Скорой помощи» в психиатрическую лечебницу в самом мрачном расположении духа, но какой толчок сыграл здесь свою роль, никто нам теперь больше не укажет.

Теперь проследим путь Иванова. Как ни странно, несмотря на блистательное начало, он также, хотя и не столь скоро, как Лена, оказался во мраке и запустении.

Однако в его случае все было не так сложно, все было проще и грубей, чем в случае Лены, и объяснялось исключительно пристрастием к спиртным напиткам; Иванов сам себе в течение долгих лет рыл яму и в конце концов в результате огромного скандала оказался на крошечной должности, крошечной по сравнению с предыдущими масштабами, должности заведующего отделом в два человека — должности, с которой обычно начинают.

Вот так кончился на самом деле этот роман, который, как всем казалось, кончился отъездом Иванова, — но неизвестно и теперь, кончился ли он на самом деле.

Теперь во весь свой гигантский рост встает фигура мужа Лены, Альберта, который все эти годы выносил все то, чего не могла вынести Лена, и даже больше; и ведь именно он спустя семь лет после исчезновения Лены отправился за ней, обо всем зная, и привез ее домой, то ли неизвестно зачем в ней нуждаясь, то ли из сострадания к ней, сидящей на своей больничной койке в отдаленном районе чужого города, лишенной абсолютно всего, кроме этой койки, по-

гребенной в своей яме, подобно тому как Иванов был погребен в своей.

Собственно говоря, это была у Лены и Иванова та самая бессмертная любовь, которая, будучи неутоленной, на самом деле является просто неутоленным, несбывшимся желанием продолжения рода, несбывшимся в разных случаях по разным причинам, а в нашем случае по той простой причине, что Лена уже родила однажды неподвижного ребенка, и поэтому вставал вопрос, может ли она вообще рожать здоровых детей. Но как бы то ни было, какова бы ни была истинная причина того, что Иванов бросил Лену, факт остается фактом: инстинкт продолжения рода был не утолен, и в этом, возможно, все дело.

Но Альберт, вот кто должен возбудить всеобщее удивление в этой истории, теперь до конца прояснившейся, Альберт, приехавший спустя семь лет за женой, с которой давно потерял всякую связь. Какие чувства им руководили, вот что интересно. Тут все можно объяснить все той же бессмертной любовью, однако так просто это все не объяснить, и фигура Альберта остается стоять во весь свой гигантский рост посреди этой простой житейской истории.

ДОЧЬ КСЕНИ

Всегда, во все времена литература бралась за перо, чтобы, описывая проституток, — оправдывать. В самом деле, смешно представить себе, что кто-либо взялся бы описывать проститутку с целью очернить ее. Задача литературы, видимо, и состоит в том, чтобы показывать всех, кого обычно презирают, людьми, достойными уважения и жалости. В этом смысле литераторы как бы высоко поднимаются над остальным миром, беря на себя функцию единственных из целого мира защитников этих именно презираемых, беря на себя функцию судей мира и защитников, беря на себя трудное дело нести идею и учить.

Действительно, чье бы сердце, даже закоренелое сердце, не содрогнулось бы при виде простушки, так и хочется сказать — простоволосой, хотя на голове у нее есть какой-то свалявшийся, как валенок, грубый шарфик, но сдвину-

тый на затылок, так что волосы висят. Так и тянет сказать — простоволосая и простушка, толстоватая, коротковатая, но не борец по фигуре, как бывают иногда женщины — чуть не борцы с широкими плечами, загривком и узким тазом и короткими, толстыми в икрах и узкими в щиколотках ногами.

Итак, простоволосая и простушка, потому что совсем рядом с этими словами стоит слово «проститутка», и она и есть она. Но не борец по фигуре, руки не торчат кренделями от мощности корпуса, нет. Так, серединка на половинку, простушка, и все этим сказано. И женственности особой нет, какая там женственность, когда коротковатая и полноватая, простоволосая почти, не грубятина, а стоит себе, ничем не выделяясь, в толпе, продвигается среди остальных женщин, таких же, как она, — но проститутка. Да еще в один из самых главных и незабываемых моментов своей жизни и говорит:

— Папиросы вот передать, печенье.

— Иди, иди, — говорят женщины, находящиеся в толпе. — Там она с милиционером, может быть, разрешат.

— Только печенье и папиросы.

— Конечно, иди, иди. — Как будто только что, первый день подсудимая является подсудимой и в первый свой день она особенно изголодалась по папиросам — без отвычки, сразу, тяжело. А ведь подсудимая уже находится в тюрьме три месяца, и уже передавались ей папиросы и печенье, но тут в толпе разыгрывается совершенно незабываемая сцена, тут правит бал проститутка Ксеня, которая темным вечером у входа в красный уголок, в толпе, продвигается, чтобы передать нищую передачку, и кому? Своей же осужденной дочери, опять-таки проститутке. Она осуждена на год, сейчас ее будут выводить из подвала, белое лицо возникает в темном проеме, следом — или впереди — пойдет милиционер, неизвестно какой, неизвестно с каким выражением лица, когда он идет впереди или позади подсудимой, с тем чтобы посадить ее в машину. Какое может быть у него выражение лица — или он уже привык к этим уводам-приводам в зал и во двор, в машину, к этой толпе у дверей, собирающейся, когда выводят. Но все равно и в случае полной привычки у него будет особое выражение лица. И люди внимательно смотрят и упиваются несчастьем (не в смысле «наслаждаются», хотя немного и в этом смысле, немного и счастливы зрелищем неповторимым, естественным, правдивым до озноба, с невыдуманными по-

дробностями, с этим ожидаемым броском матери-проститутки к дочери-проститутке же с печеньем и папиросами, поскольку дочь ничего не ела с обеда), — и упиваются также неповторимым выражением лица милиционера, невообразимым, ни на что не похожим выражением, которое единственно и возможно только у милиционера в такой ситуации, — но какое это будет выражение, трудно, невозможно предугадать — какое? Что он выразит лицом, что она выразит собою, девятнадцатилетняя дочь-проститутка со своим белым лицом, которое возникнет в проеме дверей вот-вот, вот-вот, а пока мать-проститутка проходит сквозь редкую толпу со словами «папиросочек вот». Все ее тут знают, Ксеню, вон стоит двенадцатилетний, который похаживал к ним в вертеп и подарил молодой проститутке комбинацию. Вон он стоит со взрослыми мужиками как взрослый, в пальтишке-реглан с поясом, как лилипутик, и с ним стоят двое мужиков, чего они с ним стоят? Что общего они имеют с ним, спрашивается? А вот стоят же, не наклоняются к нему, а говорят в сторону крыльца, и он тоже проговаривает какие-то редкие фразы, также не им, а в общую сторону, в сторону крыльца, где сейчас покажется в мученическом темном провале белейшее лицо девятнадцатилетней жены двенадцатилетнего, ибо проститутка на то и проститутка, чтобы не презирать никого, ни старого, ни малого, ни безносого, они должны, обязаны или хотят никого не отталкивать, кто пришел к ним с дарами, а не просто так. Пришел, да еще с дарами, с бутылкой, деньгами или комбинацией, в то время как к другим ни так ни сяк не ходят, вообще не заглядывают, все заросло паутиной у них, закрылись все двери.

А сюда почему-то наведываются часто, с какой, спрашивается, стати, с какой это стати приносят? Чем им нужна эта продажная любовь, когда кругом — зачерпни — ходит любовь простая, не требующая оплаты, а только тепла, внимания, только слов и присутствия кого-то, кто возьмет эту ждущую, бескорыстную любовь и даст взамен не что-то драгоценное, а тоже просто-напросто ничто, пустяк, и при этом еще справит нужду, совершит себе необходимое и устроит этим также других.

Так нет, нет, а ходят вот туда, ходили туда, в эту комнату, где мать простоволосая и дочурка, еле-еле набравшая тела, едва-едва только отошедшая от безобразия и прыщей отрочества и уже несвежая, уже в чем-то простая-простая, без тайны, а простейшая. Кажется, что в ней ничего от

вечного тумана и таинственности, окружающих вроде бы преступление против нравственности. Так себе, ничего, ничего совершенно особенного, а голая простота, и движения, возможно, не без примеси кокетства, но такого простого, нужного, без тайны, кокетства: с оттенком шутки, игры. Шутки и игры добродушной, без подвоха, прочно обоснованной всеми дальнейшими безобманными радостями, которые неуклонно последуют за шутками и весельем раздевающейся женщины. Но ведь может так быть, что и она обманет, запустит бутылкой и выгонит, но, видимо, и это надо уважать и прислушиваться к этому настроению, поскольку оно никакого прямого отношения к человеку, угощенному бутылкой по чему попало, не имеет, тут каприз и меланхолия отдельно взятого, не унижающего других человека, просто дикая тоска, которую приходится только уважать и с уважением перед ней отступать, потому что это не игра, а просто так вышло на сей раз, просто так.

И никто их не боится, таких настроений, поцелуй дверной пробой и иди к себе домой, ничем не обиженный, только что разопрет от несостоявшейся любви, грустно станет из-за упущенного праздника — и только. А то, что праздника нет, это не то совсем, как бывает в праздник, когда тебя не позовут, когда в репродукторах на улицах гремит музыка и все другие веселятся. Нет, тут не то, тут другое совершенно — ни у кого праздника нет, отменили, все вокруг в будничном, ничего не светло и не тепло. А будет и тепло, и светло, в следующий только раз, но снова соберутся все, и придет серьезный двенадцатилетний, которого уважают за равенство в виде принесенной комбинации, он также не изгой, не отверженный в этом мире, в этой комнате, где живут мать и дочь, прошедшие перед тем школу борьбы друг с другом. Ведь это не так просто, как кажется, что у проститутки-матери вырастает дочь-проститутка. Вроде бы вначале намерения у матери иные, вроде бы вначале мать не приветствует, что дочь хочет идти по плохой дорожке, — ведь нетрудно догадаться, что мать есть мать и свои прегрешения прощает себе, но не дочери и хочет видеть в дочери осуществление того, что не удалось ей, — скажем, чтобы дочь училась и так далее. Но нетрудно также догадаться, что дочь вырастает, желая доказать свое, и это неважно, что в ее детстве во дворе ее все шпыняли и она в злобе кусала детей — так говорили, и так оно и было на самом деле. В детстве дочь проститутки была совсем плохой, на ребрах ничего не находилось, и она была злая и

грубила всем кому попало, даже старшим отвечала: «А хотя бы и так», — и вдруг расцвела. Вдруг округлилась, мяса на ней наросло в этой атмосфере вечно накрытого стола в комнате, и вдруг мать стала приплакивать не из-за того, что дочь ее в ответ на поношения по поводу плохой учебы и учительницы могла начать пинать ногой в самое больное место, в голень, — мать стала приплакивать и курила с припухшими глазами из-за того теперь, что все, все кончилось, все надежды рухнули и дочь привела опять, и опять другого, и все ходоки в эту комнату теперь уже не относятся к этой дочке как к дочке и не угощают конфетой перед тем, как мать выставит за дверь на кухню. Нет, теперь взаимоотношения будут другие, и мать примирится с этим как вообще простой человек: так, так так.

И все потечет опять своим чередом, и дочь, избалованная дружками, совсем опростится и перестанет в чем-либо притворяться и делать начнет только то, что в данный момент ей захочется, поскольку так ее разбаловали, так ее разнежили и утвердили на своем, поскольку так она нужна, и — подумайте, за деньги — даже двенадцатилетнему, что редко и может только считаться диким проявлением всеобщей любви и уважения, сразившего даже двенадцатилетнего во дворе. Так ее разбаловали, что это не могло не кончиться плохо, и она в порыве естественной тоски запустила бутылкой в голову милиционеру, зашедшему просто так, проверить, и на этом ее похождения закончились, поскольку тут милиционер и закон, не считающиеся ни с чьими причудами, ни с чьей естественной тоской и словами вроде: «Я тебя шлю к черту», — и это, в свою очередь, не могло не кончиться вот таким выездным судом в подвале дома, и не могло не кончиться выходом на улицу темным вечером пред лицо толпы, публичным явлением толпе заинтересованного фактом народа, увидевшего дочь Ксени, но не в драных школьных колготках и кусающую детей в драках, а вот в таком виде: в каком, еще вопрос.

СЛУЧАЙ БОГОРОДИЦЫ

Мать и сын одновременно переживали романы, и однажды, за воскресным завтраком, сын сказал, как зовут его девушку: Наташа Кандаурова. Мать засмеялась, потому что фамилия ее моряка тоже начиналась с «Кан», и мать сказала эту фамилию. Но сын ничего не запомнил. Он никак не мог понять, почему он вдруг сказал вслух «Наташа Кандаурова», он старался смеяться вместе с матерью над совпадением, но на самом деле был сильно испуган. И когда мать стала со смехом говорить ему что-то про своего моряка, он встал и пошел на кухню. Мать продолжала говорить из комнаты, улыбаясь содержанию своего рассказа, но он ничего не понимал, а стоял над раковиной, помертвев. Наконец мать замолчала, как бы ожидая и от него такого же рассказа о Наташе Кандауровой. И чувствовалось, что она молчит как-то сытно, как будто она получила что хотела и теперь готова была взять его под крыло, утешать его своим опытом и, в свою очередь, получить у него утешение. И смех ее был какой-то дурацкий, женский, возбужденный, в предчувствии их маленького семейного союза против двух «Кан». Она как будто была счастлива своей неожиданной победой, счастлива оттого, что он тоже наконец вырос и понял ее жизнь и даст ей понять свою жизнь.

Сын стоял на двух кирпичах над раковиной и чистил зубы, часто останавливаясь, глядя в одну точку, а потом стащил с шеи полотенце, повесил его на гвоздь и осторожно ступил на доску, которая была проложена к выходной двери по только что выкрашенному полу. Доска прогибалась, и он в задумчивости начал на ней покачиваться. Он понял сам для себя, что выдал Наташу Кандаурову просто из-за желания сказать вслух: «Наташа Кандаурова». Он все время мысленно говорил с Наташей, но ему этого было мало, оказывается. Оказывается, ему еще нужно было произнести это имя вслух, в каком-то слепом бахвальстве, в забытьи. «Кандаурова», — сказал он снова вслух, проверяя себя, может ли он еще сильнее раздавить себя. Слово «Кандаурова» он не договорил, а вместо этого запел: «Ка...а», — и вышел на лестницу напевая. Мать, наверное, поняла это «Ка-а», но ничего не крикнула ему вслед, а так и сидела в комнате, затихнув над грязными тарелками и чашками.

Он уже много раз мучился так от матери, когда она в детстве рассказывала ему, моя его в тазу, что некоторые

мальчики балуются глупостями и что это очень нехорошо и могут положить в больницу и делать уколы. А когда он еще немного подрос, она вдруг начала ему рассказывать, какие тяжелые у нее были роды — ей было всего восемнадцать лет и у нее был один случай на сто, случай Богородицы, смеялась она, что она легла на родильный стол девственницей, но врач не стал вмешиваться хирургическим путем и женщиной ее сделал сын... Она рассказывала ему это в темноте, когда он уже лежал на своей раскладушке, подоткнутый со всех сторон одеялом, а она переодевалась на ночь и залезала коленями к себе на кровать, обтирая с сухим звуком ступню о ступню. Он лежал, глядя в потолок и стиснув зубы от ужаса. Эти слова — девственница, роды — он только еще начинал искать в словарях и энциклопедии, в этих словах было что-то невыносимо запретное, тайное, нужное, чего нельзя нарушать и что должно было накапливаться в нем постепенно, чтобы он в конце концов мог с этим смириться. Но мать не щадила его. Она как будто стосковалась по родной семье, которой у нее давно не было, и только ждала, когда немного вырастет сын, чтобы приблизить себя к нему еще больше, объяснив ему, насколько он принадлежал ей, насколько он ее. И от этого он не выносил даже безобидных воспоминаний, как он был маленьким, как приходилось ей в общежитии только на ночь вешать пеленки в общей кухне, а днем ей не разрешали; и как она, еще беременная, вязала кружевца, чтобы сделать уголки пеленок кружевными, чтобы можно было накрывать ему лицо от мух, но чтобы он все же мог дышать. И как она ненавидела запах тела своего мужа Степанова — он пах, ей казалось, почему-то едким волосом, — и как она этого Степанова не подпускала к себе, и все девочки в общежитии охраняли ее, когда она лежала и ее рвало при одной мысли о том, что Степанов может подойти к ней на пушечный выстрел.

И он был вынужден все это помнить и носить в себе и стыдиться слов «роды», «девственница», потому что для ребят в классе это было совсем не то, что для него. Он был не такой, как все. И когда ребята на переменке где-нибудь за школой, на старых партах, рассказывали друг другу всякие случаи и что чего значит, он вынуждал себя смеяться вместе с ними, чтобы никто не заметил, потому что у него была ужасная тайна — слова «девственница» и «роды», это касалось его, он принимал в этом стыдное участие.

И у него не было близкого друга, с которым бы он мог все обсудить, все выяснить и которому он, наконец, мог бы

признаться, что во время родов он сделал свою мать женщиной.

А потом, когда он вырос и стал снисходительно относиться к своей матери — в этом он почувствовал неожиданную опору для себя, для своего проявляющегося достоинства, — он перестал вспоминать о причинах своего детского стыда, хотя иногда безо всякой причины ему становилось ужасно грустно. Но он быстро подавлял в себе эту тоску. А мать теперь не знала, как к нему подступиться, и боялась себя снова ранить и растравить тоску по нему, спокойно каждый раз отстранявшемуся. Иногда, правда, он понемногу с ней разговаривал о всяких мелочах, чаще всего о прочитанных книгах. И она каждый раз так покупалась на эти разговоры, так радостно шла ему навстречу и так ловила каждое его слово, что ему становилось тесно, неудобно в этой роли обожаемого сына и он снова отстранялся и уходил, оставляя ее недоумевать и бояться самой себя.

Однажды, правда, она перестала обращать внимание на то, как он к ней относится, и прямо сказала ему, что ее надо проводить в больницу. Она была рассеянна с утра, когда он собирался в школу, и не встала ему сделать яичницу, а лежала кое-как и глядела в окно слипшимися глазами. Когда он вернулся из школы, он был немного подавлен, потому что почувствовал, что она уже не тяготится его превосходством, что у нее есть какие-то взрослые дела, до которых он еще не дорос. И что вообще он очень мало знает о ней и у нее есть другое содержание жизни, кроме него.

Он покорно пошел рядом с ней, он, правда, не хотел, чтобы она на него опиралась, потому что увидел в этом притворство; если бы его не было, она бы пошла ни на кого не опираясь. Но она не почувствовала его мыслей, несмотря на то, что она обычно все чувствовала, что он чувствует. Она оперлась на его плечо, и он довел ее до автобуса. Был пустынный летний вечер, никого вокруг не было. И вокруг больницы никого не было. Когда они поднялись на каменное крыльцо, мать нажала на кнопку и стала ждать, не оборачиваясь. Потом она обернулась и торопливо, как занятая, поцеловала его в лоб. Ее встречала в дверях толстая нянечка.

Он остался один и стал ходить по каменному крыльцу, стал читать объявление, прилепленное с той стороны стеклянной двери: «Прием рожениц со двора». Ему стало страшно неприятно от слова «рожениц», но он постарался усмехнуться, чтобы подавить в себе детскую грусть. Вскоре дверь

стала отпираться, с той стороны нянечка трудилась, подергивая к себе ручку, и не смотрела на него. Так же, не смотря, она просунула в щель авоську с пухлым газетным свертком. Он повернулся уходить с этой нелепой авоськой, полной белья матери, а нянечка быстро закрыла дверь и опять начала подергивать ручку, запирать.

Он остался совсем один с деньгами, которые оставила ему мать. Класс скоро распускали, и на уроках многие, кому уже были выставлены четвертные и даже годовые отметки, баловались и шумели. Он читал на всех уроках, он чувствовал небывалую легкость и свободу. На последнем уроке черчения, когда он ждал со своей форматкой, что учитель Никола назовет его фамилию, в класс вдруг просунулась секретарша директора Зоя Алексеевна и громко назвала его фамилию. Он неприятно испугался чего-то, встал и пошел за секретаршей. На столе, на первом этаже, лежала телефонная трубка. «Это тебя, — значительно сказала Зоя Алексеевна, — от матери из больницы». Он взял трубку, солидно сказал: «У телефона», но в ответ ничего не услышал, только шуршало что-то. Потом мамин голос крикнул издалека: «Ты меня слышишь?» — «У телефона!» — опять значительно сказал он. Он не очень хорошо знал, как говорить по телефону. «Как ты там?» — спросила мать. Зоя Алексеевна стоя перебирала какие-то бумаги на столе. Видно было, что она недовольна, что ученик так долго занимает директорский телефон. «Ты там ешь что-нибудь?» — сдавленно спросила мать. «Да-да!» — сказал он и как бы отвечая матери, и в то же время как бы опять не расслышав ничего в трубке. Мать крикнула издалека: «Может быть, зашел бы ко мне. Здесь ко всем...» — она не докричала, а как бы задохнулась. «Да-да, конечно, конечно!» — отозвался он немного погодя. «Ну пока, до свидания, а то четвертную... годовые отметки выставляют», — добавил он. «Мне уже сделали операцию, — заторопилась она. — Я много тут крови потеряла, понимаешь, но все в порядке! Все в порядке!» — закричала она, и тут в нем словно лопнула какая-то сухота в горле, и он весь напрягся, чтобы не заплакать. «Все будет хорошо! — сказал он. — Все в порядке! — повторил он горячо, прощая свою мать. — Я за тобой приду и заберу тебя к чертовой матери оттуда!» Он положил трубку и быстро повернулся уходить, чтобы не видеть Зою Алексеевну. Что-то его потрясло, может быть собственная доброта. Он долго после этого чувствовал легкость и умиление, он не разрешал матери вставать и сам

однажды ходил в аптеку за ватой, а за продуктами он ходил каждый день. Она не приставала к нему с нежностями и откровенностями, то время уже прошло, она уже была научена. Она лежала тихо, на животе или на спине, повернув голову к нему. Она водила за ним глазами, что бы он ни делал в комнате, и только изредка поднимала руку и заправляла волосы за уши.

Потом она поправилась и стала ходить, чтобы отправить его хотя бы на вторую смену в пионерский лагерь, но он сказал, что не поедет ни в коем случае. Она перестала хлопотать, а по вечерам тихо уходила из дому, щелкнув перед дверью сумочкой. Она всегда перед выходом проверяла, есть ли у нее ключи.

Она теперь не разговаривала, как обычно, просто по пустякам. Но иногда она забывала обо всем, ее вечное напряжение куда-то улетучивалось, она напевала в кухне своим носовым, коротеньким голосом: «И лишь той... стороной... на свида...нье с другой...»

Это бывало обычно в хорошую погоду, при солнце, утром в воскресенье. Она сдирала с окон занавески, с постелей простыни и наволочки и с целым ворохом, отвертывая лицо, шла стирать. А он в то время, подчиняясь новому, что в нем родилось недавно, мыл босиком пол, неумело выкручивая тряпку.

Но в это воскресенье он не стал мыть пол, потому что пол только покрасили, а до этого они с матерью его скребли и отмывали после ремонта целый божий день. Но он не стал мыть пол не потому. Даже если бы пол был грязный и некрашеный, он все равно бы в это проклятое воскресенье, когда он растоптал себя, произнеся вслух имя Наташи Кандауровой, мыть пол не стал, а выскочил бы на лестницу с раззявленным ртом, чтобы, напевая: «На-а...», а на самом деле продолжая тянуть «Ка...а...»...

Мать осталась сидеть над немытой посудой не потому, что была сильно взволнована или ее огорчило признание сына, что у него есть девушка по имени Наташа Кандаурова. Само по себе имя ничего не значило; еще когда он был в детском саду, на шестидневке, она, приезжая за ним каждую субботу, спрашивала: с кем ты дружишь, и он серьезно отвечал, что со Светланой Ягодининой и с Леной Перовой; она до сих пор помнила эти имена и фамилии, которые повторялись каждую субботу. И они ровно ничего не значили для нее. Она просто радовалась, что у сына есть дружба, что он не один, одинокий, ложится спать в спальне на двад-

цать шесть человек или идет в столовую. И она каждый раз проверяла, дружит ли еще ее сын со Светой и с Леной.

Но он все-таки цеплялся за нее каждый раз, когда она уходила из детского сада, оставляя его одного. Иногда ей удавалось уйти от него незаметно, и воспитательницы говорили ей потом, а то и забывали говорить, ведь все-таки неделя проходила, что он искал ее за шкафами и в воспитательском туалете, потому что она при нем как-то ходила в воспитательский туалет и закрывалась там на крючок, а он испугался и стал отчаянно дергать дверку за выступающий гвоздь — до ручки он не дотягивался. И он потом много раз терпеливо стоял под воспитательским туалетом и ждал, пока там откинут крючок. Или ей рассказывали ночные няни, что он ночью опять стоял около кровати и плакал и ни за что не хотел ложиться.

Но однажды, во время родительского дня, летом, когда она особенно его ошеломила своим голубым платьем и коробкой трехслойного мармелада, он потерял всякую власть над собой и стал просто держать ее за край голубого платья, хотя даже сидел у нее на коленях. Он показался ей особенно вялым и бледным в этот день, он ел бутерброд с колбасой еле-еле и вдруг сказал, обернувшись к ней с ее колен: «Мама, а я о тебе вспоминал». Другой рукой он держался за ее платье, а рот у него блестел от масла.

И когда зазвенел звонок на обед и все родители столпились у лестницы, на которую поднимались дети со своими подарочными кульками, он понял, что это значит, и его стало рвать бутербродом. Она его успокоила, прижала к себе и стала качать на коленях, и он ей поверил, что она не уйдет. Но воспитательница уже собрала всех детей у умывальной, мимо беседки пронесли ведро со вторым, накрытое стираной марлей, родители посылали в окно умывальни воздушные поцелуи и торопливо уходили мимо беседки, и тогда она пошла на хитрость. Она сказала: «Ты давно не собирал цветов для мамы». Он кивнул, отпустил ее платье и пошел из беседки. «Саженые цветы не рви, а только которые сами растут», — крикнула она ему вслед. Она не упускала никогда малейшей возможности повоспитывать его, жалко только, что они слишком редко бывали вместе, и он ее не очень слушал, он тратил это короткое время на то, чтобы находиться рядом с ней. Он и ночью вставал, нерешительно стоял около своей раскладушки, а потом быстро добегал до ее кровати, карабкался по одеялу вверх и робко дышал, пока она говорила ему, чтобы он уходил. Но он

все-таки залезал к ней, и она укутывала его одеялом и всю ночь оберегала его, так что сна ей не было и часто утром она оказывалась у него в ногах, скорчившись в три погибели, чтобы ему было удобней. Во сне она не рассуждала, а просто устраивала, как ему было лучше. А наяву она все же понимала, что надо делать не как ему удобней, а как полагается. И вот он сошел на траву и пропал за кустом, а она быстро поднялась с лавочки, добежала до ворот и тяжело пошла на вокзал. Она не стала стоять за забором и слушать, как он вернется в беседку, будет молча ступать по деревянному полу, а потом кинется в дом и будет стоять под воспитательским туалетом и дергать за гвоздь...

А в следующий раз, когда она приехала за ним забирать его насовсем, в другой детский сад, это было уже через месяц после случая с цветами. И она уже забыла про случай с цветами, и он, наверное, забыл. Но он ей не обрадовался. Он терпеливо стоял, пока она на нем застегивала все пуговицы, завязывала шнурки и тесемки от шапки. Она его поцеловала, щека у него была холодная, податливая. Он мельком взглянул на мать, глаза у него смотрели утомленно, как будто он не держал как следует веки.

Но что ей было делать! Она была еще тогда совсем молодая. Если бы это сейчас с ней было, она бы встала с ног на голову, разбилась бы в лепешку, но не обманывала бы его с цветами и не гнала бы его от себя, когда он ночью приходил к ней, чего-то испугавшись у себя. Но он, как ни странно, случая с цветами совсем не помнил. Этот случай у него как-то сразу выветрился из памяти, как будто его и не было. Он никогда не вспоминал этот случай, а она никогда не рассказывала ему его, хотя была от природы общительна и с простой душой. Но этот случай она никогда не напоминала, она только сама все время помнила и казнила себя.

КОЗЕЛ ВАНЯ

Жил-был прекрасный — или плохой — писатель, который не оставил по себе никакой памяти, кроме той памяти, которая заключалась в том, что он оставил еще сына, великовозрастного материного захребетника, и дочь, тоже теперь взрослую, не имеющую для себя никаких преград и моральных обязательств. Да, он еще оставил жену, но не в образе жены ведь живет память о человеке, а именно в образе потомства, в нашем случае сына и дочери. Те же сыновья и дочери его, какие именно одни и должны были остаться, то есть пьесы и романы, — они в основном порастерялись, неведомо каким образом, в бурные послевоенные годы; во всяком случае, когда семья перебиралась на новую квартиру, рукописей никаких перевозимо не было. Правда, может статься, что пожилая вдова спрятала рукописи в матрацы или зашила в подушки и под видом матрацев и подушек перевозила с места на место. Но зачем? Зачем, для чего, для каких могущих наступить времен могла беречь почерневшая вдова эти ничтожные листы, эти рукописи, никем не читанные? Во всяком случае, когда из южного университетского города раздался звонок и мужской голос сообщил, что он, аспирант Благов, занимается творчеством писателя Н., вдова ничего не могла сказать Благову при личной встрече, когда Благов приехал в Москву и предложил увидеться и познакомиться. Личная встреча к тому же происходила в чужом доме, где Благов остановился у двоюродной сестры в комнате в коммунальной квартире, и во время встречи сестра входила, выходила, переодевалась, одевалась, пошла в булочную и вообще вела себя как вольная пташка, непричастная к своему двоюродному брату, хотя бы тот и неведомо кого привел к ней в комнату, хоть бы родственников Пушкина, смотреть какие у нее обои в пятнах и немытое с осени окно.

Вдова же в присутствии дочери молола всякую чушь о своей боевой юности, о своем настоящем в виде труда на ниве библиотечного дела, о трудностях работы заведующей и о читательских конференциях, на одну из которых вдова приглашала Благова прийти.

Встреча происходила в чужом доме, а не в собственном доме писателя, поскольку туда не могла ступить нога человека — ибо в одной из комнат, оставшихся от писателя, совершенно замкнулся в себе его сын Коля, сорокалетний

кататоник, который мочился только в бутылку и не знал воды и бритвы. Стены этой комнаты были испятнаны Колей в любимейших местах особенно сильно; лежа, он дотрагивался до выбранных им позиций на стене по многу тысяч раз за те долгие десятилетия, когда он лежал, курил, чистил с треском ногти и шептался сам с собой, доходя до криков. Это был бы позор, если бы кто-нибудь увидел, как живет вдова и ее молодая дочка, тоже ведь дочь писателя. Но это был и не позор, с другой стороны, поскольку в их комнаты никто дальше тамбура не заходил. В комнате Коли вечер наступал согласно законам природы, поскольку свет там давно не горел. Из батареи зимой капало в баночку сквозь обмотки, обои кое-где порвались, хотя аккуратный Коля при каждом обходе комнаты по периметру прикладывал висящие лоскутки на место, и они загрязнились от прикосновений тонких полупрозрачных пальцев Коли и завились барашком. Коля в двадцать лет ушел из мира, испугавшись армии, но формально после тяжелой формы гриппа. Коля единственно чем занимался в светлое время суток — занимался шахматами и читал шахматные вестники. И когда его слава шахматного композитора облетела весь мир и к нему стал пробиваться познакомиться молодой швед — Колина мать не пустила его даже в тамбур, а сам Коля стоял в страшном волнении за дверью и слушал, как мать кисло отвечает переводчику, стараясь оттеснить обоих подальше в коридор, куда не доходили тяжелые запахи Колиной берложки.

Стало быть, Благов ничего не получил в тот раз, а в следующий раз, когда приехал в Москву через два года, семья Н. перебралась на новую квартиру, где еще не успело ничего порушиться и где Коля вел новую жизнь при свете электричества и на полу, покрытом лаком.

Благов, таким образом, был принят в доме, где пока что все блестело и сверкало, в том числе сервиз и хрусталь на столе, ибо вдова хоть и бедствовала на старой квартире, но бедствовала чисто внешне, для виду, и, по всей видимости, хранила баккара и севр под какими-нибудь тряпочками в ящиках, в ожидании лучших времен. Лучшие времена наступили, и в них лучшим из лучших дней оказался день визита Благова, так как квартира была с иголочки, а мебель, хрусталь и фарфор были старинные, и бедный Благов бог знает что мог подумать (и несомненно, подумал) о главном предмете своей жизни — о рукописях писателя Н., несомненно хранившихся среди всего этого добра.

Вдова, однако, была сильно настороже, ибо Коля мог с минуты на минуту выйти из своей комнаты с криком «не отдавайте меня». Дело в том, что вдова за годы тяжелых переживаний обзавелась множеством болезней, среди которых в последний год проступала все явственней болезнь, еще не имевшая определения, но настоятельно требовавшая его. По нескольку раз на день вдова прикладывала к больному месту ладонь, и глаза ее заполнялись слезами. Она, однако, не говорила ничего вслух, ибо пожаловаться было некому, — в библиотеке молодая заместитель то и дело подлавливала вдову на погрешностях и только смотрела, как бы сесть на ее место, поскольку пенсионный возраст вдовы уже истек. Дома дела шли уже известным нам образом, правда известным только наполовину, поскольку дочь писателя Эльза еще не появилась у нас на арене событий. Но и сидения дома с Эльзой мать не пожелала бы себе и в страшном сне, одни муки были с Эльзой. На Эльзу нельзя было положиться ни в чем. Именно это имел в виду несчастный шахматный композитор Коля, который всю последнюю неделю чувствовал нависшую над ним опасность и врывался на материнскую территорию с криком «Не отдавайте меня!». Ибо, действительно, на кого могла покинуть Колю и его бутылочки с мочой вдова, уйдя в больницу на обследование, а потом и еще дальше? Ведь не на Эльзу же, которая на многие сутки убегала из дому, и только постепенное исчезновение ее носильных вещей показывало, что Эльза посещает дом в рабочее время и куда-то свои вещички таскает, где-то живет и вообще жива.

А Благов-то, Благов разливался за столом комплиментами, ему все нравилось в этом доме: и любезно-ядовитая вдова писателя, которая все хлопотала по хозяйству, а мыслями, это видно было, витала где-то далеко (в соседней комнате, прибавим мы), и писательская дочь Эльза, которая хлопала вино фужерами и не закусывала и вообще вела автономную жизнь, в разговоры не вмешивалась. С нею-то Благов и решил переговорить о самом главном, о рукописях.

— Простите, что я вас на секунду, — промолвил Благов, когда мамаша отвалила в кухню или еще куда-то, — вы были совсем маленькой, когда папа умер?

— Да, — сказала Эльза, — если я вообще родилась.

— Понятно, — сказал Благов и тяжело замолчал. Он не мог понять, что хотела сказать Эльза — то ли то, что родилась уже после смерти писателя и не имеет к нему отноше-

ния, то ли то она хотела сказать, что сомневается, родилась ли вообще или все это сон.

— Вы похожи на папу, — сказал Благов, опровергая этой фразой и первое и второе толкование ответа Эльзы. — У меня есть его портрет. Очень красивый человек.

А вообще-то Эльза ни первого, ни второго толкования не имела в виду, она просто не хотела, чтобы Благов знал, сколько ей лет.

— Я его не знала, — сказала Эльза.

— Хотите, я подарю вам его карточку? У меня переснимок.

— Пожалуйста, — ответила Эльза, и в это время за стеной раздался звон разбиваемого стекла и побежал кто-то. — У нас ни одного снимка не осталось. Он ведь ушел от матери.

— Вот оно что, а я смотрю, как она болезненно все воспринимает... Она сильно пережила это?

— Не знаю, меня тогда не было, — сказала упрямая Эльза, хотя ей в подразумеваемое время было уже пять лет.

— Вы знаете, вот сколько я ни занимаюсь писательскими судьбами, все-таки все что-то было у них не в порядке. Странные жизни, покалеченные жизни вокруг... Как будто живет-живет род человеческий, а потом разваливается на мелкие кусочки, потому что появился писатель и все разрушил. Хорошо вам, у вас такая мама...

— Да, мама что надо, — сказала Эльза.

— Наверное, мама сохранила какие-нибудь вещи отца?

— Вещи? Кепка была. Кожпальто...

— Вещи — имеются в виду произведения.

— Нет, я бы знала. Я в детстве все перерывала у мамы.

— Так куда же все делось?

— Я знаю? А что было-то?

— Ну, роман большой, повести несколько штук, рассказы, два сборника, по меньшей мере...

— «Козел Ваня», что ли?

— Что это — «Козел Ваня»?

— Это мне брат рассказывал, он читал.

— Ваш брат? А можно с ним встретиться как-то?

— Вот мама придет.

Вошла запыхавшаяся вдова с красными после уборки руками и сразу получила вопрос, можно ли встретиться с Колей.

— Нет, что вы, это невозможно. Вообще вы меня извините, я так устала эти дни...

И вдова положила на живот руку, и глаза ее наполнились слезами.

Благов встал, встала и Эльза, прихватив с собой раскупоренную бутылку вина.

— Куда еще? — спросила вдова.

— Я провожу, — ответила Эльза.

Дальше можно не описывать, как Эльза предложила Благову допить вино в подъезде, и как Благов счел своим долгом пригласить Эльзу в кафе, и как они посидели в кафе и дело кончилось-таки в подъезде, где породнившиеся за два часа беготни Эльза и Благов распили бутылку и, к вящему изумлению Благова, стали целоваться.

Благов, впрочем, ничего так и не добился, но поскольку диссертация у него была построена на четырех писательских судьбах (новые находки и изыскания), то он, хоть и не без сожаления, просто обошелся тремя писательскими судьбами.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕРЫ

Эта в общем-то вполне объяснимая любовь началась у молодой девицы Веры не сразу, потому что, придя на новое место работы, человек не сразу хорошо видит все, а некоторое время еще привыкает, прежде чем начинает различать всех по именам.

Вера попала на новое место работы через отца, который мог ее устроить уже давно, еще когда Вера только начинала свою трудовую деятельность в качестве помощника продавца. Но отец Веры не хотел устраивать ее в то же учреждение, где работал сам, потому что опасался разных неожиданностей со стороны Веры, и его опасения подтвердились через буквально месяц после того, как Вера устроилась на новом месте и только-только стала различать всех по именам.

Конечно, отец еще заранее опасался, что Вера может осатанеть на новой работе от такого количества мужчин. Что, в конце концов, вполне объяснялось тем, что Вера в течение четырех лет работала за прилавком в бесплодной атмосфере взаимного оглядывания, вопросов и ответов, в

атмосфере разговоров старших продавщиц между собой: другую душу это могло н не затронуть, но отец точно видел теперь уже одно, что Вера вернт всем мужчннам, кроме него. Отец говорил ей, что так слепо вернть нельзя, что надо тоже быть хотя бы гордой девушкой н не терять себя до такой степеии и не плакать каждые два месяца до потери созиаиня, и все это начиная с шестнадцатн лет.

Своей властью отец давно бы отправил Веру в колонию, н он об этом говорил денно н нощно, хотя и ничего не предпринимал, а потом ей исполнилось восемнадцать лет. Но надо сказать, что в четырнадцать, и в двенадцать, и даже в десять лет Вера была фнзически развита почти как в восемнадцать, не по годам, хотя разум ее, по мнению учнтелей, сильно отставал от физического развитня. Учительница, уважающая Вериного отца, говорила ему, что не представляет, что с Верой будет, когда ей исполиится четырнадцать лет, но Вере исполнилось и четырнадцать, н наконец она добрела до шестнадцатн и тут бросила в тартарары школу и самостоятельно устроилась ученнцей продавца.

И там, за прилавком, Вера четыре года вела жизнь внешне всем понятную, но внутреиие столь же сложную н трудно объясннмую, как жнзнн всех других людей. Внешне все было понятно, н это бросалось в глаза всем и каждому, и по одной видимости судили о Вере, хотя точно такие же внешнне обстоятельства можно было бы найти у тысяч девушек, а ведь каждая девушка существенно отличается от других.

Но все равно это никак ие служило оправдаиием Вере в глазах других, н только подруги, находящиеся в таких же внешннх обстоятельствах н внутрн этнх обстоятельств и, несмотря на кажущуюся похожесть, бывшие натурамн всетакн абсолютно разными, только эти разные подруги, прн заданных условиях каждая по-своему решавшие свои жизненные задачи, только эти подруги понимали Веру и считалн ее существом не от мнра сего, существом идеальным и часто говорили ей, хлопая ей по плечу: «Привет от Иванушки-дурачка!» Речь в таких случаях шла не о чем ином, как только о любви, потому что о чем иином могут говорить между собой девушки восемиадцати лет! Конечно, и о киио, и о спорте, и о кннгах, и о погоде, н о своих матерях, и о деньгах, н о страшных случаях на улице, и о том, что обман н несправедливость ненавистны, н о детстве, об усталости, что болят ноги н душно, н о непорядках на работе. Обо всем,

о чем говорят остальиые люди, об этом говорят и оии, и этого иичем ие скрыть, что оии такие же, как все. Но в одиом они отличаются от остальиых людей — что эти девушки миого говорят между собой о любви и дружбе, перебирают, аиализируют, пользуются итуицией или просто закрывают глаза иа все, откровеииичают, плачут и, иакоиец, приобретают в этих разговорах некоторую жизнениую закалку, которая с течеиием времеии запечатывает им рты и оставляет их иаедиие с собой как-то вести свой одииокий бой.

Но отец иичего этого ие прииимал и ие хотел прииимать и брать в расчет то чувство дружбы и сиисходительиой любви, которое питали к Вере ее подруги, это отец считал просто за коллективиое разложеиие, и поэтому, когда Вера захотела уйти из магазиия, ои полиостью поддержал ее и решился устроить ее в свое учреждеиие, где все будет под боком и можно будет иаладить иидформацию о том, как ведет себя Вера, с припуском плюс два-три дия.

Ои, коиечио, учитывал и то, что Веру, иаблюдавшую до тех пор жизиь из-за прилавка, можио считать как бы еще ие жившей в этом мире, как бы моиастыркой или выпущеииой из девичьей колоиии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но отец надеялся иа себя и придавал себе в дальиейшей жизии Веры очень большое зиачение, зиачеиие иесказанио преувеличеииое, опять-таки основаииое иа регулировке каких-то чисто виешиих обстоятельств.

И эта порочиая система ие замедлила дать о себе знать, потому что, зиая все, отец иичего не мог измеиить, потому что иичего иезакоииого ие происходило. Отец Веры вскоре после того, как оиа приступила к работе, получил сведеиия о том, что Вера ведет себя не то что неприличио, ио просто как-то страиио радостно и, еще не успев оглядеться, еще не узиав как следует всех в лицо, оиа уже ведет какие-то длинные разговоры по виутреииему телефоиу и в коридорах и вообще чувствует себя как иа балу, чему свидетельством безмериый грим, который эта молоденькая финтифлюшка иакладывает иа кожу лица. И по лицу ее уже заметио, что оиа готова броситься в пучииу иаслаждений с кем бы то ии было, потому что, после стояиия за прилавком, очевидно, все мужчииы казались ей полубогами, иесущими в себе возможность любви.

С припуском плюс два-один день отец Веры узиавал, иапример, цепеиея, что Вера уже отстукала иа машиике кому-то письмо и с ликующим видом отиесла его в экспеди-

цию. В письме, узнал далее отец, адресованном какому-то Драчу И. Э., Вера благодарила за возвращение 5 (пяти) рублей и сообщала, что адрес Татьяны дать не может, потому что, во-первых, Татьяна не давала ей на то никаких полномочий, а во-вторых, адрес этот ей неизвестен. «С огромным уважением и еще раз спасибо за пять рублей — Вера Сергеевна» — так кончалось это письмо. Отец постепенно успокаивался, подсчитав в уме, что это всего-навсего отголосок двенадцатидневного Верного отпуска, который она отгуляла в доме отдыха.

Далее отец узнал, что Вера настоятельно добивается свидания с одним лысоватым, спортивного вида сотрудником на предмет разговора о том, что этот сотрудник последнее время, а именно после их совместной поездки на его машине как-то после рабочего дня, вдруг стал избегать Веру и через Верину приятельницу передал, что «сейчас не время», а на самом деле это было просто следствием жуткого скандала, который ему закатила жена-балерина, которой все стало известно, хотя лысый катал Веру по далеким окраинам, избегая тех мест, где жили знакомые.

Конечно, для Веры многое все же осталось неизвестным, она, можно сказать, так ничего и не узнала, и образ вечерней прогулки в машине под звон джаза долгое время преследовал ее, оставался эталоном недостигнутого счастья и ушедшей любви, и Вера месяц ходила печальная, готовая любить всю жизнь далекий образ.

Отец, правда, порывался открыть Вере всю правду, всю смехотворность ее любви и страданий, но он так и не смог, как в свое время не смог отдать Веру в колонию, а тем временем подоспело следующее событие. Веру попросил остаться на вечер поработать под диктовку талантливый молодой сотрудник, ас своего дела, недавно романтически подавший на развод с мотивировкой «из-за отсутствия детей», которых у него действительно не было, и, ко всему прочему, владелец пустой кооперативной квартиры.

Вера на следующий день вышла на работу растроганная, светлая, ждущая, со строгой печалью в душе и с убеждением, что таких, как он, больше нет и что это ей удача на всю остальную жизнь, даже если ничего и не будет. Что это редкость, такие, как он, которые ничего не требуют, не настаивают ни на чем в первый же вечер, а только просят не оставлять их одних в этой камере-одиночке, раз уж приехали в такую даль, в эту кооперативную квартиру, и самое

большее, на что они решаются, — это крепко-крепко обнять, и ничего больше.

Так вот, это дело тоже кончилось ничем, так как этот сравнительно молодой сотрудник тоже стал как-то испуганно избегать Веру сразу же на другой день и даже избегал смотреть на нее, как будто бы, можно было подумать, он боялся, что она ему о чем-то нехорошем напомнит, и не хотел ничего больше об этом знать и слышать. До отца Веры в полном, неискаженном виде дошли слова этого молодого человека, сказанные им в ответ на замечание одной женщины, что Верочка плачет и готова уйти с работы, — слова это были такие: «Пусть она принесет справку от врача, что она здорова, тогда я согласен, пожалуйста». Это было сказано при всех, и все смеялись.

А Вера все ничего не понимала и была готова вообразить, что он просто узнал о ее прогулке в автомобиле, и была готова ловить этого молодого сотрудника и уверять его, что там ничего не было, что все это ошибка и пусть он не принимает ничего близко к сердцу; что у нее были свои несчастья в жизни, но она в них не виновата и так далее, она была готова попросту изложить ему всю свою биографию, хотя никто в целом свете не нуждался ни в чем похожем.

Отец тоже, со своей стороны, был готов объяснить Вере все, но у него не хватало духу признаться, что он все знает, потому что он не знал, как на это среагирует Вера, ведь она могла выкинуть какую-нибудь страшную штуку, а полное объяснение всех обстоятельств для нее уже ничего не значило, раз она попалась на удочку чистой, светлой любви.

Это тянулось у нее довольно долго, и она механически исполняла свои обязанности, еле-еле ела в буфете, дома рано ложилась спать и брала в библиотеке книги стихов. Можно сказать, что она потеряла вкус к жизни в свои двадцать лет, что чувствует себя глубокой старухой.

Но, прежде чем наступила решающая, главная любовь ее в этом периоде ее жизни, Вера испытала еще одну милую, грустную симпатию к еще одному сотруднику своего отдела, человеку маленького роста, который многозначительно называл ее на «вы» и подшучивал, подтрунивал над нею, звал ее Верой Сергеевной и иногда позволял себе наедине украсть у нее поцелуй или сделать еще что-нибудь в таком же духе. Он оживлялся наедине с Верой, рассказывал ей интересные истории из интимной жизни человечества, иногда приносил ей старые, очень старые книги о любви,

которые можно было читать только из выдвижного ящика письменного стола, чтобы в случае чего никто не застал.

Вера привыкла к этому странному человеку, который был с ней совсем другим, чем был в отделе, не таким энергичным, не таким страстно рвущимся в бой за правду, не таким непримиримым в вопросах дела, не идущим ни на какие компромиссы даже ради спокойствия души кого-то. С Верой он как бы смягчался, распоясывался, отбрасывал в сторону строгие рамки и деловые соображения, и случалось иногда, что он в присутствии Веры с удовольствием ругался на чем свет стоит, часто нецензурно, отводил душу. От Веры же, из ее маленького закутка, он звонил по своим сугубо личным делам, с удовольствием ничего от нее не скрывая, все слова произнося вслух и забавляясь ее смущением и тем, что она делает вид, что не хочет слушать таких вещей.

И эта симпатия кончилась как-то странно, хотя Вера уже привыкла к маленькому и иногда клала руку ему на плечо и говорила: «Ну что, мой друг?..» Эта симпатия кончилась на сей раз на том, что маленький попросил Веру использовать ее прежние торговые связи и достать ему пальто, потому что его размера ему самому не найти. И Вера развила бурную деятельность, действительно перетрясла все свои прежние знакомства, наконец ей назначили день и час, когда явиться маленькому за импортным пальто.

В тот день маленький почему-то отсутствовал, и Вера, чтобы не ходить в отдел и не травмировать себя, стала периодически звонить и спрашивать, когда же он будет, на что ее спрашивали, что передать, и она монотонно говорила, что просила позвонить Вера Сергеевна, насчет пальто. Наконец, через какое-то количество звонков, ей стали отвечать голоса, душимые смехом, и трубка долго лежала на столе, как будто кто-то уходил искать, а затем трубку неожиданно мягко и осторожно опускали на рычаг.

И когда наконец маленький на следующий день все-таки появился у Веры, он сделал ей небольшой, но раздраженный доклад о том, как надо себя вести в учреждении, где работаешь, какова должна быть культура того же разговаривания по телефону, и на этом прекратил все рассказы и сидения на столе у Веры, все ее воспитание, как он это называл.

Как ни странно, и этот маленький эпизод тоже потряс Веру с необычайной силой, как если бы ее бросил любящий

ее человек, к которому она уже приучила себя и стала привыкать и находить в нем прелесть, хотя ничего подобного и не было, а было что-то другое, чему она не могла подобрать названия.

И как же трясся ее отец, когда ему стало известно через те же два дня, что в отделе, где раздавались Верины звонки, царило в это время праздничное оживление и все поздравляли друг друга, что наконец очередь у Веры дошла и до этого маленького сотрудника, и когда тот появился, его буквально затравили этим пальто и этими звонками. Причем лысоватый сотрудник по этому поводу отзывался о Вере с брезгливостью и с некоторой даже злостью, хотя и улыбаясь, как все, а тот молодой романтик — более смягченно, ослабленно, с долей всепрощающей иронии, не давая себе воли выговориться с полной силой из уважения к окружающим женщинам. И никакие отговорки насчет действительной необходимости в пальто не принимались во внимание, а все только жалели маленького сотрудника, так как он пал жертвой, и он сам наконец сдался и тихо рассмеялся и сказал несколько слов в сугубо мужской компании, после чего послышался буквально дикий рев со слезами от смеха.

И наконец наступил ответственнейший период в этой небольшой части жизни Веры, когда она, к своему несчастью, глубоко влюбилась в заведующего отделом, который, вернувшись из-за границы, долго диктовал ей отчет о поездке и много и смешно рассказывал помимо отчета — только ей, как достойному собеседнику, — как на самом деле все происходило, вскрывая причины того или иного поведения тех или иных людей и глубоко сожалея, что все это произошло не совсем так, как могло произойти для более полного результата.

Вера после этого доверительного разговора несколько дней ходила сама не своя, как потерянная, буквально не зная, что с ней творится. Об ее состоянии, равно как и об отношении к ней шефа, никто ничего не узнал, поскольку отдел мог только догадываться, что происходит в душе у шефа и почему он тогда-то рвет и мечет, а тогда-то просто поражает всех своей верой в человека, совершенно ни на чем не основанной, идеалистической, несовременной, дикой и трогательной. Равно как и шефу была недоступна информация о такого же рода переживаниях отдела.

Если бы Вера сидела в отделе, если бы она тоже пропиталась тем саркастическим, всевидящим и вместе с тем благодушным духом коллектива, она, возможно, избежала бы

многих ошибок в своей жизни, но, с другой стороны, ее бы раньше пропитал сладкий яд любви к шефу, потому что надо всем в коллективе витал дух шефа, его индивидуальность. Все пронизал его образ, его привычки, его привязанности и антипатии, его смешные особенности и его патетические обобщения, с которыми он выступал на собраниях.

Это не была любовь плотская, этого было бы смешно ожидать от тех мужчин и женщин, которые сидели в отделе. Но это была все-таки настоящая влюбленность с волнением и радостью появления шефа, с ожиданием встречи наедине, с еканьем сердца от его взгляда, с придаванием излишнего значения его, казалось бы, незначительным словам и случайным поступкам. Как бы принималось заранее, что ничего случайного, не освященного какой-то сверхзадачей, ничего простого в нем быть не может и не должно быть, а его недостатки, которые все знали наперечет, были именно теми недостатками, которые вызывают лишь боль, когда любимое существо их показывает. Случались также разочарования в нем, доходящие до ненависти и борьбы с ним, что тоже было похоже на разочарования в любимом когда-то человеке.

Верочка ничего этого и не подозревала, и атмосфера общих собраний, где она, затворница, единственно могла бы пропитаться этим сладким ядом всеобщего настороженного ревнивого внимания к шефу, эта атмосфера ее не затрагивала. Ей была незнакома эта форма привязанности — у себя в магазине они, продавщицы, дружно презирали директора и в случае чего смело шли на инцидент и высказывали ему в глаза все, что думали о нем. За всем этим стояло у них непростительно легкое, равнодушное отношение к пребыванию на том или ином месте работы. «Ниже не понизят», — говаривали продавщицы, собираясь вместе в кафе-закусочной в обеденный перерыв.

Поэтому можно сказать, что Вера впервые в жизни с невероятной полнотой ощутила направленное на нее доверие, исходящее от старшего, доверие незатейливое, без задних мыслей, доверие от минутного настроения души, просящей чьего-нибудь благоговения, при этом без опасений, что такое благоговение будет преувеличенно-искренним, с многочисленными задними мыслями. В случае Веры и шефа две души встретились на одном уровне простоты, очищенности от каких бы то ни было посторонних побуждений. Доверие и благоговение вели свой нежный дуэт, в то время как шеф диктовал, а Вера печатала.

И такая чистота отношений, такой взлет и единение душ не могли пройти бесследно для бедной Верочки и для шефа. Спустя некоторое время шеф, разрезвясь во время очередной диктовки, поспорил с Верой об одном фильме, кто в нем играет главную роль, поспорил на так называемую «американку» — то есть проспоривший исполняет любое желание выспорившего.

Это был давнишний прием, знакомый шефу еще со времен его рабочей юности, а Верочке — из обычаев пионерлагерей, куда она ездила каждое лето до своих несчастных шестнадцати лет. Верочка, проспорив, присмирела и искренне опечалилась. Трудно передать словом ту смесь тоски, жертвенности, сожаления о спешке, бешеной радости и ожидания чего-то наилучшего, этой всегдашней смеси чувств влюбленной женщины, в нашем случае Верочки, решившейся на так называемое «все».

Короче говоря, Верочка сказала, что раз она проспорила, то готова выполнить одно желание. Шеф сказал, что в его время под «американкой» подразумевались три желания. На что Верочка согласилась, что раз три, то пусть будет три.

И на этом разговор повис в воздухе. Шеф быстро кончил диктовать и вскоре ушел в свой кабинет и вышел затем оттуда с портфелем и номерком в руке и скрылся.

И напрасно Верочка, бледнея и холодея, ждала от него в течение последующих месяцев хоть какого-нибудь знака, хоть весточки или телефонного звонка. Затем Верочка после бессонной ночи решилась и позвонила шефу по телефону-автомату в обеденный перерыв и попросила ее принять, что уж само по себе было необычно и могло насторожить шефа, так как у него все было устроено так, что сотрудники входили без доклада. Но он назначил ей время в конце рабочего дня и при этом попросил ее постучать в дверь кабинета три раза раздельно. Верочка, смело придя на это необычное свидание, долго просидела у шефа и буквально не дала ему рта раскрыть, все говорила и говорила ему о своей жизни, точно у нее прорвалась плотина. Шеф слушал внимательно и даже иногда вставлял свои замечания типа «это все крайне интересно, это крайне интересно, вы даже не представляете себе, я вас хочу изучать как тип». Наконец шеф дал согласие на встречу и выбрал довольно позднее время, девять часов вечера, и сказал, что с работы надо будет уйти порознь, а то смешно вместе на глазах у всех выходить в работы, потому что и в такое позднее время случаются всякие казусы.

Как и следовало ожидать и как бы и предсказал отец Веры, который ничего на сей раз не знал, Вера напрасно в течение полутора часов мерзла где-то в глубоком захолустье у трамвайной остановки на замощенной булыжником улице, очевидно известной шефу еще с его рабочей юности. Затем Верочка побежала бегом, чтобы согреться и освободиться от дрожи, и хорошо еще, что она назначила еще одно свидание, часом позже, со своим мальчиком-негром, и хорошо еще, что он терпеливо ждал, так что вечер прошел у Верочки ничего.

ОТЕЦ И МАТЬ

Речь о Тане, не знающей сомнений и колебаний, не ведающей того, что такое ночные страхи и ужас перед тем, что может свершиться. Где она теперь, в какой квартире с легкими занавесочками свила свое гнездо, так что дети окружают ее, и она, быстрая и легкая, успевает сделать все и даже более того?

Самое главное, в каком черном отчаянии вылезло на свет, выросло и воспиталось это сияние утра, эта девушка, подвижная, как умеют быть подвижными старшие дочери в многодетной семье, а именно в такой семье была старшей та самая Таня, о которой идет речь.

Младше ее были многочисленные девочки и самый последний, мальчик, которого мать так и носила у груди все самое последнее время своей супружеской жизни и бегала со своим сыном на руках вслед за мужем, направляющимся на службу, — бежала, чтобы не дать ему уйти на эту проклятую службу, где он только занимается сплошным развратом. Мать бегала за ним чуть ли не каждое утро, почти каждое утро ее брало отчаяние, что опять-таки она дает своему супругу возможность уйти из рук, уйти к ненавистному, свободному и легкому времяпрепровождению у себя на службе, и она бежала из последних сил с мальчиком на руках по улице, чтобы догнать мужа и свободной рукой хотя бы сорвать фуражку с головы у него, опрометью убегающего, — да, такие сцены были не в новинку для их улицы, сплошь заселенной военнослужащими. Мать Тани болела

острой ненавистью к своему мужу, ненавистью труженицы и страдательницы к трутню, к моту и предателю интересов семьи, хотя отец каждый вечер возвращался в лоно этой семьи и брал на руки очередного маленького, но мать и этот жест трактовала как уловку, как подлый финт провинившегося кобеля, и они чуть не раздирали маленького пополам — отец, чтобы не дать его взбешенной матери, а мать, чтобы не дать отцу повыставляться и поиграть в бесчестную игру, в отца семейства, при полном отсутствии к тому оснований. Могло показаться даже, что мать видит в своих детях только целый ряд вещественных доказательств своих усилий в жизни, своего нечеловеческого труда и своей неоспоримой, но ежечасно оспариваемой ценности перед лицом мужа-кобеля, который дрожит и трясется, как студень, каждый раз, когда она подымает голос, — из страха перед соседями, что они все узнают, но они все узнавали и так, она сама всем все везде рассказывала, и бабы ее утешали, называли Петровной и советовали сходить к замполиту, раз такое безобразие.

Отец, несмотря на это, все-таки как-то еще удерживался в семье, и трудно сказать, на каком основании этот человек пытался каждый вечер возвращаться домой в миролюбивом состоянии духа, со смущенным или деланно равнодушным или еще каким придется видом, каждый раз не его собственным, а каким-то наживным, приготовленным только что, а не с тем естественно мрачным и ненавидящим лицом, какого только и можно было ожидать от него в этой ситуации, — но нет, не в его силах было прийти озлобленным, он все примеривался, что бы лучше изобразить, возвращаясь каждый раз домой к одиннадцати часам. Он не хотел возвращаться домой раньше, никогда в жизни не хотел, и это было основой основ, и каждый раз с деланным тем или иным видом он являлся домой в одиннадцать часов и заставал дома каждый раз ту картину, что дети ни одни не спали, а жена в слезах сидела с маленьким на кровати. Если же отец пытался по собственной инициативе, в свойственной ему мягкой манере уложить девочек спать, то мать начинала вырывать у него детей и кричать, что никто пусть не спит, раз так, и все пусть смотрят на потасканного отца, который свеженький вылез из чьей-то постели с румянцем на щеках, который только что своим поганым ртищем, этой воронкой, целовал бог знает кого, а теперь лезет мокрыми губами к чистым девочкам, с которыми он тоже готов уже переспать, — и так далее.

Вместе с тем бедность в семье не поддавалась описанию, так как мать не работала и все делала спустя рукава, в ожидании одиннадцати, а затем двенадцати и позже часов, так что дети часто засыпали в ожидании главного момента, кульминационного пункта дня, и утром их невозможно было добудиться. Мать заходила все дальше и дальше в своем справедливом гневе, она вдруг могла встретить мужа у дверей офицерской столовой и начать бить его ногами, держа на руках маленького; мать словно бы протестовала против общепринятого мнения, что так с мужиком ничего не добьешься, а только его отпугнешь и отвратишь навеки, — мать словно бы бросала каждый раз вызов судьбе и окружающим, бросая детей голодными и уходя с мальчиком в окружающую поселок степь или крича самые страшные слова о том, что у Таньки был выкидыш от отца — в стене, в пазу, оказались окровавленные тряпки.

Неизвестно, правда, к чему стремилась Танькина мать, возможно, это была потребность разрушения того обмана, той ложной картины, которую пытался своим смягчающим видом и лживыми выражениями лица создать отец прежде всего у детей, ему прежде всего перед ними важно было создать картину якобы мирной семейной жизни. Мать как бы чувствовала себя в западне, окруженная всеобщим неуважением и брезгливостью, и чувствовала в то же время, что ее мужа все жалеют и стараются оградить, — так, например, когда она однажды подошла к магазину перед Восьмым марта, где, как она знала, ее муж покупал маленькие подарки ей и дочерям, — кто-то раньше ее пробрался в магазин, и мужа увели через служебные помещения, прежде чем она успела подойти сквозь толпу к прилавку.

Однако среди всего этого безобразия все-таки чуть ли не ежегодно рождались девочки, и мальчик, последыш, родился всего за полгода до того, как отец ушел из семьи. Как это происходило, следствием чего были эти супружеские соития, как подготавливались и на какой почве становились возможными их взаимные объятия — никто не знал, и не видела этого никогда и сама Танька, наиболее светлый разум в семье, зорко приглядывающаяся к матери и к отцу.

А мать с каждым шагом все глубже погружалась в позор, пытаясь опозорить своего мужа, и этому не было конца и края, поскольку муж упорно старался сохранить видимость семьи и не дать повода к выставлению его именно в том виде, в каком хотела его выставить жена, — но, наконец,

эти два упорных человека довели дело до таких границ, когда уже ничего не нужно и недорого по крайней мере одному партнеру, когда ему становится плевать на все, — и именно этот момент подстерегает более упорный, более настойчивый противник, который в ответ на жест равнодушия издает крик победы, столь же равнодушно встречаемый уходящим вдаль партнером, — он уходит вдаль, но крик победы силен и слышен в окрестностях, так что окрестности волей-неволей должны ответить эхом.

Итак, свершилось, и Танькин отец отбыл прочь из семьи да и из гарнизона: его перевели в другую часть, и это дело для него даром не прошло, так что отец имел в дальнейшем все основания больше и носу не показывать в свою многострадальную семью, а тихо должен был жить со своей какой-то там новой женщиной, про которую сообщили, что она простая и много проще Петровны.

Танька, впрочем, тоже недолго прожила в семье после ухода отца, а именно год, до своих семнадцати лет, когда ее заметил командировочный Виктор, электромонтажник. Виктор был намного старше и опытней Таньки и сразу понял, какое сокровище встретилось ему в поселковом клубе в лице этой легкой в обращении, зоркой девицы, и сразу взял дело в свои опытные двадцатичетырехлетние руки. Танька в тот же вечер на обратном пути из клуба согласилась уехать с ним и наутро уехала, несмотря на то что мать совершенно откровенно сказала, что не справится без нее и детям будет плохо. «Хватит, — будто бы сказала Танька, — с меня хватит», — и вильнула хвостом, и была в дальнейшем счастлива в жизни со своим цепким и знающим Виктором, и ничто ее не смущало: и что негде жить, а старуха хозяйка каждый раз в марте вешается, так что на март приезжает в отпуск ее сын и то и дело прячет веревки; и что есть одна ложка и две вилки, а нож перочинный, потому что у старухи в хозяйстве ничего нет, она питается круглый год одним кефиром. Все, все, что в дальнейшем ни встречала Танька, — все она принимала легко, со счастьем, всюду она семенила своей аккуратной походочкой, и никогда даже тень отчаяния и сомнения не посещала ее — никогда.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Он гладил своих подруг по голове, просил, чтобы и его погладили по голове, и снимал шапку. Дело обычно происходило на смотровой площадке у Ленинских гор, перед Московским университетом. Ниже, на том берегу реки, простиралась панорама Лужников, затем панорама Москвы с ее высотными домами. И происходило это у него с каждой, буквально с каждой: то ли наш герой не знал, куда еще приткнуться, кроме смотровой площадки, то ли действительно каждый раз, с каждой новой любовью в нем происходил душевный подъем и все просило простора, ветра, величественных панорам. Можно также думать, что это в нем еще не выветрилось провинциальное восхищение перед столицей, по-настоящему волнующее чувство, чувство победы над огромным городом, лежащим у ног и надежно стоящим на страже со стороны спины — в виде гигантской стены университета.

В это чувство победы над городом входило как составная часть чувство многочисленных маленьких побед над жителями и жительницами города — во всяком случае, должно было входить. Мы здесь заранее ничего не поймем, даже если добавим к вышесказанному, что эти победы были в какой-то степени нежеланными победами и победитель сам, видимо, в глубине души жаждал быть побежденным. Однако каждый раз побеждал именно он. Что происходило в этот каждый раз, что происходило с ним и с побеждаемыми им людьми — женщинами, старухами, стариками, сослуживцами, начальниками, попутчиками, почему они все столь охотно шли на то, чтобы их победили, почему не сопротивлялись и отдавались каждый раз с видимым чувством полной сдачи, поражения и испытывали ли они при этом ощущение того, что это временное, только на сей раз, поражение и надо только махнуть рукой, а дальше уже завертится обыкновенная жизнь безо всех этих ужасов, — трудно сказать и трудно во все это проникнуть. Несомненно одно: он сам жаждал быть побежденным и сам готовил поле своего сражения, по всей видимости готовил, ибо поступал небрежно, грубо работал, спустя рукава все строил, все свои построения, все всё насквозь видели, он же шел на все в открытую, словно бы для него не было препятствий, словно не это для него было главным — то дело, которому он на данном отдельно взятом этапе отдавал свои силы, — а глав-

ной была какая-то мысль, которую он на все лады обсасывал и вроде бы проверял: как будет, если так? И как будет, если такой вопрос задать и так-то позвонить кому нужно, и так-то говорить или иначе говорить (все думая не о деле, а словно бы о какой-то одному ему видимой задаче).

Отсюда, видимо, и исходил тот его вечный вид занятости не тем, чем он в данную минуту занимался, — как если бы он занимался не этим, а чем-то другим и озабочен был тоже чем-то другим, главным, хотя — может даже показаться — ничего за всем этим не стояло такого, о чем можно бы было заботиться. Но озабоченность эта присутствовала, он словно бы торопил сиюминутные события, чтобы они поскорей прошли и дали бы место другому — но чему?

Так, от победы к победе, и шел он, от звонка к другому звонку — и все это наспех, второпях, все не забывая о своей главной какой-то задаче: а внешне все выглядело так, что можно было подумать, например, что он хваткий победитель, занимающий одну позицию за другой, и вот он повел очередную подругу к университету.

А действительно, если вдуматься, куда еще мог повести свою очередную избранницу этот Андрей, если душа его, по всей видимости, просила чего-то глубоко индивидуального и своего и находилась на подступах к высшему счастью? Не в ресторан же, в самом деле, который во многих случаях играет роль платы, взятки, барашка в бумажке за имеющее быть физическое наслаждение — так что некоторые девушки отказываются идти с малознакомыми людьми в ресторан, зная, что затраченные деньги так просто не затрачиваются и что это предполагает, как само собой разумеющееся, ответ и расплату, — а если не отвечать и не расплачиваться, то это будет расценено как мелкое жульничество: попила, поела, музыкой насладилась, поглазела, на нее поглазели, опять ела и пила без протеста, безропотно и с видимым удовольствием, а потом смылась, не заплатив? Сама же девушка чувствует тонкую создавшуюся атмосферу, при которой все мелкие уступки в виде поцелуйчиков в такси выглядят еще большим обманом, еще большим свинством — все равно как если бы она еще больше напила и наела, еще на большую сумму, — вот как об этом думают взрослые, умудренные опытом люди, а Андрей был взрослым человеком, и такая точка зрения могла быть ему знакома, но, видимо, она была им оставлена на какой-то более ранней стадии развития.

Ибо этот вариант с ресторанным завлеканием предпола-

гал как само собой разумеющееся то, что без ресторана может ничего и не получиться, а Андрей, как уже было сказано, во всех случаях шел напролом. И если он и водил своих подруг на смотровую площадку, то только ради себя, ради нежности, ради высокого парения души, или у него выработалась уже некая традиция, дорогая сердцу, закрепилось однажды полученное счастье. Ведь если вдуматься, действительно на смотровой площадке тишина, тонко дует ветер, снежок летит над черным льдом, и огоньки внизу, в городе, горят так приветливо, помаргивая. И тишина, никого нет, вряд ли найдутся другие любители именно такого вечернего городского пейзажа, некоторые могли бы сказать, что там берет свое подавляющая, колоссальная архитектурная идея, нечеловеческий взлет желаний, рядом с которым даже пирамида Хеопса, как ее представляют обычно люди, не видавшие ее, выглядит домашней и нестрашной, просто уходящей вверх соразмерной горкой.

Так что на смотровой площадке никого нет, город лежит у ног, мирно помаргивая, весь в распоряжении, везде ждут в гости, все открыто завоевателю, а он, уже не мародерствуя, может производить погрузку города полными вагонами — и все в себя, все в себя, так это внешне выглядит. Смотрите, постепенно не то чтобы город уходит в него, нет, это Андрей надвигает все дальше себя на город, поглощение идет само собой, а разум свободен, а стремление к счастью уже не удовлетворяется простым актом пожирания все новых улиц и переулочков, лакомых кусочков вокруг Кропоткинской. Стремление к счастью становится выше на ступень, оно требует не только просто жить тут и побеждать одно за другим, побеждать противников, соперников, вякающих, ошибающихся, высоко стоящих и ниже стоящих, и братьев, и друзей, и девушек, и зрелых женщин, грудь которых превышает, например, все возможные пределы и волнуется, и в тебе все волнуется при мысли, что эта зрелая матрона, мать детей и жена большого человека, она, правящая своей машиной, она, которая ездит на приемы в болгарское посольство и окружена целым миром удобств и все хлопочет над этими удобствами, — она покорно идет, куда ее даже и не просили идти, и внезапно расстегивает шубу — и, о Бог ты мой! Но опять-таки все это чисто внешнее, все, что было выше приписано Андрею в виде якобы его собственного косвенно звучащего монолога, ибо сам он такого монолога произнести никогда и не подумал бы, сам он думал совсем иначе, памятуя о какой-то своей главной идее,

а просто так выходило, что он поступал таким-то и таким-то образом, что и приводило всех к мысли о том, что именно так Андрей должен мыслить, если уж он поступает так-то и так-то. Раз так — то так, думали за Андрея окружающие, а что он сам думал, нам неизвестно.

Возвращаясь к косвенному, произносимому за Андрея монологу, продолжим мысль: да, стремление к счастью этим не ограничивается, и матрона с ее непередаваемо крупной грудью, с ее страхом и жаждой, с наивным сознанием ценности своей груди, которую она этим обесценивает вконец, — эта матрона отплывает вовнутрь, поглощенная Андреем вместе с ее пятикомнатной квартирой, мужем, заядлым автомобилистом, членом клуба автолюбителей, детьми, из которых особенно младшая девочка, чуть не Лолита пяти лет, полюбила гостя Андрея и сразу идет к нему на руки, на колени, под общий смех: «Андрей, покоритель женщин!» — а девочка плотно сидит и рассеянно смотрит по сторонам. И она, эта удивительная девочка, тоже проглочена и отплывает вовнутрь, этот дом мерцает там где-то внутри уже, оттуда слабо горят его приветные окна, там широкие кресла, тепло и уют, вкусная еда, разве что хозяйка слишком прямо сидит и с прямой спиной ходит и перегибается слишком, опять-таки держа в поле зрения бюст, свой оплот, непреходящую ценность. А матрона уже не матрона, ее зовут Соня, она уже прояснилась как нелюбимая жена, как жена, с которой муж спокойно не живет вот уже много лет, этот спокойный автомобилист как-то иначе устраивается, и есть подозрения, что он как-то нехорошо устраивается, какие-то там у него младшие научные сотрудники, его ученики, его последователи, последователи этого примитивно-веселого, спокойного в быту, дурацки полного своей машиной и кооперативным гаражом хмыря. О господи, зачем этот мир так устроен, что ничего в нем нет от литературы, от одного прочтения, одной точки зрения — а все может быть прочтено еще глубже, и еще большие могут разверзнуться пучины, и, погружаясь в эти пучины, ища самое дно, самую истину, человек много чего теряет по пути, оставляет без внимания истины не хуже той, какая ждет его на дне, но именно до конца хочет все знать человек, а потом хохочет и говорит (как в нашем случае Андрей), что мир населен педерастами и онанистами, а женщины все либо проститутки, онанистки и лесбиянки, либо старые девы. «А как же Соня?» — спросили у Андрея машинистки, перед которыми он держал свою речь, а Соня и была

матрона, напомним, но Андрей лукаво ничего не ответил машинисткам.

Кстати говоря, сколько истинной желчи звучало в голосе Андрея, когда он произносил свою эту циничную поговорку, начинающуюся со слов «мир населен», — и, стало быть, еще не совсем только о себе думал Андрей, не совсем и исключительно только о своей внутренней теме пекся и заботился он, — если он предъявлял миру горькие претензии по поводу грязи мира, в котором все запуталось и нет чести, но, с другой стороны, и нет естественности, все подавлено, запугано и прячется и проявления мужественности и женственности редки и вызывают общее любопытство, граничащее с негодованием, и куда деться бедному человеку? Действительно, либо кастрат, духовный человек, либо что-нибудь из того набора определений, который приведен выше и который звучал так оскорбительно для ушей машинисток (отметим, что бедные машинистки, на головы которых была обрушена речь Андрея, своим намеком на Соню пытались дать понять Андрею, что существует, существует что-то еще другое, но Андрей ведь лукаво промолчал).

Стало быть, все в мире подавлено, и сам Андрей, нормальнейший человек, без отклонений (иначе откуда обвинительные речи в адрес всяческих отклонений, откуда это стремление бичевать и поносить и вся эта гамма чувств — от смеха и презрения до ошеломленности обманутой души и грусти и печали), — стало быть, Андрей, мужчина, каких мало, вечно ходит как бы отравленный своей репутацией, когда молва опережает его появление и девушки млеют, не в силах сопротивляться уготованной им на ближайшую неделю судьбе, ибо больше недели Андрей всего этого не выносит и с нетерпением рвет. И от всего этого даже самое начало, весь ритуал со смотровой площадкой и стоянием над городом, теряет в своей торжественности и нежности.

А все же сначала Андрей ничего не может с собой поделать, новая привязанность делает его мягче и добрей, вселяет в него надежду бог знает на что, но этому верить нельзя, этому светлому периоду, ибо очень быстро он сменяется периодом скуки и затем загнанности и тоски. Однако наш Андрей, снимая шапку и серьезно говоря: «Погладь меня по голове», отважно не принимал во внимание того, что неизбежно должно было обрушиться на него следом за глаженьем головы, следом за одной только неделей, — а чаще всего бывало, что и недели не проходило, а неприят-

ности начинались сразу же. Сразу же, имеется в виду, за первым визитом к нему дамы; сразу же после того, как Андрей, сделав движение всем телом и осторожно отъединившись от пребывающей в положении лежа партнерши, спрашивал: «Вы поедете домой или останетесь?»

Эти неприятности включали в себя и неизбежное замечание, что он слишком делово выполняет свои мужские обязанности, а что значит делово? Бог его знает, тут возможны всякие толкования, вплоть до того толкования, что Андрей мог воспринимать свои действия как чистую трату времени, трату энергии, возмутительную благотворительность, как трату себя на кого-то — в то время как (вообразим себе и такой вариант) главная задача стоит и не движется, не развивается, вообще все замерло, ничего не происходит, как бы жизнь насильственно остановлена, — а у своей партнерши Андрей мог подозревать единственно жадность и желание проехаться за чужой счет, использовать чужую энергию в личных корыстных целях. Отсюда, видимо, и проистекала та экономичность и отсутствие душевных движений, та сдержанность, которая стала общеизвестным фактом и является документальной опорой данного повествования, — а дамы принимали эту экономичность за спешку и деловой подход.

Да он и сам горевал (это тоже установленный факт), что не удается ухватить птицу-счастье за хвост, не удается забыться, нечем бывает крыть, как говорится. Он сам признавал каждый раз свое поражение и говаривал в таких случаях: «Можешь считать меня подонком, но мы больше встречаться не будем».

А ведь все каждый раз предполагало быть сделанным самым наилучшим образом. К примеру, Таня («Вы поедете домой или останетесь?» — вот та самая Таня, которая должна была выслушать этот жесткий вопрос) — Таня так была недосягаемо прелестна и мила, чудачка, обожаемая мальчиками, детски безгрешная, никак не подлежащая еще никакой классификации (подлежащая ей, разумеется, но пока туманно, полусознательно). Таня, не идущая в руки, вдруг сама пошла в руки, позвонила и сказала, что раз он заболел, то она приедет сейчас с курицей. Разумеется, разночтений тут быть не могло. Курица бежала петуху навстречу, такая вот создалась противоестественная ситуация! Андрей открыл дверь Тане, Таня была панибратски неловка, с повадками старого дружка, но трясущегося от холода, поэтому сразу накинувшегося на чай и дрожащего

над стаканом и под пледом, — а эта дрожь так была понятна и не нова, и она не прошла и тогда, когда Таня была устроена с ногами на диване и слушала в уюте музыку, модную поп-оперу, дорогую пластинку, укрытая его пледом, в его доме, под звуки его пластинки, грызущая его орехи, которые он сам себе принес, — и еще ждала, замирая, удовольствий — за какие-то такие свои заслуги ждала оплаты! И он начал проделывать все необходимые действия, все проделал, а его колотил озноб, температура колотила, и было совсем не до того, в то время как Тане как раз было до того, и так все и шло. И было вот что несоответственно: Андрей, в самый характер которого входило резкое отрицание долга перед кем бы то ни было, вместе с тем не уклонился от исполнения этого долга на первый раз, — так и быть.

И так все и шло, повторяем: с одной стороны Таня с ее растущим жаром, с другой стороны Андрей с его растущим жаром совсем другого порядка, так что он чуть ли не пульс себе спохватился мерить в один из торжественных моментов и даже одну руку освободил и взялся ею за запястье другой, а Таня это восприняла как новый нюанс и чуть ли не извращение и силой оторвала его вторую руку от первой, сказав: «Ну зачем?»

Чего они от него все хотели, чем он должен был услужить им и миру, чего недоставало этому миру, если мир так нуждался в нем, — вот вопрос, который неизменно должен был возникать всякий раз, когда Андрей в очередной раз отказывался вкладывать в несение своей миссии что-либо, кроме деловитости, — он явно отказывался вкладывать в дело всего себя, отказывался тратить, расходовать себя — ведь что-то еще предстояло ему впереди, что-то важное, решение чего-то, — и отсюда вывод, что он проделывал требуемое просто и экономно, сознавая, что никто вместо него этого не проделает и что он нужен. Только единственного он не мог, как мы догадываемся, поставить жаждущему миру — эмоций. Ибо единственные эмоции, которые его, как можно было подумать, согревали по-настоящему, — больше подумать не на что — были эмоции, испытываемые им при тонком свисте ветра на смотровой площадке, в виду освещенного, лежащего внизу города, с громадой университета, возвышающейся надо всем, — и если говорить, соразмеряя масштабы, то только тут для Андрея овладение женщиной имело бы какой-то смысл и освященность, при том условии, однако (добавим от себя), что Андрей вырос бы до гигантских размеров, чтобы не мельтешить

где-то под балюстрадой смотровой площадки, а возвышаться и все заполнять собой, — и уж тут не женщина была бы кстати, а все тело города, весь его гигантский организм, неподвластная его в целом душа и сокровенные переулочки Кропоткинской с барскими усадьбами, особняками посольств, с девочками, прогуливающими собак, с магазинами и невообразимыми, ласковыми и великими старухами, которые в кружевах цвета чайной розочки, в обвислых юбках и в слегка перекрученных чулках идут и несут эфемерные авоськи с булочкой и сырком к чаю, а что дома у этих старух, какие тарелочки Гарднера на столе, какое полотно в салфеточных кольцах, какие серебряные щипцы и сахарнички — и какая жизнь!

Какая там жизнь, размеренная, тощая жизнь, полсырка к обеду, полсырка к следующему завтраку, а раз в месяц приходит племянница с мужем и некая никому не известная Александра, в том числе не известная и нам, а на стене портрет хозяйки работы Серова... Что еще: коллекция кукол покойного брата, акварели Нестерова, мебель — обивку мама меняла в девятьсот четвертом году.

О! Все это можно было присвоить, старуху можно было присвоить и поглотить, так что она и дня не прожила бы без нашего телефонного звонка, племянницу и неизвестную Александру поглотить не представило бы особого труда, наконец, мебель бы можно было поглотить и присвоить, однако же что-то удерживало от этого, отводило руку, ибо, присвоенная, старуха стала бы единичной, отдельно взятой старухой, требующей того и сего, лекарств и бесед, и серебряная сахарница, перекочевавшая на наш стол, значила бы неизмеримо меньше, чем неприсвоенная, не потерявшая гордости на столе у старухи при ежемесячных чаепитиях, когда сидит неведомая Александра, когда племянница, некрасивая полная особа с серебряной брошью и слезой в глазу, сидит и ест свое же, с собой принесенное печенье. Эта племянница имеет массу удивительнейших свойств, в числе которых можно назвать непостижимую, пунктуальную верность старухе в деле ежемесячных посещений ее, в деле безропотного, без любви, порядочного и честного высиживания за столом и в деле таких же нудных дел с многочисленными другими тетками и дядьками, и апофеоз всего этого — день рождения самой племянницы, когда вся гурьба собирается раз в год и пересчитывает свои ряды и преподносит драгоценнейшие подарки в виде гемм, камней, серег (сапфир в бантике, платина, инкрустированная бриллиан-

тами). Самое главное, что племянница таковые же делает подарки своим племянницам и крестникам на дни рождения и на свадьбы и что она не корысти ради ходит к старухе, и не из любви, и не из соображений получить всю антикварную рухлядь и Серова, — у племянницы самой такая же рухлядь, некуда девать, и отсюда и удивляются сведущие, хапкие люди, натыкаясь в дешевой комиссионке на Н-ском рынке на кресла бидермейер и павловский ампир и тому подобные ценности, безо всякого ума сюда привезенные, как на помойку или на свалку, — а ведь другие люди за этим именно охотятся, ведь такую мебель пасут, пасут годами, ожидая продажи, смерти или черной минуты владельца, пасут, замирая от предвкушения привезти предмет домой, ошкурить, реставрировать, покрыть пастой «Эдельвакс» — и что дальше? Дальше опять получается закавыка с обладанием, поскольку отдельно взятый благородный предмет вкупе с другими благороднейшими предметами образуют в лучшем случае коллекцию мебели, но кто ее в наше время коллекционирует? Кто ее соберется коллекционировать напоказ, с экскурсиями, указкой? А без экскурсии и без указки мало кого соберешь, во всяком случае, никакая мебель не повлечет за собой регулярных нудных чаепитий, не повлечет за собой верности и преданности, обеспеченной с обеих сторон соблюдением традиций.

В лучшем случае вы обеспечите разовое посещение и разовое восхищение. Известны, впрочем, случаи, когда полностью обставленные, оборудованные и подготовленные квартиры только отпугивали гостя, и уже, конечно, никаких традиций не завязывалось вокруг мебели, а оставались старые, домебельные традиции: старые свары с родней, нежелание принимать иногородних гостей, необходимая традиция с хождением в прачечную и приготовлением варенья на зиму — и надо сказать, что Андрей сам по себе, оставаясь приветливым и покорным наблюдателем воскресных чаепитий, сам по себе был болезненно лишен традиций, чурался традиций, белье отдавал в прачечную не в определенный день, а спал на нем до победы, и визитов родни не терпел, о матери не заикался, мать его жила в деревне, и вся родня была оставлена, покинута и заброшена им в деревне, и вообразить то, что именно с этой родней могут быть устроены традиционные чаепития с салфетками и со щипчиками в пузатой, с медальонами, сахарнице! — это вообразить было невозможно. Такая родня нуждалась скорей в бочке соленых огурцов и в раскладушках.

Правда, у Андрея были привязанности — и уже упомянутая величественная смотровая площадка, и другая привязанность, к одной семье, где была у него так называемая мама: как говорил Андрей, «мама моего друга и моя названая мама и мой названый отец», и Андрей иногда им звонил по междугородной — видно, там была такая же жизнь с традициями, как у старухи с улицы Щукина, и можно предполагать, какой там был порядок, тепло и уют, даже можно предположить театральные билеты, стоящие для напоминания на виду, за стеклом книжного шкафа, и можно предположить также многочисленных гостей, вплоть до гостей из деревни, которых никто не чурается и для которых всегда есть в запасе раскладушки, — а зато как весел может быть общий стол с холодцом, с вареньем, грибочками, салом, окороком! И как никому не мешает хозяин дома, который по вторникам, предположим, гладит свои белые сорочки на обеденном столе, не доверяя это мужское дело своей жене! Да что говорить, каждому был бы мил такой дом, и описанный выше дом был когда-то мил автору, отсюда и знание именно такой обстановки, в которой потрясают прежде всего эти заготовленные впрок театральные билеты, пачечкой стоящие за стеклом. Но этого дома уже не существует, хозяин варит себе отдельно, хозяйка ведет свое хозяйство для себя и для сына и лечит бесконечные экземы, а дочь вообще сбежала в кооперативную квартиру и, видимо, устроила себе походную одинокую жизнь без намека даже на театральные билеты, ибо театральные билеты требуют большой работы, слишком большого внимания к себе и любви, а душа ищет покоя прежде всего.

Мы несколько отвлеклись от нашей основной темы, но это отступление будет нам полезно впрок, для той части нашего повествования, где речь пойдет о длинной, прекрасной, юной Артемиде, дочери профессора-матери и отчима-доцента, дочери, возрастающей в одиночестве и заброшенности в трехкомнатной квартире, где (вообразим себе) мать запрется в одной комнате, отчим читает гранки в другой, а Артемида собственноручно шьет себе платье (скроенное матерью, мать понимает в этом деле, она профессор во всем), — Артемида, стало быть, шьет его в третьей комнате, и в этой комнате ей неудобно, потому что эта комната общая, гостиная, там телевизор, и все туда пхаются, заразы, — тоже милая, нежная, смешная картина чужого дома, в которую как составная часть входит словечко «заразы» — точно так же, как в картину ранее описанного милого дома

входило как аттракцион то, что там дочь тоже любила разные словечки. Известно, чем это дело кончилось, — и посмотрим далее, как же развернутся у нас события с этим, вторым милым Андрюше домом, а они развернутся довольно странно и обидно. Но это дальше, а пока заметим в связи с тем, что нам еще предстоит услышать об Артемиде и ее доме: тут речь также пойдет о патриархальных устремлениях Андрея, о его тяге к традициям, о тоске по порядочности, именно по порядочности и верности долгу; о тяге ко всему, что не создается нарочно, не возникает сию минуту, а как бы просто живет, набирая с годами прочности, длится, не умирая, живет само собой, как внешний вид города, который мы застали готовым и верим ему тем больше, чем раньше он был создан, только бы он создавался не на наших глазах, — и вот его-то мы и будем впивать, вдыхать всю эту как бы и не рукотворную красоту, а совершенно не будем впивать и вдыхать ничего только что, нарочно, организованного. Вот в юной Артемиде и чувствовалась добрая кровь, замешенная на долгой, стойкой родительской любви, то есть вообще чувствовалась некая стойкость, которая всегда была предметом вожделения Андрюши, и здесь, видимо, вступала в свои права его внутренняя Тема, жаждавшая общения (и борьбы) с чужой внутренней Темой — так можно предположить.

И тогда, когда речь зайдет о юной Артемиде, об одном из крахов Андрея, мы и поговорим о его тяге к чужой патриархальности, а пока что речь у нас зайдет о Лидке — проворной, легкой, нежной, некрасивой, стройной, с жидкими волосами, о Лидке, всегда летящей, как парусник, то есть желудком вперед, о Лидке, пламенной и участливой, кроткой и незлобивой... О Лидке, у которой столько было обожателей и был краснолицый муж, которому она была верна, хоть и ругалась с ним своим беззлобным голосом, когда он в очередной раз заявлял ей, что должен жениться где-то там, потому что там будет ребенок, — а у Лидки своих детей было двое.

Лишение кого-то его гордости, то, чего не хотел допускать Андрей по отношению к привязчивой старухе с улицы Щукина, то, что могло бы быть выполнено легко, однако не давало ничего, кроме лишних хлопот, — этого ведь именно и не хотел допускать, по всей видимости, Андрей и во всех своих взаимоотношениях с женщинами, девушками и юной Артемидой, которая была как бы особенной, охотно ругалась нехорошими словами, одевалась непередаваемо изящ-

но и только в то, что шила сама, — а не шила она разве что сапог, — и состояла в связи с художником-миллионером, чтобы не зависеть от своей безалаберной профессорши, у которой деньги текли как вода и в основном уходили на других двух замужних дочерей. А что касается юной Артемиды, то ей не много было нужно, и ее художник дарил ей вещи только большой ценности, а также любил ее и звонил ей на службу и заезжал за ней после работы на своем синем «мерседесе».

Андрей, стало быть, не терпел предметов, лишенных самоценности, — предметы же, снабженные этим качеством, он старался освоить. Но в освоении, видимо, он не мог удержаться на определенной грани, и предметы сламывались. Так, к примеру, повредил он всю мебель (ставя на нее чайник) в квартире у сослуживца, уезжавшего на два года в Африку и оставившего прежде всего цветы, альпийские фиалки, на попечение Андрея. Цветы, как зависимые и слабые созданья, были покинуты Андреем в первую же командировку, и только алоэ, столетнее растение, способно оказалось перенести все бури сожительства с Андреем, все эти наводнения при его наездах и засуху, длящуюся по полтора месяца. В этот период алоэ словно бы подбирало когти, сокращалось, скрючивало листья и начинало мягчеть, что означало у него признак гибели. Однако Андрей возвращался и выливал в алоэ чайник воды из-под крана, которая (вода) давно, несмотря на свою ядовитость, стала природным условием существования алоэ, его естественной средой, так что это стало хлорированное алоэ и антикоррозийное алоэ, никогда не могущее уже подвергнуться ржавению, вроде водопроводной трубы. А то, что хозяйка дома когда-то давала воде из-под крана отстаиваться сутками — это уже было забыто горемычным алоэ, которое росло теперь только в длину и торчало в горшке на манер осинового кола. Алоэ в какой-то степени показало, во что может превратиться существо, зависящее от Андрея, но жизнестойкое само по себе, то есть вынужденное долго, в нашем случае хоть сто лет, терпеть. Алоэ, можно сказать, жило вроде бы и стоя, но на коленях, и расходовало воду со старческой скупостью, как расходовала, видимо, свою пенсию мать Андрея в деревне, живущая на картошке, капусте и грибах.

Заканчивая затянувшееся вступление к рассказу о Лидке, мы не можем еще не добавить, что у людей такой породы, как Андрей, ничего не могло держаться в руках, ни кот,

ни собака, ни родительская могила, ни тем более альпийские фиалки, за которыми нужен глаз да глаз, и притом регулярно. Посему хозяин квартиры, приехав в отпуск через год, пришел в горестное изумление при виде обоев, сухих горшков, мебели, алоэ, похожего на фаллический символ, и пола в прихожей. Посему Андрей, пожав плечами, нашел себе другое жилье, а хозяин квартиры три дня возил грязь и то должен был дать отчет приехавшей супруге, почему ободрана полировка на мебели и все так кругами, кругами.

Андрей, надо сказать, был человек без квартиры, прописанный в общежитии, жизни в котором органически не принимал. Он десятки раз мог жениться и получить жилье готовым или построить кооператив, но не делал этого, не женился, поскольку — можно догадываться — считал жертву со своей стороны гораздо более значительной, не мог потерять своей свободы, не мог взять без того, чтобы тут же все не испакостить и не нарушить, а человек он был комфортный и любил удобства, любил, как мы уже говорили, выспаться как следует и поставить чайник куда придется. И вспомним алоэ, из стройного кустика превратившееся в узловатый фаллический символ, с легкими только намеками на листья, и представим себе, как это нелегко человеку — все время чувствовать свое разрушающее, гибельное влияние. Кому охота быть деспотом, кому хочется выслушивать справедливые упреки в аморальности — ну и не лезьте же ко мне и не напарывайтесь на мою аморальность, я один проживу и пойду дальше, там меня ждет все-таки кое-что, — это или примерно это мог думать Андрей при взгляде на ту палку с утолщениями, которая у него выросла в горшке, и снова и снова он слепо верил в счастье, как в тот первый и единственный раз, когда он женился, однако же наутро ушел от жены и больше ее не видел, хотя доходили вести, что она все еще его любит и верно ждет, как мать.

Но мы отвлеклись от темы, которую довольно неуклюже обозначили как «лишение кого-то его гордости», хотя, как выяснилось, мы ее только развили, но на других примерах, а начинали мы с Лидки, существа мягкого и легкого на подъем и по весу, так что сослуживцы любили взять да и схватить Лидку на руки, а она сердилась и говорила «кобель несытый», поскольку была женщиной серьезной.

Когда-то она бегала на коньках: спорт оставляет отпечаток прежде всего на способе передвижения, гимнастки все ходят четко и пружинисто, на манер щелкающего маятни-

ка, а Лидка, стайер, передвигалась, как указка по карте, неуловимо покрывая расстояния и касаясь земли как бы только в отдельных точках. В связи с Лидкой даже не годится и сравнение с балериной, ибо как раз балерина-то ходит невоздушно, а что может сравниться с легкостью, с порханием кончика указки?

Так Лидка и парила, все делала страшно быстро и ловко, дома у нее все сверкало, и соседи по квартире отдавали под Лидкиных гостей свою комнату, чтобы ее дети могли спокойно спать у себя, так что в торжественных случаях гости сидели на головах у соседей, Лидку просто обожающих, несмотря на разницу в возрасте. Муж Лидки, правда, был в вечной претензии по поводу популярности своей жены и отвечал ей бесконечными романами, причем не стеснялся приводить своих дам сердца прямо домой, по поводу чего Лидка переживала, конечно, но как-то легко. «А! — махала она рукой, порядочно, кстати, натруженной, рукой хозяйки и матери. — А! Пусть идет к чертовой матери!»

Но приезжали родители мужа из Литвы, и он становился в моральном смысле на колени, и вот в один из таких приездов Лидка взяла и поехала в отпуск, на две недели, — и как-то скоро, тайно и поспешно уехала, только все говорила: «Андрей странный человек». Тут, видимо, вступило в силу уже упомянутое обстоятельство — невозможность определить, чем заняты мысли Андрея при тех или иных его действиях, которые он производил поспешно, однако как бы мимоходом, словно бы имея в виду какие-то другие, более важные свои дела, нечто в будущем, что еще должно было наступить. Отсюда и определение, данное Лидкой: «странный человек». От себя могу добавить, что ведь и поведение кота и собаки может выглядеть странным, и непонятно, что имеет в виду бегущая по улице собака, для чего она мимоходом забегает во двор и так же поспешно выбегает вон, или на какую тему она сидит посреди улицы, а что тема у нее есть, это точно, поскольку вид у нее именно такой, что она присела на минутку, а впереди важное дело, никому не ведомо какое, странное дело.

Существовал еще один Эдик, сотрудник того же отдела, который все переживал за Лидку и за других баб в отделе, отравленных Андреем. Это был Эдик, сам почти баба, из тех мужиков, которые замечают, у кого выглядывает комбинация или поехал чулок, — и этот Эдик, любивший Лидку как родная подруга и все кричавший: «Лидка, когда ты мне отдашься?» — он-то как раз ревниво ждал, что Андрей

положит на Лидку лапу. И, к несчастью, именно Эдику Лидка, как родной подруге, твердила, в спешке приводя в порядок свои рабочие дела перед отпуском: «Андрей странный человек, Андрей странный человек».

А Андрей — вот такое совпадение — ехал в этот же момент в командировку в ту же сторону, и Лидка, вот что странно, даже билета не покупала, уезжая в свой заповедник. «Билет купила?» — спрашивал подруга Эдик. «Я не купила, мне купили», — таинственно отвечала Лидка, человек вообще с тайной и недоговоренностью. «Лидка, — заклинал Эдик, — кто билет тебе купил?» — «Один странный человек», — задумчиво отвечала Лидка, быстренько складывая бумажки и скрепляя их скрепкой.

Теперь начинается та часть нашего повествования, которая не будет похожа на предыдущую, ибо дальше последует перечень фактических, реальных действий Андрея, его послужной список, если можно так выразиться. И если в первой части нашего произведения много места было отдано различным домыслам, догадкам и попыткам сделать выводы, то теперь настала пора заглянуть правде в глаза, увидеть, как реально протекала жизнь Андрея и какой ее со стороны видели сослуживцы. Поэтому во второй части возникнут разнообразные эпизодические персонажи, к которым надо будет присмотреться внимательней, ибо, как известно, человек — продукт среды, и все, что произойдет с Андреем под конец, все это будет результатом как раз воздействия среды.

Ну так вот, стало быть, они уехали — имеются в виду Лидка и Андрей, — и Эдик первым решил не обращать внимания на то, какими они приехали — загорелые, попухлевшие, оба просто красавцы, близнецы с одинаковой печатью на устах. Лидка, всеми любимая, выглядела еще более таинственно, чем всегда; ее грозный муж раза два встречал ее после работы и видимо тосковал, поскольку опять объявил о своем решении жениться, теперь уже объявил в присутствии родителей. Его избранница даже ходила домой к Лидке и таращила перед родителями и Лидкой свой едва двухнедельный живот (если считать с начала Лидкиного отпуска). Трудно сказать, что там было дальше, Лидка скромно молчала, а Эдик бесился и лез на рожон, что вот опять Андрей нагадил. «Где ты был, Андрюша, — спрашивал Эдик, — так загорел». — «А среди сосен, среди сосен в большом заповедном лесу», — непонятно зачем открывал карты Андрюша. (Вспомним в этой связи упомянутое в пер-

вой части стремление Андрея переть на рожон во всем, как бы испытывая судьбу.)

Дальше было так, что в ответ на требование Андрюши, как начальника (хоть и небольшого), срочно написать справку Эдик истерически сказал, что он устал, вкалывая за всех. «Я тоже устал и вкалывал и отпуска в этом году не имел», — ответил Андрюша, загораясь жаждой борьбы, и получил эту борьбу, а в борьбе он был несравненный противник, мощный логический аппарат, разве что только запускающийся без особой охоты, как бы по принуждению входя в азарт, как бы нехотя, медля.

Интересна в этой связи история (сделаем небольшое отступление) о том, каким путем он получил свое маленькое повышение, а было это непросто.

Прежний начальничек, Боря, запросился в отпуск за свой счет, и всем было известно, что он едет сниматься как аквалангист в фильме и получит уйму денег. Шеф, В. Д., по своей расхлябанности был готов пойти на подписание заявления, но тайно и гневно забастовал Андрюша, который должен был этот месяц работать за своего аквалангиста. Андрюша точно рассчитал соблазн, туманивший голову Бори (съемки должны были вестись в Болгарии), и то, что Борю без характеристики с места работы никуда не возьмут. Андрюша имел влияние на В. Д., который к тому же не любил всякого барства и аквалангизма, и почва была подогрета до вулканического тепла, поскольку за Борей водились всякие не к месту отъезды на соревнования, слеты, сборы и съемки аквалангистов. В. Д. кратко сказал Боре: пиши заявление о переводе на старшего инженера. Боря, припертый к стенке, написал и уехал. Андрюша сам стал начальником и получил в виде подарка неврастеника Эдика, больными глазами следящего за всеми проявлениями воли и власти своего прежнего коллеги. Кстати, при всем том в Андрюше опять-таки было заметно безоглядное стремление куда-то в даль, в иную сторону, при котором любой эпизод, даже эпизод с получением власти, выглядел случайным, ненужным, а нужным и неслучайным было что-то, еще имеющее быть впереди.

Следующим ходом в событиях должно было быть увольнение Эдика, и посмотрим, как оно произошло. Итак:

«Я тоже устал и отпуска в этом году не имел», — провокационно, хотя и без особого азарта, сказал Андрюша.

«Не имел», — сказал Эдик, цепенея.

«Нет», — подначил Эдика Андрюша.

«А кто был в заповедничке сейчас? — спросил, потеряв голову от бешенства, Эдик. — Кто с кем загорал?» — забыв о Лидке, о бедной Лидке, муж которой в это время только и сторожил, чтобы опереться на факты в своем поединке с родителями.

«За клевету — ответишь», — сказал Андрюша, и назавтра вся группа собралась, собранная В. Д., и обсуждала ЧП в узком семейном кругу, обсуждала случай клеветы и морального падения, а также опозданий Эдика. Особенно сатанел В. Д., поскольку он не любил Эдика за опоздания, за дружбу с вахтершей, которая не записывала Эдика как опоздавшего, но предупреждала его, чтобы он не попадался в другую смену, где вахтерша была не то чтобы злая, но обиженная на Эдика за его дружбу с той сменой.

В таких сложных обстоятельствах Эдик извинился перед Андрюшей при всех (перед Лидкой не надо было извиняться, Лидкино имя тут дружно не упоминалось, речь шла об Андрюше, у которого командировочные документы были в идеальном порядке), причем видно было, что В. Д. рассвирепел, и больше всего, видимо, от непонятных себе чувств, от ощущения, что его заставили, вынудили быть пешкой в игре, — и неожиданным финалом было то, что у Эдика попросили заявление об уходе. «Или я, или он, но я подам за клевету в суд», — будто бы сказал Андрюша, прекрасно знавший, что суматошный Эдик святое имя Лидки не произнесет никогда. «Уходите к черту, Эдик», — сказал В. Д., и всю оставшуюся часть дня Эдик писал заявление и боялся посмотреть на Лидку, а та напустила на себя загадочный вид и стучала одним пальцем на машинке.

И Эдик исчез, растворился в дымке, а у Эдика была жена и сын и мама, и Эдика выгоняли уже со второй работы.

А Лидка, непостижимая женщина, никак не давалась в руки Андрею, о счастье! И все напускала на себя тайну, хотя всем было известно, что муж к ней вернулся, поскольку сведения о ребенке оказались там преждевременными, а родители проявили по отношению к пикирующей невесте жестокость и уехали, помирив супругов.

На первый взгляд может показаться, что история с Лидкой представила из себя образец того, давно вымечтанного, союза с независимой, не теряющей гордости женщиной. Однако дело кончилось ничем, поскольку Лидка не собиралась уходить от мужа, а Андрюша не собирался ее брать с двумя детьми неизвестно куда, это было ясно. Дорога Андрюшина, видимо, все-таки проходила не здесь, и что-то тут

не сработало, если все закончилось именно так, не позором, мукой и смертью, а просто так. Абсурдность их союза не усилила, не разожгла обоюдным огнем их чувства — они не метались и не плакали, что у них нет будущего, и даже были странным образом довольны, обманщики краснолицего мужа. Короче говоря, все сошло на тормозах, если не считать Эдика, который один пал жертвой и все звонил Лидке, и все ругал, чернил и поливал грязью Андрюшу, и все, бедный, неосведомленный, делал даром, поскольку это было уже неактуально. Тоже была смешная ситуация.

Однако Лидка, непобежденная, несломившаяся, быстрая, нежная и горячая, понимающая толк в жизни, осталась еще про запас и появится в самом конце нашего повествования — и с Эдиком мы тоже попрощаемся до финала, он ушел и хорошо сделал, поскольку у него была не только Лидка в подругах, у него были две обожаемые подруги в лаборатории — Лидка и Артемида, юная профессоршина дочка, настолько юное, гибкое и свежее существо, настолько лоза прибрежная и в то же время хулиганка, каких мало, и в то же время мастерица и мужественная девочка, которая в сапоге с гвоздем как-то проходила почти целый день и ходила в результате в крови, поскольку переобуться было не во что, а гвоздь не забивался; ну так вот Артемида, которая вечно опаздывала и прибегала на работу с заспанной розовой мордашкой, а в обед ела только один бутерброд, — Артемида эта работала в лаборатории машинисткой, но все знали, что просто она не поступила в университет после своей английской школы и что ей зарплата ее идет только на булавки, а мама и миллионер-художник стоят широкой стеной вокруг своей Артемиды, не давая пылинке на нее упасть. Мама сама ей все кроила, миллионер возил на машине, а ела она мало: так решите простую задачу, сколько она тратила на тряпки? Артемиду все любили как родную дочь, одна только ее сверстница, также работавшая в отделе, не выносила ее, ибо лучше других знала ее место в новой генерации, новом поколении, и всегда фыркала, когда Андрюша затевал разговор и с интересом слушал то, что отвечала ему Артемида. А сверстница ее, славная трудовая девушка из семьи простых интеллигентов, дружила с Андрюшей серьезно и без задних мыслей. Надо думать, что и у него их не было, поскольку очень уж часто он, в обход всех других дам, стал задевать Артемиду. «Пхх! — усмехалась ее сверстница. — Ну с кем ты разговариваешь? Ну

возьми вот шкаф дубовый, пустой, ну вот с ним и разговаривай».

А в лаборатории уже стало тесно и душно от этих двоих, Артемиды и Андрея, особенно когда он подходил к ее машинке диктовать — голос его срывался, это документальный факт. Она же печатала и так не шибко, а теперь, в присутствии Андрея, вообще то и дело слышалось ее тихое, свистящее: «У, зараза», — и ластик шаркал о бумагу.

И вдруг она перестала говорить со своим художником по телефону. И шмыгала после работы мимо его «мерседеса». А ему, толстенькому, бежать от раскрытой машины было не с руки, — он пока запирал, Артемида была уже в метро...

И наконец наступил такой момент, когда художник позвонил и попросил к телефону Андрюшу. Андрюша долго и нудно, почему-то в нос, толковал с разгоряченным художником, что здесь только желают добра Артемиде, поскольку она молода и вся жизнь ее впереди и не хочется, чтобы ее затаптывали в грязь («Уйди», — сказал Андрюша, и Артемида вышла), — это не вам, сказал Андрей в трубку и гнусаво, как дьявол, продолжал плести свою демагогическую сеть, хотя и без видимой охоты, а в заключение сказал, думая, что он один, ну хорошо, я человек посторонний, я только со стороны смотрю, ну берите ее, только берегите ее, она того стоит, — и поровший горячку художник лопотал, что он женится, женится, хотя как ему было жениться от живой жены и детей и еще от одной Оли? Но он женится, женится, и на этом договорились, а Андрей опустил трубку на рычаг. А за шкафами сидела, не таилась, а просто сидела на своем рабочем месте Аля, та самая сверстница, искренний друг Андрюши и без задних мыслей, и она вышла и яростно сказала: «Какая грязь, как пачкают тебя. Ты хорошо все ему говорил», — и вышла, а там, в коридоре, стояла прислонившись к стене, почти как девочка перед учительской, где идет педсовет, юная Артемида. Аля прошла мимо, не сказав ни слова. И спустя сколько-то минут вышел Андрюша с портфелем, ибо был конец рабочего дня и институт запирали, и они вдвоем с Артемидой пошли куда-то прочь, и завертелась эта их свистопляска; несколько раз на горизонте маячил толстый художник в окружении своих учеников — у него была мастерская, он брал заказы, а рисовала эта шарашка, которую он кормил и поил и давал на расходы. Ученики издали неопределенно пригрозили Андрюше, но поскольку это были в основном люди без прописки и выгнанные с работы, то на большее они не пошли и истаяли

как дым, оставаясь на своих местах. «Артемидка», — сказал один из них, из темноты.

Тут вполне уместно, кстати, проводить несколькими теплыми словами художника-миллионера, который на самом-то деле был не художником, а просто великим мастером организации, а также великим мастером угощения и любителем собрать народ и выпить, и который охотно делал дело и кормил не только пятерых учеников, но и жену с двумя детьми, затем Артемиду, а затем еще свою незабываемую любовь, одну аспирантку, и еще кое-кого временами, — и все это без спешки, с задумчивостью, бесцветно глядя из-за золотых очков, никогда не выходя из пределов, разве что выведенный из этих пределов Андрюшей, который отнять-то у него Артемиду отнял, а вот позаботиться о ней соответствующим образом не смог или не захотел, — короче говоря, Артемида по-прежнему ела на обед один бутерброд, тихо ругалась за машинкой, но ни балов, ни «мерседеса», ни итальянских костюмов она больше в глаза не видала. Артемида, скрытная особа, жила молчаливо, никогда не жаловалась, кровь в ее сапоге видела только Лидка, и то в туалете, где Артемида рассматривала свои потери в виде залитого кровью чулка (подарок миллионера, дорогой зверски, с рук). Кровь была потому, что хромать Артемида себе не разрешала и только ходила какая-то скучная, а железное остриe тем временем сидело в живом мясе, пока Лидка не сбегала за куском картона, — но такие ли еще муки бывают!

Бывают еще и не такие муки, и позже мы узнаем, какие гвозди впивались в нежное, податливое тело Артемиды, кроме всем видных гвоздей.

А всем видные гвозди выявились сразу же после майских праздников — в тот год благословенная погода стояла на дворе, и люди праздновали сначала сколько-то дней на май, а потом три дня на День Победы, а в середине оставалось всего несколько буден, и комфортные люди на эти одиннадцать дней устраивали себе каникулы и устремлялись к морю, на юг или на запад, и вокруг аэрофлотских касс все кипело.

Отбыл восвояси и Андрей, у него были отгулы, у него всегда было полно отгулов, поскольку он, как человек холостой и одинокий, отправляем был то на овощебазу в субботу, то на картошку осенью, то на сено в июле...

(Люди по-разному устраиваются со своим отдыхом — сделаем отступление от сюжета еще раз: одна женщина

двенадцатижды в год, то есть каждый божий месяц, ходит сдавать кровь — бесплатно, но за отгул, и к бессильной злобе своего начальннка уезжает каждую весну в Домбай кататься на горных лыжах, снречь на своей кровн, н сам черт ее не берет ни там, нн здесь, а кто-то должен за нее этн двенадцать дней вкалывать — ведь работа не стонт!)

Но Артемида, хнтрая какой-то детской слепой хнтростью, словчила так, что просто не явилась на работу те серединные несколько дней, и, приехав и явившнсь на работу в однн день с Андреем, равно с ним загорелая и свежая, она начала тихо врать, что была в Кневе н билет на самолет четвертого, пятого н шестого достать было невозможно. Так она н стояла на этой своей бесхнтростной верснн все время, пока ее таскали по отделам кадров н месткомам, а Андрей был в стороне, и все опять дружно молчалн, не желая вплетать в Артемиднн позорный венец еще н Андрюшу. Наконец В.Д., втайне симпатнзировавший Артемиде, плюнул и объявил ей выговор за опозданне на работу, н Андрей, надо с точностью это знать, не прнложил к этому добросердечному н благотворительному акту ни малейшего своего труда. Он отстраненно н как-то даже устало следил за развнтнем событнй. Он н сначала не очень-то прнветствовал поездку Артемнды совместно с ним н смирился с этим как с тем обстоятельством, что непорядочно будет ссаживать ее со своего самолета, некраснво и невежлнво. (Вспомннм ту характерную особенность Андрюшн, что на первый раз — так н быть — он позволял саднться себе на шею, но только на первый раз, словно бы для того, чтобы посмотреть, что будет.)

Затем, Андрей не очень поддержнвал уверенность Артемиды в том, что ей спокойно простят четыре дня прогула. Тонкость заключалась еще н в том, что Андрюша был непосредственным начальннчком Артемиды, н что это он пнсал проект приказа о выговоре с занесеннем, и нменно он визировал сфабрикованное заднным чнслом заявленне Артемиды об отпуске за свой счет на четыре дня. Можно было видеть, какнм ему это все представлялось протнвным и недостойным делом, вся эта фальснфнкацня н всеобщее сознание того, что именно он обязан все это почему-то делать. Но он, как всегда, совершнл все полагающнеся маннпуляции, н Артемида продолжала свое тихое, сдержанное существование за машннкой у окна, существование, прерываемое только кошачьнм шипеньем, негромким: «У, зараза», — н уже упоминавшимся шорохом ластика о бумагу.

Кстати сказать, те прогуленные Артемидой четыре дня за ее машинкой вынуждена была сидеть Аля, ненавидевшая всякое неравенство, а тем более неравенство в том плане, в котором она сама была не равна Артемиде с ее только что, в границах одного поколения, вылупившейся профессорской наследственностью, — сама Аля была интеллигенткой в пятом, не меньше, поколении. И не было в мире более аккуратно сработанных машинописных страниц, и не было в мире такого океана, который бы сравнился емкостью с океаном спокойного презрения, стоявшим в глазах Али.

Теперь мы уже близки к финалу, к тому моменту, когда спокойное и торжествующее презрение, переполнявшее все существо Али, вдруг заменилось резкой и безоговорочной, какой-то даже испуганной брезгливостью, отшатыванием и ужасом перед Артемидой, которая продолжала сидеть за машинкой у окна, спиной к свету и лицом к лаборатории, и только холмик «Рейнметалла», железный, серый холмик пишущей машинки, мог заслонить хоть какую-то часть существа Артемиды. Артемида нельзя сказать чтобы выглядела убитой, она только сидела скучная, и в этой связи вспомним гвоздь в сапоге, кровь и то, как в те поры Артемида ходила именно скучная, — но не хромая, нет!

Дело-то с Артемидой выяснилось неожиданно просто: Аля познакомилась — она была недурна собой — с неким парнишкой, который тоже был из их с Артемидой генерации, а проще говоря, был с ними с одного года и был, оказывается, в свое время одноклассником Артемиды, — так этот парнишка очень просто сообщил, что Артемида никакая не профессорская дочь, а дочь машинистки, и что кончали они не английскую школу с машинописью и стенографией, а обычную, заурядную, и что квартиру-то да, дали им в свое время, но не трехкомнатную, а двух-, и живет там, во второй за-проходной комнате, замужняя сестра с семейством, — вот так.

Вот так, так постыдно все оказалось, так нелепо, и Андрюша иногда даже закидывал голову и тряс ею, как бы не понимая, в каком мире он живет, а Артемида все сидела за своим оборонным валом, валиком, за крошечным бруствером, почти не закрытая, открытая всем гвоздям и пулям, — но что с ней можно было поделать, с этой врушкой! Как это говорится о мёртвом убийце: «Теперь что хочешь, наружи не оставишь». Так и с Артемидой, что теперь было с ней поделать? Сама она себя наказала, сама себя раба бьет, — и посмотрите, как долго она все это врала, сочиняла, как ела

свой жалкий бутерброд, якобы от того такой маленький, что желудок у нее еще в детстве уменьшался, уменьшался и уменьшился, и знаменитая мать не знала, что и поделать со своей тощей дочерью, — а на самом деле весь этот бутерброд исходил из соображений экономии!

И так на самом деле была нелепа и глупа эта ситуация, в которую она попала, что даже и места для жалости не могло остаться ни у кого в душе: чего здесь было жалеть, спрашивается? Здесь мог быть один только смех и недоумение, и все, и потрясание головой, как это имело место у Андрюши.

Однако жалость ходит своими неисповедимыми путями, как и любовь, и пожалеть кого-то, всей душой и отчаянно пожалеть — это, оказывается, дело случайное и нелогичное.

И неожиданно Андрюша был вынужден уйти с работы от этой истории подальше — не именно от этой истории с Артемидой, которой его строгая душа не смогла вынести, а просто от той странной истории, которая у него заварилась с В. Д. Что-то произошло с В. Д., ранее всегда считавшим Андрея единственной надеждой науки и относившимся к нему как строптивый, но бессильный перед своей любовью отец. И что бы могло заставить Андрея уйти с работы? Ведь не присутствие же грешной Артемиды тут же, под боком? Да, что-то случилось, и, видимо, в отделе вдруг создалась такая ситуация, при которой все перспективы для Андрея разом закрылись, поскольку В. Д. все старался смотреть поверх Андрюшиной головы, а Эдик все тревожно звонил Лидке, и она односложно ему отвечала, и было видно, что Эдик в курсе и ранен еще глубже, и что именно Лидка осветила ему всю гамму событий, так что Эдик задымился.

А В. Д., движимый неизвестно чем, вдруг стал на собрании орать на Артемиду, что она не чешется поступать в институт, тратит время черт знает на что, на тряпки.

Артемида, ничуть не обрадовавшись, пошла в отпуск для поступления в институт, на который ей указал В. Д. как на институт, где его помнят и где он что-то может. Но только Лидка знала, что Артемида никаких экзаменов не сдавала, а ходила лежать в больницу и вернулась через три дня скучная и осторожная, сказав всем, что получила двойку.

Андрюша же был в это время где-то за горизонтом, в новом с иголочки институте, и начинал новую жизнь с на-

деждой на повышение, квартиру и так далее, и все так и вышло.

Так что наше повествование кончается полной победой героя.

Некоторые скажут, что победитель-то победителем, но кого тут было побеждать — стариков, женщин и невротиков, что ли? Другое дело, что таковыми мы все являемся.

Опять же другое дело: что такое суть победы над нами? И не поддержать ли ту мысль, которая уже высказывалась в начале нашего повествования, — что любые победы суть явления временные, что жизнь такова, что она все изворачивается, все поднимается после ударов, все растет и пучится.

В частности, в один прекрасный рабочий день испуганная Лидка, вернемся к ней, позвонила Эдику и сообщила ему, что видела в городе Андрюшу и что Андрюша вроде бы сказал, что скоро обнародует ее, Лидку, — то есть, сказала Лидка, расскажет, наверное, все мужу, только зачем? В ответ на что далекий уже Эдик машинально ахнул, но уже без прежнего энтузиазма, как будто что-то соображал про себя, как будто в этот момент что-то отвлекало его, какие-то горькие мысли.

Но еще через неделю Лидка опять сама позвонила Эдику и сказала теперь, что все в порядке, она выясняла, это просто Андрюша решил стать писателем и описать ее, Лидку.

И вот тут Эдик стал долго и радостно хохотать, как в прежние времена, как если бы к нему вернулись все силы и он стал опять молод и здоров.

Однако шуткой-смехом, шуткой-смехом, как говорит одна незамужняя библиотекарша, шуткой-смехом, а все-таки болит сердце, все ноет оно, все хочет отмщения. За что, спрашивается, ведь трава растет, и жизнь неистребима вроде бы. Но истребима, истребима, вот в чем дело.

Реквиемы

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

С теченнем временн все его мечты могли нсполниться, н он мог бы соедннnться с любнмой женщиной, но путь его был долог и ни к чему не привел. Единственно, что сопровождало его весь этот долгий н бесплодный путь, была журнальная картинка с фотографией любимой женщины, причем только у него на работе некоторые были в курсе того, кто сфотографнрован там: ноги н ноги, и все, довольно пухлые, босые, в босоножках на высоких каблуках: она сама сразу признала себя, и сумочку свою, и подол своего платья, откуда она могла угадать, что фотографируют нменно ее ннжнюю половнну, фотограф выскочил на улице и щелкнул раз и другой, а опублнковали только юбку и ноги. Он, тот человек, о котором идет речь, держал эту фотографию у себя дома над столом на кнопках, н жена ни в чем ему не перечила, хотя была строгой женщиной и повелевала всем домом, даже матерью, а затем н детьмн, не говоря уже о дальних родственниках н своих ученнках. Однако, с другой стороны, она была добрая, хлебосольная, щедрая хозяйка, только что детям не давала спуску, и мать прн ней жила смнрно, лежала на койке, читала внучатам, пока могла, наслаждалась теплом, покоем, телевизором, да и потом смиренно и долго умирала, уже почтн неживая, но затем тихо убралась.

Он же, схоронив тещу, теперь терпеливо дожидался, пока умрет жена. Почему-то он знал, что она умрет н освободит его, н готовился к этому очень актнвно: вел здоровый спортнвный образ жизни, заннмался по утрам бегом, баловался даже гирями, ел все только по системе и при этом

успевал много работать и дослужился до завотделом, ездил по заграницам — и все ждал. Его избранница, хорошенькая пухлая блондинка, мечта каждого мужчины и чуть ли не Мэрилин Монро, работала у него прямо под боком и иногда выезжала вместе с ним в командировки, и там-то и начиналась настоящая жизнь: рестораны, гостиницы, прогулки и покупки, симпозиумы и экскурсии. Как он тосковал по ночам, вернувшись из рая в ад, в теплое, небогатое гнездо, где клубилась громоздкая, неповоротливая семейная жизнь, где болели, сходили с ума и бесновались дети, мешая сосредоточиться, и их надо было усмирять, и дело доходило до ремня, после чего отец чувствовал себя еще более униженным и оскорбленным; жена сама кричала на детей, жена не успевала ничего, еле поворачивалась, в доме, как полагается в каждом порядочном семействе, жили еще кошка и собака, и кошка хрипло вопила по ночам, когда приходило ее время, а маленькая собака лаяла на каждое пришествие лифта, и именно ночами отцу этой семьи приходилось особенно несладко: он лежал в своей постели и, погружаясь в тоскливые мечты, жаждал тепла, покоя, прелести, исходящих от его незаконной подруги в период командировок, — в остальное время блондинку тоже доставала жизнь, муж и свекровь буквально садились ей на шею, свекровь заставляла по субботам скрести всю квартиру вплоть до протирки кафеля в ванной аммиачным спиртом! Муж напивался и не пускал бедную на служебные вечеринки, на дни рождения и т. п., всегда скандалил перед командировками, подозревал, они вдвоем со свекровью сжимали ее, как Сцилла и Харибда, и кроме этого, они еще и скандалили между собой, муж и его мать. Свекровь донимала бедную блондинку, почему ее муж никогда не закусывает и вообще мало ест, даже это ей ставилось в вину! Блондинка на работе жаловалась вскользь, была потаенная и ничего не вываливала ему прямо в морду, как это делала жена. Бывают же такие женщины, думал, разметавшись по постели, одинокий муж, а за стенкой приплакивали и вскрикивали во сне его дети, мальчик и девочка, и храпела его жена-сердечница, все более старая и все более любящая. Вот уж уму непостижимо, как она, старая старуха сорока с гаком лет, его любила и ему угождала! Она-то, похоже, и вообще никогда не верила в то, что он ее любит, что этот шикарный, с седыми висками мужчина — ее муж, и вечно тушевалась и отказывалась с ним ходить куда-либо вдвоем. Шила себе платья сама по единому незатейливому фасону, длинные и мешко-

ватые, чтобы скрыть полноту и драные чулки, на которые вечно не хватало денег. На языке многочисленных гостей и родни это называлось «одеваться скромно и со вкусом», гости приваливали толпами на все праздники, обожали ее пироги, пышки и салаты — это были все ее гости, ее однокашники, сверстники, родственники — они помнили ее молодой, симпатичной, с ямочками, с толстой косой и не замечали, что она уже не та, уже погасла.

Действительно, она давно уже плюнула на свою косу и ямочки, ухаживала за мужем и за матерью, следила за детьми, преданно бегала для хозяина своей жизни на базар, никуда не успевала, но приходила всюду каким-то чудом вовремя, так старалась жить по порядку — и естественным образом ночами просиживала на кухне за книгами, уложив всю семью, или прирабатывала теми же ночами на той же кухне, или готовилась к занятиям. Придя с работы, она рассказывала байки о своих студентах и иногда готовила ведро котлет и ведро каши, и к ней приходили ее ученики, приносили цветы, робко галдели, съедали абсолютно все и тешили свою преподавательницу пением несуразных коллективных песен. Но это бывало, если господин уезжал в командировки, только так.

Когда родились дети, мальчик и девочка, то и тут первая ее мысль была о муже: его проводить с завтраком на работу, его встретить горячим обедом с работы, выслушать все, что он хочет рассказать. Был только один перерыв, когда начала умирать и в течение трех лет умирала ее мать, тут было все брошено и кое-как шло, неизвестно как, и отец семьи завтракал один тем, что ему было поставлено, и обедал тоже один, сам себе накладывал и уходил в свою комнату туча — тучей, но все же гроб нес первым, в ногах покойной, и был неотличим в своей непритворной тоске от остальных. После похорон мамашина комната стояла пустая, закрытая, не было сил, да и хозяйка тихо сопротивлялась, спала в большой комнате с детьми, вернее, сидела все так же на кухне, сон от нее ушел.

У мужа тоже, одновременно, это был тяжелый период, его любовь стала капризничать и требовать полной, независимой семейной жизни, отказывалась с ним ходить под ключ в пустую квартиру к знакомым, как он уже наловчился ее водить в обеденный перерыв, и даже пошла дальше: кокетничала с соседними комнатами и в буфете, и мужички, почуяв, что она «ослабла на передок», по выражению коллег, проторили в ее комнату тропу, и телефон звонил, и

кто-то заезжал за дамой на машине и т. д. Наш муж принял муки ада, любовь и долг прогрызали его насквозь, он занял твердую и неуступчивую позицию в адрес своей подруги, хотя и иногда облегченно плакал у нее на плече, если удавалось. Что было делать! Жена при всем своем отчаянии все-таки заметила, что муж как-то подсох, что глаза его нехорошо остановились и он весь как бы улетает. Жена очнулась, быстро сделала ремонтик в материной комнате и поселилась там с детьми, а большая комната снова стала местом встреч, бесед и малых праздников, и муж выходил к гостям как отец чудных детей и глава дома (а не бездомная брошенная собака), и любимый, почитаемый в виде божества муж (а не третий с конца претендент на собачьей свадьбе). Теперь завтрак подавался ему прежде всех, было даже вдруг сшито несколько новых платьев из штапеля, по воскресеньям жена стала уводить детей в долгие походы, то в парк, то в цирк, то в планетарий. А в комнате мужа все висели над столом пухлые босые ножки под юбкой и на каблуках: он не сдавался.

Наконец грянул гром, и тот муж блондинки, наш муж, как его звала между собой незаконная парочка, совсем разошелся, разбушевался, погнался за блондинкой с топором, та заперлась в ванной до вечера, а вечером как-то ушмыгнула из дому, звонила нашему герою из автомата, он срочно убежал к ней, вернулся чуть ли не под утро, утром его опять снял с постели страшный, как все известия на рассвете, звонок: того мужа его родная мать обнаружила в петле на двери. Разумеется, следующий месяц бедная новая вдова провела в какой-то сердобольной семье друзей, к себе ее наш герой пригласить все-таки не решился, да и там, в той дружеской семье, хозяйка как-то собралась с силами и проводила вон из дому к другим людям печальную блондинку, слишком хорошенькую в своей траурной бледности, что было невыносимо наблюдать со стороны, тем более что хозяин дома начал испытывать к блондинке платонические чувства дружбы и сострадания, что гораздо более опасно, чем простая человеческая грязь, попихались-разошлись.

Не скоро, но все обошлось, блондинка получила отдельную квартиру, кому-то пришлось по душе разоренное жилье старухи свекрови, ее уговорили поменяться со страшного места куда-то рядом с племянницей, блондинка получила подальше и похуже, но свое, и тут наш муж, наш герой, должен был решить окончательно, да или нет, и приняться за ремонт, мебель, проводку, утепление окон и

т. д. в новейшей квартире своей избранницы. Вместо этого он с удвоенной энергией стал устраиваться в собственном доме, поклеил с детьми обои в большой комнате, опять принялся за зарядку, обливание и бег, стал усиленно заниматься детьми и муштровать уже их, поскольку дети незаметно подросли и стали мешать, вот в чем дело. С блондинкой он остался в роли советника и посетителя, она все устроила сама, это заняло ее, она советовалась, показывала какие-то чертежи, и уже был на стороне кто-то, кто возил ей на машине метлахскую плитку для ванной и кухонную мебель. Блондинка кое-что смекнула и не упускала из виду никого, имея перед собой перспективу одиночества.

Картинка по-прежнему висела над столом, уже установился тот день, когда муж посещал блондинку, — он, кстати, теперь перешел в другой институт, где дали больший оклад, да и отношения в предыдущем месте работы сильно осложнились, так как блондинку нужно было двигать вверх, и она получала повышение, но не получила из-за гнева масс. Он же в знак протеста ушел и обещал ее со временем перетащить к себе, а жена ничего не поняла и облегченно сияла, и в доме был праздник, и пеклись пироги, что наконец-то муж ушел от Той, но картинка все висела.

Он ушел и хорошо устроился на новом месте работы, детки росли, спортивные, подтянутые, вымуштрованные, как это бывает, когда в семье прочно устоялся культ отца, усиливаемый обожанием и подчинением добровольно сдавшейся матери. Слово отца было закон, и они так и шли сомкнутым строем: папа впереди, дети плечом к плечу, а сзади незаметная клуша мать, руководящая семьей дистанционно. Радостно было смотреть на них, а фотография ножек тем не менее присутствовала.

Мать семейства дождалась, когда мальчик, младший, поступил в институт, и тут сдалась полностью, как и ее мать однажды. Стоя на кухне, она завалилась на глазах у всех вечером, завалилась, захрипела и хрипела трое суток, увезенная в больницу. Семья, дисциплинированная и трудовая, перегруппировалась, было установлено дежурство плюс подключились старые друзья и родня, бывшие и все еще преданные ученики, и из полной могилы, из смерти и забытья муж вытащил свою жену. Когда ее привезли домой, она уже была маленькой старушкой, шевелила только правой рукой немного, говорила что-то невнятное, и частенько ее глаза источали слезы. Она как будто извинялась всем своим видом за это положение, извинялась за всю

прошлую жизнь, что не могла создать своему божеству ничего и в конце вляпалась в эту историю с параличом и втянула его. С течением времени домашние привыкли в своей тяжелой лямке, хотя иногда раздражались и покрикивали друг на друга: все же все эти подкладные судна, ежедневные обтирания, пролежни и невольные мысли о том, сколько же лет это может протянуться, такое животное или растительное существование, — эти мысли мучили. А отец как бы успокоился вдруг, его душа словно бы устоялась, все движения его вокруг жены были плавными, терпеливыми, голос мягкий. Дети еще покрикивали друг на друга и на мать, у них была своя неопределенность, они лишились матери, то есть фундамента и подпорки, и стали неоперившимися, еще слабыми родителями для своей мамы, они чувствовали, что здесь что-то не то, нет перспективы, вернее, она есть, но ужасная. Дети обвиняли друг друга, выводили на чистую воду, о горе, при матери! Но рвение их не угасало, больная у них лежала чистая, свежая, ей под ушко клали радиоприемник и иногда читали ей вслух, но все-таки она часто плакала, совершенно невпопад, и что-то пыталась сказать одними гласными, без языка.

В ночь, когда она умерла и ее увезли, муж свалился и заснул и вдруг услышал, что она тут, прилегла головой к нему на подушку и сказала: «Я люблю тебя», и он спал дальше счастливым сном и был спокоен и горд на похоронах, хотя сильно исхудал, и был честен и тверд, и на поминках, уже дома, при полном собрании людей, сказал всем, что она ему сказала «я люблю тебя». И все замерли, потому что знали, что это чистая правда — а картинки уже не было. Картинка исчезла из его жизни, все то испарилось, стало как бы неинтересным в тот момент, и он неожиданно, тут же за столом, стал показывать всем маленькие бледные семейные фотографии жены и детей — все эти походы, в которых он не участвовал, все их развлечения, бедные, но счастливые, по паркам и планетариям, которые она устраивала детям, все ее попытки построить жизнь на том малом, что еще ей оставалось, на том островке, где она прикрывала собой детей и где надо всем возвышалась в пространстве, все заслоняя, проклятая картинка из журнала, — но ведь оно ушло, все кончилось хорошо, и фразу «я люблю тебя» она все-таки успела ему сказать — без слов, уже мертвая, но успела.

ЕВРЕЙКА ВЕРОЧКА

Нас познакомили на предмет шитья брюк, сказали, что есть великолепная брючница Вера. Времена были далекие, и брюки только-только вошли в моду, и уже одни брюки я сшила у залихватской брючницы, первой предпринимательницы в Москве, ее звали Н. Она сделала выкройки на все размеры, наняла швею, сняла квартиру, у заказчиц спрашивала только размер, сорок шесть или сорок четыре, и я была у нее два раза. Дым стоял коромыслом, скромная швея строчила в другой комнате, а Н. (булавки в зубах и говорит сквозь зубы) придумала гениально: скроив и сметав на живую нитку такой-то размер, она надевала этот полуфабрикат навыворот на живую клиентку и, где было широко, — тут же прихватывала булавками, раз-два, и завтра приходи за брюками. Но что-то с этими брюками вышло плохо, их надо было в результате прикрывать свитером, и в следующий раз, через два года и перед отпуском, я и набрела через знакомых на Верочку.

Верочка приняла меня в своей комнате, где-то на проспекте кого-то большой генеральский дом, роскошные окна и высокие потолки, но комната у Верочки была одна, а за стеной, видно, жили соседи. Комната у брючницы Верочки была на диво хороша, как комната молодой художницы, много книг, зеркал, портьер, все темное и сверкающее, ковры и подушки. Сама Верочка меня тоже поразила: маленькая, изящная, личико как светлое яичко в гнезде темных стриженых волос, огромные зеркальные, очень спокойные глазки. Она-то все делала как заправская мастерица, обмерила-записала, один раз я пришла на примерку, на следующий я уже получила роскошные белые брючки, в которых затем и щеголяла много лет: плохо только, что тряпка была дешевая да и белая, стирала я их часто, потом штопала, а потом и выкинула, но спустя много лет.

Я носила эти брюки и как светлую мечту лелеяла планы еще раз посетить Верочку, которая, кстати, оказалась не брючницей, а студенткой и редактором в издательстве. Брюки были для поддержания жизни, так как (поняла я) Верочка ушла от родителей, богатых людей, получила от них свою богатую комнатку и дальше должна была жить одна.

Жила она и зарабатывала честно и блестяще, но больше я никогда так ее и не увидела, дела мои шли, в свою очередь, далеко не блестяще, было не до брюк.

Однако спустя сколько-то лет снова наступила весна и с ней страшная проблема, что нечего носить. Я все лелеяла в душе воспоминания о чудесной Верочке, о новом Робинзоне, о благоустроенном острове среди житейских бурь — и о белых брючках, которые служили мне единственной формой одежды летом, надел — и человек, надел — и не стыдно и так далее, а как это важно для молодой дамы, не стыдиться своей внешности, не сжиматься, не прятаться по углам.

Хорошо Верочке, думала я, она как кинозвезда со своими зеркальными шоколадными глазами, одета просто, английская принцесса, шьет и вяжет и сама для себя все устроила, как ей было нужно.

Короче говоря, я ей позвонила.

— А вы не знаете? — сухо сказала какая-то женщина. — Верочки здесь нет. Давно уже нет. Вы что, знакомая?

Я стала говорить, что очень далекая знакомая, Верочка мне что-то шила.

— Шила! — горестно воскликнула женщина. — Шила! Верочка умерла, вы что, не знали?

Пауза.

— Верочка умерла три года назад от рака груди.

Боже мой, маленькая Верочка!

— Верочка очень хотела родить, но ей запретили из-за рака груди, но она не сделала аборт, а родила. Она умерла, когда ребенку было семь месяцев. Она не пошла под облучение и не принимала никаких лекарств, чтобы ему не повредить во время беременности. Верочка! Это такое было дело.

Женщина замолчала. Я тоже молчала.

— Верочка ведь родила одна, — сказала она, — без мужа. Она очень любила одного человека, но он был женат.

— А что же ребенок теперь?

— Мы, евреи, — сказала соседка, — мы детей своих не бросаем, да. Отец его навещает. Покупает, что ему надо, да там и своих денег некуда девать. Там за ним глядят.

Видимо, Верочкины родители взяли ребенка к себе.

— Родители взяли, они его взяли, — подтвердила соседка, — хотя отношения были плохие. Верочка от них ничего не брала.

Это я помню.

Соседка медленно со мной попрощалась, медленно и значительно, а Верочка глядит теперь с небес на своего ребеночка и беспокоится о нем, они все там о нас беспокоятся, все, кто нас любил. Еврейка Верочка — неизвестно в каком раю.

ДАМА С СОБАКАМИ

Она уже умерла, и он уже умер, кончился их безобразный роман, и, что интересно, он кончился задолго до их смерти. Задолго, лет за десять, они уже расстались, он жил где-то, а она приехала и поселилась в Доме творческих работников как напоказ, одна и с собакой. Поскольку о ней здесь жила старая память, о ее эскападах и скандалах, об их попойках на весь мир, о том, что она жена крупного деятеля искусств — но была. Однако вспоминали, что она еще и дочь крупного деятеля прежних времен: и, не в силах ничего поделать, выделили ей апартамент, и она въехала туда с собакой и жила тихо, громко разговаривая лишь с собакой. «Ты сошла с ума», — говорила она ей на балконе (соседние балконы слышали ее необычайно громкий голос, есть такие деятели с прирожденно громкими голосами, как бы вожди, полководцы и ораторы, но, как правило, просто скандалисты).

Соседние балконы раньше слышали оттуда сочные поцелуи приветствий, стук каблуков, громкие (тоже) голоса гостей, подвижение стульев и звон стаканов, особенно раздражали всех сочные, ясные, далеко разносящиеся, по-актерски природно поставленные голоса, которыми они страшно скандалили. Говорят, утюги летали по комнате, но все осталось цело, руки и головы. В один прекрасный момент разнеслась весть, что они разошлись, это он бросил все к черту и ушел к какой-то бабе. И вот вам явление дамы с собакой, вернее, с собаками, ибо она неоднократно появлялась, неся какую-то низменную, грязную, явно не в своей тарелке находящуюся постороннюю и сконфуженную собаку, перевешенную у этой дамы через плечо в виде лисьего меха, трепаного и пожранного молью как бы. Дама выговаривала своему пуделю, что он не имел права гнать эту

несчастную, эту падаль, если ее хотят подкормить. Все имеют право жить, кричала (тихо выговаривала, как ей казалось) эта Брижит Бардо, нельзя никого гнать! Не гони, и не гоним будешь!

Она так шла, и от нее буквально шарахались живые люди, так разительно она сама напоминала трепаное, рваное животное, какое-то гонимое и, несмотря ни на что, ни на какие обеды в столовой, голодное. Она несла на плече смущенную рвань в виде дворняжки с грязными по локоть ногами, а рядом бежал ухоженный, тоже глубоко смущенный пудель, и все вокруг отводили глаза, смотрели вовсю только дети. Детей, кстати, она ненавидела, со своим довольно взрослым ребенком жила тоже в скандалах и, люди слышали, часто повторяла, что животные — единственные существа, которые ее не ругали никогда.

Внешний вид ее со времен развода сильно изменился, опала пышная когда-то грудь, руки увяли, как картофельные плети, волосы она раньше носила гордо и с прямой спиной, а теперь прятала под повязками, и единственное, что у нее осталось, — это любовь к побрякушкам, которые действительно качались на ней и брякали повсюду — в ушах, вокруг шеи, вокруг костлявых запястий. Собаки ее не ругали, бижутерия ее любила, и это все, что ей оставалось.

Только однажды она сорвалась, чего не было никогда, и показала свою новую сущность ханжи и старой девы: когда на балконе выше этажом собрались гости, застучали каблуками, заговорили громкими, сочными голосами, зазвенела посуда, полилось, забулькало — она выждала до полуночи, тайно негодуя, а затем сочно, трезво и раздельно сказала на своем балконе одну фразу, которую никто не разобрал и которую одни передавали как «мешаете спать моей собаке», а другие — «даже собаке надо отдыхать». Короче, что-то несообразное и нелепое по своей ханжеской сущности, но ясное по намерениям: пришло время праздновать следующему поколению, к которому она уже никакого отношения не имела, как ни к чему вообще. Уже все знали, что у нее нет средств к существованию, муж ей оставил квартиру и все, работать она уже не могла, как не могла и вернуться в свое учреждение после психбольницы, куда она угодила, вынутая из петли. В этом учреждении ее и вообще уже терпели едва-едва с ее яркими одеждами, бижутерией, дикой косметикой, опозданиями и прогулами, с ее пышными обещаниями провернуть то или иное дело с помощью влия-

тельных знакомых, а также со странной историей исчезновения чужих денег в ее комнате. Нашу даму никто не ловил на месте преступления, но слух пошел, ее начали опасаться всерьез, хотя виду не показывали, боясь совсем убить это глубоко раненное животное. Дальше — больше, она позвонила двум-трем женщинам, семейным и занятым, глубокой ночью, что сейчас повесится и дверь не закрыта, пусть приходят и вынимают. Женщины все как одна стали ее отговаривать, но когда она позвонила третьей, две первые созвонились и вызвали психперевозку, которая приехала, распахнули дверь, и наша дама от страха прыгнула со стула с приготовленной петлей на шее и с телефонной трубкой в руке — прыгнула именно от неожиданности, увидев белые халаты. Так бы, может, она и не прыгнула, думали ее сослуживицы. Но санитар перехватил суицидницу, ловко поймал, позвонки не порвались в ее хрупкой лебединой шее, и в штаны она не наложила, и язык не прикусила — никакого этого безобразия с ней не произошло.

Никто не знает, однако, как она умерла на самом деле, на какой койке угасла, кажется, от рака и в муках. Чем-то это все должно же было кончиться, эта безобразная жизнь, искалеченная неизвестно чем, но слишком шумная и бурная для наших условий. Однако, как говорится, ни одна собака ее не пожалела, все только слегка вздохнули, внимая отдаленным слухам, а куда делась ее собственная старая собачка, ее пудель, последний в роду, и выла ли собака над ее трупом, сидела ли над ее могилой — все эти басни из рассказов о животных можно не принимать во внимание, никто такого не позволит в наши времена, ясно только одно: что собаке пришлось туго после смерти своей Дамы, своей единственной.

МИСТИКА

Это была абсолютно спокойная женщина с большими деньгами, судя по рассказам посторонних, и обязательно что-нибудь всегда покупала, и, приходя за своей девочкой к частной учительнице английского языка, мерила то сапоги, то вытаскивала свертки из сумки. Девочку свою она

постоянно таскала с ее пяти лет на частные уроки, и, по рассказам же очевидцев, набиралось два педагога по крайней мере, уже упомянутая англичанка плюс почему-то учительница рисования где-то у черта на рогах, в Черемушках, причем дело происходило зимой в самый гололед, а на английский девочку она возила на Динамо, тоже не ближний конец, если учесть, где она жила со своей несчастной семьей. Такое складывалось впечатление, что они жили в крайнем богатстве, строили дачу вместо сгоревшей (за которую получили по страховке, в сущности, копейки, учитывалась стоимость дачи еще до войны), и обшили дачу внутри, вернее, Рита обшила, светлой фанерой, и в комнатах было, по словам Риты, как в посылочном ящике. Может быть, впереди были планы с обоями, кто теперь узнает, ибо несчастная Рита никому теперь ничего не расскажет, а ее муж вообще частенько застывает в позе статуи Свободы, как бы тщась достать до потолка и с измученным лицом, и за это получил вторую группу по шизофрении, ибо и в больнице ничего не выдал, как партизан, ничего и никого, кому он там протягивал вверх руку.

Несчастная Рита только по фактам была как бы несчастна, поскольку грабеж и пожар дачи для некоторых много тянет, и одна постройка новой дачи и купля фанеры обходится тяжело, не говоря уж о статуе Свободы на дому по разу в день, но, странно, Рита всегда была весела, на постройке дачи ходила свободно в купальном костюме при жаре и объясняла свой вид тем, что в детстве много занималась пластикой по системе Алексеевой в группе детей Дома ученых. Соседи старались не обращать внимания на жалкий вид тонконогой и толстой Риты, которая всегда сутулилась, стараясь визуально убрать излишний вес. Соседи отводили глаза и говорили с ней как с человеком, ибо она живо всем интересовалась, что у кого на дачах происходит, то есть вела себя наравне с остальной стройной и подтянутой дачной молодежью, к тому же и прилично одетой, хоть не в городское, но все же. Рита не видела в себе недостатков — ни в фигуре, ни в лице, ни в профессии дешевого переводчика статей для рефератов, три копейки в базарный день. И откуда-то были деньги, вот в чем вопрос. Даже строители у нее трудолюбиво кропали, не отвлекаясь, деловитые и серьезные плотники, какие-то баснословно дорогие непьющие работяги, шабашники периода капитализма в России, ни у кого таких не было, кругом стоял стон из-за пьянства и воровства рабочих за любые деньги, а у Риты все

было о'кей. Они строили, она ходила по соседям в трусах с голым пузом и в лифчике шестого размера и развлекала публику, к примеру, просто скроенными рассказами о своей невестке, жене брата, которого Рита воспитывала одна после смерти матери в свои отроческие годы, а ему было двенадцать. Так эти две сироты и жили, пока наконец брат не женился на красавице из города Хабаровска, юной, стройной, как хлыст, но к тому же неосознанной лесбиянке, ибо девушка тут же рассказала мужу, выйдя замуж, что в общежитии ее очень любила другая студентка, и так далее, что по описанию подымало волосы на голове и вызывало смех мужа, а также — затем — и смех Риты и ее мужа в промежутках между его протягиваниями руки помощи вверх, когда ему было не до смеха. Ничто не удерживалось в этой бедной семье, в среде сестры, брата и их юных мужа и жены, все вываливалось и запросто обсуждалось, даже мелкие неприятности в виде повышенной сексуальности маленькой Лизы. Обсуждалось все и обесценивалось, лишенное тайны. Семья жила открыто, но откуда-то брались деньги, и зимой Рита таскала маленькую Лизу по урокам, терпеливо, в часы пик так в часы пик, как удобно педагогам, в темноте, по снегу, по гололеду, а Лиза плакала и кричала на всех прохожих, девочка с наследственностью, бедная, возбудимая крошка, глубоко, видимо, несчастная, как будто все беды ее родителей и родни валились ей на голову, и они жили, а она мучилась и вопила. В дальнейшем, все годы спустя, она толковала на дачных улочках в компании соседских детей, что ждет маму, мама приедет, а все соседские дети знали, что мать Лизы не придет, никогда не придет к ней, и возражали, несмотря на запреты взрослых, но Лиза по всем улицам звонила насчет приезда матери упорно, кричала и плакала, когда ее дразнили: «Нет, моя мама приедет!»

А Рита тем временем давно лежала в могиле, сплющенная снегоуборочной машиной, которая во тьме прижала ее к стене дома, а Рита-то как раз посторонилась. Рита мчалась за девочкой к учительнице рисования. Машина проехала, а Рита все упорно стремилась к дочери, взобралась на этаж, позвонила и упала, но зато успела все сказать, успела за дочерью, потому что, видимо, ее вела мысль, что как же ребенок останется один. С этим она и прожила последние пять минут в сознании, увидела ребенка, попрощалась с полу в последний раз.

Теперь все они живут с бабушкой со стороны статуи

Свободы, и мало этой бабушке мучений видеть больного сыночка и сироту-внучку, мало ей этого, она ведь и мужа потеряла три года назад, горькая вдова, и ее сыночек и тронулся с тех пор, с похорон отца, вернулся домой к Рите с протянутой вверх рукой, не выдержал горя.

В этом мире, однако, надо выдерживать все и жить, говорят соседи по даче, как это делала Рита до последней минуты, свято веря в свою долю счастья и в свою пластичность по Алексеевой. Тем не менее Риту действительно все помнят, все окружающие, и буквально не в силах забыть. Ходят слухи, что мать Риты была очень хорошим человеком, это она оставила ей деньги, и какая-то ее тень лежит поперек всей Ритиной горькой судьбы, какая-то защитная тень, тень великой любви. Чуть ли это не она ли, мать, позвала Риту чуть ли не отдохнуть, но это все, конечно, мистика.

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Один врач начал лечить себя сам и долечился до того, что вместо одного мизинца на ноге у него потеряла чувствительность вся ступня, а дальше все поехало само собой, и спустя десять лет он очутился на возвышении в отдельной палате с двумя аппаратами, из которых один всегда ритмично постукивал, давая лежащему искусственное дыхание. Все продвигалось теперь без участия лежащего, потому что у него была полная неподвижность, даже говорить он не мог, ибо его легкие снабжались кислородом через шланги, минуя рот. Представьте себе это положение и полное сознание этого врача-бедняка, которому оставалось одному лежать целые годы и ничего не чувствовать. Целое бессмертие в его цветущем возрасте мужчины тридцати восьми лет, который внешне выглядел краснорожим ефрейтором с белыми выпученными глазами, да ему никто и не подносил зеркало, даже когда его брили. Впрочем, мимика у него не сохранилась, его как бы ошпаренное лицо застыло в удушье, раз и навсегда он остановился, в ужасе раскрыв глаза, и бритье оказывалось целым делом для сестричек, дежурящих изолированно около него по суткам. Они на

него и не глядели, шел большой эксперимент сохранения жизни при помощи искусственных железных стукающих каждую секунду легких — а уши у больного работали на полную мощность, он слышал все и думал бог весть что. По крайней мере, можно даже было включить ему его собственный голос при помощи особого затыкания трубочки, но когда ему затыкали эту трубочку, он ужасно ругался матом, а заткнуть трубочку обычно можно было быстрее всего пальцем, и палец сам собой отскакивал при том потоке площадной ругани, который лился из неживого рта, сопровождаемый стуком и свистом дыхания. Иногда, раз в год, его приезжала навестить жена с дочерью из Ленинграда, и она чаще всего слушала его мертвую ругань и плакала. Жена привозила гостинчик, он его ел, жена брила мужа, рассказывала о родне и тех событиях, которые произошли за год, и, возможно, он требовал его добить, мало ли. Жена плакала и по обычному ритуалу спрашивала врачей при муже, когда он поправится, а врачей была целая команда: например, кореянка Хван, у которой уже была предзащита кандидатской диссертации на материале соседней палаты, где лежало четверо ее больных энцефалитом, четыре женщины с плохим будущим, затем в команде был старичок профессор, который впал в отроческие годы и обязательно, осматривая каждую лежащую женщину, клал руку ей на лобок, а осматривал он также другую палату, где находилась другая четверка, теперь уже юных девушек, сраженных полиомиелитом. Он их таким образом как бы ободрял, но они ведь ничего не чувствовали, бедняги, они только иногда плакали, одна за другой. Вдруг заплачет навзрыд, и нянечка уже тяжело подымается с табуретки и идет за судном, квачом и кувшином мыть, убирать и перестилать. Чистота была в этой больнице, опорном пункте института неврологии, чистота и порядок, а энцефалитные бродили как тени и заходили к живому трупу на порог, ужасаясь и отступая перед взглядом вытаращенных в одну точку глаз, эти же энцефалитные сиживали в палате неподвижных девушек, где рассказывались анекдоты нежными голосками и лежали на подушках головы, в ангельском чине находящиеся, с нимбом волос по наволочкам. А то энцефалитные ходили и к малышам, в самую веселую палату, где бегали, кружась, дети с потерянными движениями рук, а за ними припрыгивали дети-инвалидики, волоча ножку. Туда же от своего мечтателя о собственном убийстве переходила большая команда врачей, там летали шуточки, там царила на-

дежда на лучшее будущее, а бывший врач оставался один на своем высоком медицинском посту, на ложе, и его даже со временем перестали спрашивать о самочувствии, избегали затыкать трубочку, чтобы не слышать свистящий мат. Может быть, кто-нибудь, подождав подольше, услышал бы и просьбы, и плач, а затем и мысли находящегося в чисто духовном мире существа, не ощущающего своего тела, боли, никаких тяжестей, а просто вселенскую тоску, томление бессмертной как бы души не свободного исчезнуть человека. Но никто на это не шел, да и мысли у него были одни и те же: дайте умереть, падлы, суки и так далее до свистящего крика, вырубите кто-нибудь аппарат, падлы, и так далее. Разумеется, все это было до первой большой аварии в электросети, но врачи на этот случай имели и автономное электропитание, ведь сам факт существования такого пациента был победой медицины над гибелью человека, да и не один он находился на искусственном дыхании, рядом были и другие больные, в том числе и умирающие дети. Раздавались голоса нянечек, что Евстифеева разбаловали, полежал бы в общей свалке, где аппарат на вес золота, то бы боролся за жизнь, за глоточек воздуха, как все мы грешные. Вот вам и задача о смысле жизни, как говорится.

СИРОТА

Некоторым видится его умершее лицо на улицах и в метро. Вглядываются, не веря себе, обходят совершенно чужого человека со стороны и облегченно убираются, заметив все-таки разницу, ибо никто не видел Эрика в гробу, некоторым он звонил совершенно недавно, кого-то поздравлял, говорил, что что-то читал, и смеялся и плакал, вернее, не плакал, а так. А звонок-то уже был почти оттуда, если не оттуда уже, где он сейчас лежит, полностью ушедший в землю. Он что-то читал и плакал в последние дни, видимо, в больнице, а когда его при этом телефонном разговоре пригласили вполне конкретно приходить, он удивленно замолчал, как-то будто бы подавился, захлебнулся, но опустил приглашение, ничего не ответив, кроме задумчивого «спасибо». Ничего не ответил, промолчал и ушел

умирать. Вообще-то он с самого начала был блокадное ленинградское дитя и не жаловался на свое здоровье, жил и жил и иногда покрывался по́том на работе в коридоре, согнувшись в три погибели. Поэтому сослуживцы и побегали и устроили его в больницу, где ему поправили язву желудка. А так он ни на что не жаловался, носился с какими-то планами, хотел стать ни много ни мало писателем и записать свою богатую жизнь сироты из детского дома. Но не получилось, его богатая бедствиями жизнь сироты осталась в виде устных рассказов в дырявом сознании сослуживцев, в особенности его поездка на родину, на место рождения, указанное в паспорте. Было такое место у него, некая деревня, куда он и отчалил как-то в безумном порыве, потратив на это отпуск и приславши из своей деревни родной жене странную телеграмму: «Нашел семью». Жена побабьи восприняла эти слова, то есть что у Эрика там другая семья, в скобках новая жена, и звонила с этим сообщением, нашла куда, Алле Георгиевне, начальнице Эрика по работе, как раз попала пальцем в небо, поскольку Эрик если и хотел какую новую семью, то только Аллу Георгиевну, красавицу в очках, в жабо и с вечно засученными рукавами. Эрик затем вернулся, выпучив свои синие глазки, и сообщил, что он — Эдуард, что у него жива мать, тетки и пятеро сестер и братьев, не считая всей деревни родни. И как он шел там по лесам и полям и встретил женщину, которая его узнала, двоюродную сестру, и она, не признавшись, послала его прямо в родной дом. И как он плакал. И что они его искали как Эдуарда, а потом вообще, после того как ему исполнилось восемнадцать, искали его в армии или по тюрьмам, трезво рассудив, что куда русский парень-сирота пойдет в восемнадцать лет. А он вон он — выучился, вот тебе и раз, оказывается, в институте и далеко пошел, стал редактором и так далее, но не ушел далеко. Оказывается, он младенцем был отдан на житье богатому дядьке-директору, тот его переименовал и умер под медные трубы, а неродная мать опять-таки растила, но умерла от голода в блокаду, и наш Эрик в полной уверенности, что он сирота, оказался в детдоме. Эрик рассказывал об этом, блестя синими глазами, такой беленький-беленький в белой рубашке, и завершал всегда так: но чур, это моя тема. Он, оказывается, был привозим в Ленинград после войны на поглядение, целый состав детдомовских привезли и поставили на запасный путь, трое суток объявляли по радио на весь город, что привезли детей, увезенных тогда-то и тогда-то, однако за

детьми не явился никто. Все родные, видимо, умерли, и ночью, при погашенных огнях, состав тронулся и повез всех сирот обратно в Вологду под плач колес. Но это — Эрикова тема. Там, во мраке, он продолжает нам рассказывать свою небывалую историю удачливого сироты, и если бы не голод в детстве, то мало ли что могло произрасти на этой почве. Но рок, судьба, неумолимое влияние целой государственной и мировой махины на слабое детское тело, распростертое теперь уже неизвестно в каком мраке, повернули все не так. Сирота, сирота.

КТО ОТВЕТИТ

А кто ответит за невинные слезы Веры Петровны, за ее невинные, бессильные старческие слезы на больничной койке перед тем как Вера Петровна умерла?

Кто отомстит за кровь Веры Петровны — не буквально за кровь, кровь не была пролита и застыла в жилах, — но так говорится: кто отомстит за кровь и за то, что к концу жизни Вера Петровна от различных препаратов стала безумицей, стала мучиться совершенно безвинно от каких-то непонятных и странных мучений и говорила девушкам, своим сотрудницам: «Покажи трусики какие!» Девушки кружились в своих юбочках, ничего не охватывая умишками, не желая ничего охватывать, мало ли друг другу показывают женщины — лифчики-трусики, кто где купил и почем. Но это упорное, тоскливое «покажи трусики» на закате жизни, когда все знали, что В. П. умирает и умрет в мучениях очень скоро, — оно осталось звучать в ушах и много после того, как В. П. умерла, лежа в гноище на сквозняках в коридоре в какой-то зачуханной больничке для хроников, для безнадежных, но к тому же еще и одиноких, за которых некому заступиться, чтобы их устроили в лучшую больницу, а не кинули так умирать на мокром, когда кругом сквозняки и всюду стон и смрад.

У девушек осталось в памяти и это тоже, поскольку они несколько раз ездили навещать В. П. далеко на окраину в эту больницу. Они робко клали В. П. на кровать продукты, а В. П. ругалась и плакала в полном сознании, ругалась на

всю эту жизнь, на то, что не обращалась к врачам по поводу болезни и запустила. «Не запускайте, девочки», — говорила В. П., плача, как будто у девочек уже тоже что-то начиналось и им предстояло пройти весь тот путь, который прошла В. П. от немолодой, но бравой и крикливой женщины до этого бородатого, усатого существа, загнанного в коридор умирать черт знает на чем лежа.

Потом им же, этим девушкам, предстояло хоронить В. П., но на этом все и кончилось, и никакого памятника и посещения могилки в первый день Пасхи уже не было предусмотрено. Что же, вокруг В. П. образовались другие могилки, не так поросшие травой, и на них в какие-то дни все-таки приходят родные с выпивкой и закуской, все-таки там летают птицы и садятся на скромное пристанище В. П., все-таки растут деревья, а девушки, прежние девушки, уже выросли, созрели и тихо старятся, храня в душе то ощущение от слов В. П. «покажи трусики», когда они проглатывали свой страх и весело кружились, чтобы не дай Бог не показать вида и не обидеть старуху, у которой щеки уже знали бритву, но которая ни в чем не была виновата. Не виновата — как и все мы, добавим мы.

ГРИПП

Всему виной, очевидно, все-таки был грипп, хотя некоторые придерживаются иной точки зрения и говорят, что дело именно и обстояло так просто, как оно выглядело на первый взгляд после первого рассказа жены, и никаких глубин, подспудных причин, смешения разных обстоятельств в этом случае не следует доискиваться; тем более смешно выставлять причиной грипп — эту странную болезнь, которая у всех протекает настолько по-разному, что здесь можно даже говорить не о конкретной болезни, а о каком-то всеобщем предрасположении к болезни, к разным болезням, о всеобщей ослабленности, возникающей в одно и то же время, во время холодов.

Но причины выдвигались и сопоставлялись, уже началось небольшое, невольное следствие, и многие люди принимали в этом участие: это началось еще на кремации,

когда вдруг неожиданно встретились разные знакомые, которые и не предполагали, что их объединяло еще и знакомство с покойным. Народу было много, и это не считая еще и тех женщин, которые не пошли, зная себя, боясь впасть в истерику от этого ужасного зрелища; но те, что пошли, держались прекрасно, за исключением жены, которая не переставала плакать.

Но в ее плаче тоже не следовало искать никаких сложных, подспудных причин — никакого актерства и позы. Она не притворялась, какой ей смысл было притворяться и играть роль страдающей женщины, когда оно так на самом деле и было, хотя и было несколько не так, как бывает во всех нормальных случаях, когда женщина остается вдовой. Действительно, в положении жены все было чудовищно запутано и даже страшно, как-то нечеловечески страшно, и поэтому можно было понять тот испуганный плач, которым она оглашала своды крематория. Ее все жалели, конечно, но жалели опять-таки не той приличной, пристойной, но не глубокой, не вдающейся в смысл вещей жалостью, — ее жалели по-настоящему. Каждый мысленно терялся перед ее положением, потому что хуже всех — и неизвестно, заслуженно или незаслуженно, — приходилось ей. И то, что случилось с ней, — от этого не был застрахован ни один человек, разве что только редко могло бы случиться именно такое совпадение случайных обстоятельств — грипп, голод, супружеская ссора, страшный мороз, отсутствие телефона, особая, обостренная чувствительность от всего этого и так далее, — а в остальном ведь все же как-то довольно спокойно расстаются даже после долгой супружеской жизни, когда уже все потеряно, все чувства, когда каждая ссора превращается в обыкновенную ссору двух любых случайно взятых людей, между которыми вспыхнула злоба.

Так и в этом случае все могло обойтись совершенно спокойно, потому что все уже давно знали, что они, эти муж и жена, живут между собой плохо. Они не стеснялись присутствующих, не говоря об их дочери. К ним даже редко ходили гости, чтобы не стать случайными свидетелями каких-то тяжелых, невыносимых сцен, но от этого ни у него не прекращались дружеские взаимоотношения со многими людьми, ни у нее. Их семейные дела никого не касались, не считались чем-то заслуживающим внимания. Он был прекрасным, нежным, чувствительным, легким на слезы человеком, с чуткой совестью, с большим вкусом. Он знал три языка и был хорошим специалистом в своей области и так

далее — все, что можно сказать о человеке хорошего, все было сказано над ним во время кремации, а жена его во время этих речей испуганно плакала, и впору было тут же начать хорошо говорить о ней, а то получалось настоящее судилище, а ведь она тоже была хорошим человеком. Но все, что говорилось хорошего о нем, все это было невольным, косвенным обвинением ей, хотя никто ничего не подразумевал. И в конце концов, это она могла лежать в неузнаваемом виде в гробу, это все зависело от случайности, разве что только исключить то, что она была женщиной и ее очень трудно представить в таком беспомощном состоянии, в каком находился он в течение этих пяти дней. Уж наверняка она, цепкая, как все женщины-матери, как-нибудь нашла бы выход из положения, не стала бы есть высохший чай из чайника и крахмал из банки. Она бы наверняка что-нибудь бы придумала, нашла бы выход из положения, раскрыла бы дверь квартиры и легла бы на пороге, чтобы кто-нибудь увидел, если уж не было сил выходить. А у него ведь были какие-то силы даже после этих пяти дней, сумел же он в конце концов вскарабкаться на подоконник! Она бы нашла выход из положения, потому что у нее была дочь, а это много значит не только в том смысле, что дочь стала бы ухаживать за матерью, нет: дочь была еще слишком мала, нет, дочь наверняка бы заразилась, и именно матери с ее температурой, бредом и бессознательным состоянием пришлось бы и идти в магазин и в аптеку, и готовить, и влажной тряпкой подметать в квартире, чтобы ребенку было чем дышать. Так что трудней было бы представить себе именно жену в гробу по такому малому, несерьезному поводу, как ссора. Но все равно, мало ли что бывает в жизни, ведь с женщинами тоже случаются такие казусы, как самоубийство, и едва ли не чаще, чем с мужчинами, только не с женщинами-матерями. Может быть, все то, что произошло с мужем, могло произойти и с женой, не будь у нее дочери, не будь ей необходимо жить во всех, любых обстоятельствах.

Но все равно, и ребенок, которого так всегда, во всех случаях женщины выдвигают как главный аргумент своей жизни, в этом случае не мог приниматься во внимание. И ведь никто не думал обвинять жену, что она осталась жива, и не нужны были никакие смягчающие обстоятельства типа наличия ребенка. Обвиняли ее только за одну небольшую вещь — и, как всегда в таких случаях, именно эту вещь никто не мог понять и все качали головами. Вернее, две вещи, из которых особенно первую никто не мог понять.

Жену не обвиняли в том, что она не приходила ухаживать за мужем в течение пяти дней, пока он лежал абсолютно один безо всяких продуктов и лекарств. В конце концов, люди поссорились, жена забрала ребенка и ушла в чем была, ничего с собой не взяв, и это в такие морозы — это о чем-то говорит, хотя бы о состоянии аффекта. И вполне понятно, что она не хотела приходить, хотя у нее не было ничего, кроме того, что на ней. Она, очевидно, хотела как можно дольше бы не приходить, потому что знала, что муж знает, что она должна когда-нибудь прийти за чемоданами и за вещами. Эта необходимость все-таки вернуться и то, что муж снисходительно знает, что жена никуда не денется и все-таки придет, несмотря на свою клятву больше не переступать этого порога, — все это могло задержать жену на больший срок, чем пять дней. Само сознание того, что к клятвенным обещаниям относятся с насмешкой, с убеждением в их актерстве, лживости, — это сознание может кого угодно именно подстрекнуть выполнить именно эти обещания, хотя насмешка может быть просто-напросто шантажом и подстрекательством именно выполнить эти клятвенные обещания.

Это все, правда, достаточно поверхностно, чтобы полностью объяснить те чувства, которые испытывала жена, все-таки придя за вещами. Жена, как видно, мучилась, что вынуждена все-таки прийти и что действительно ее клятва не приходить, произнесенная с яростью и слезами, оказалась обыкновенным актерством и пустой фразой.

Жена поэтому, не глядя в сторону мужа, который лежал на диване, стала быстро собирать необходимые вещи, особенно учебники дочери и ее всякие нужные в школе предметы. Жена, очевидно, старалась не обращать внимания на мужа, но все-таки она заметила и потом рассказывала, что он показался ей грязным, обросшим и очень худым, но она старалась не углубляться в это впечатление, занятая своим упорным трудом. Затем она увидела пустые коробочки и пакеты, валяющиеся на полу среди разлитой воды. Жена, вернувшись в комнату, сделала на эту тему замечание, и тут снова началась обычная ссора, совершенно обычная, и, когда он заплакал, жена пошла к шкафу и стала собирать свои вещи. Она обернулась, только почувствовав струю морозного воздуха. Муж стоял на подоконнике. И вот что, во-первых, вменяется ей в вину сейчас: вместо того чтобы подбежать и снять его с подоконника, она резко, демонстративно отвернулась и продолжала собирать вещи. Это долж-

но было показать мужу, что она ему не верит, как он не верил ей, и считает этот его жест позой, пустым актерством, желанием спекулировать, капризом и так далее. Но, с другой стороны, то, что она отвернулась к шкафу, теперь уже можно считать прямым подстрекательством к самоубийству. Вот в чем ее обвиняют, во-первых.

Во-вторых, когда он бросился вниз головой с седьмого этажа, она не побежала вниз сразу, а спустилась, только когда уже даже карета «Скорой помощи» давно увезла его. Она говорит, что в это время собирала вещи. Сколько же прошло времени? Почти час, наверное, пока вызвали карету «Скорой помощи» и так далее. Вот это вторая причина, по которой ее осуждают.

Но, в общем, в учреждении, где он работал, теперь говорят, что у них в учреждении было четыре с половиной человека, да и из тех один бросился с седьмого этажа, и, как это ни анекдотически звучит, это факт.

БОГЕМА

Из оперы «Богема» следует, что кто-то кого-то любил, чем-то жил, потом бросил или его бросили, а в случае Клавы все было гораздо проще, хотя ее-то с полным основанием можно было назвать богемой, ибо она ни денег, ни пристанища не имела, училась восьмой год как-то заочно в библиотечном институте, ела три дня в неделю и только шаталась из дома в дом в компании таких же, как она, проходимцев, из которых ни с одним у нее не было никакого романа; однако именно она являлась единственной женщиной маленького круга богемы, самой высокой богемы в их городе, ибо они по-настоящему не имели ничего, ни крыши, ни чем прикрыться зимой, ходили кто в плаще, кто без шапки; летом пятки Клавдии повергали приличных людей в смущение, но таковы и были неприкрытые пятки много ходящей по улицам молодой женщины и таковы должны были быть и ноги, и лицо, и волосы, и такой, без претензий, молчаливой, должна была быть богема, которая нигде не остается, а всегда уходит и неведомо когда и где ест и ночует. Она писала то ли стихи, то ли романы, даже читала их, и в своем кругу она была не хуже любой поэтессы в любом

кругу, какое время и какой круг ни взять; а летом они вдруг бурно срывались с места и находили себе пристанище где-нибудь на севере, по избам, и то ли собирали песни, то ли сами пели на свадьбах, во всяком случае, Клавдия как-то летом много ездила на попутных грузовиках бог знает по каким дорогам, в том числе и по таким дорогам, на которых приходилось то подскакивать до крыши фургона, то удариться теми же самыми пятками о дно кузова, и вот тут-то богему Клавдию и подстерегло совершенно непонятное дело: у нее страшно заболел живот. Однако надо было ехать, уж если снялись с места, такое было правило, и Клавдия с двумя сопутешественниками вынуждена была подвигаться все вперед и вперед, сидеть на каких-то гнилых обочинах в болотистых лесах, валяться на сеновалах, оправляться в кустах и на задворках, при этом еды Клавдии уже не нужно было никакой. Она хирела на глазах, если бы чьи-нибудь глаза за ней смотрели, но никто за ней не смотрел, ибо два ее попутчика решили уйти и ушли, а Клавдия себя не видела и не знала, что с ней. Но, во всяком случае, она добралась до пристани и села в четвертый класс парохода, в глубокую яму под водой, где пахло отработанным газом и где ее один раз даже побеспокоили контролеры, но отступились, чем-то увлекшись на стороне, какими-то громко кричавшими о билетах нерусскими людьми. Когда пароход пришел, Клавдия в полудреме вышла на свет божий, добралась до электрички, а живот у нее все болел, и ехала, пока наконец не очутилась в родных местах на н-ской платформе. Здесь ее нашла лежащей на участке у дома мать, здесь Клавдия перебралась на чистую постель после долгих странствий, и здесь, выйдя за малой нуждой рано утром под куст шиповника, она внезапно выпустила из себя струю крови, и все сразу разъяснилось, ибо это был выкидыш, и довольно крупный. Мать, провожавшая под куст Клавдию, сказала, что был мальчик, и Клавдия потом многим рассказала, что у нее должен был родиться мальчик — через столько-то месяцев, потом столько-то месяцев назад, она считала свои сроки как настоящая мать, хотя и прибавляла при этом, что это все было делом случая и она раньше ни о чем не подозревала. Но все воспринимали ее расчеты и рассказы с каким-то странным чувством, и все дружно молчали в ответ, словно бы не зная, что с этим фактом поделать. Поэтому и Клавдия со временем умолкла, и только мать ее, затратив много денег, зачем-то перенесла уборную на новое место, а на старом, засыпанном, посадила рябинку и березу.

Страшно рассказывать эту историю, а началась она с того, что я поймала такси. То-се, пожаловалась, что сегодня утром заказанное такси не явилось, даже не позвонили. Из-за этого, пожаловалась я, бабушка семидесяти трех лет опоздала на поезд, итого мы все переволновались, бабушку не встретили, дети поехали в Москву, а бабушка опять-таки на такси к ним в деревню, все разминулись, ушел целый день и много денег.

— Ну жалуйтесь, — сказал таксист, — напишите.

— Даже не позвонили.

— Я, — сказал таксист, — однажды тоже завяз в новом районе, попал в яму, автоматов нет, бегал-бегал, уже пять минут, как я должен, а я никак. Остановил другого таксиста, попросил его позвонить. До сих пор не знаю.

— Самое жуткое — это что бабушка переволновалась.

— Не самое жуткое, — ответил таксист.

— Мало ли, какие бывают последствия.

— Я тоже один раз оказался в Тропареве, а у меня заказ в Измайлово. Вот я гнал. Успел.

Таксист был лет сорока, такого слабого типа, в ковбойке с потрепанными обшлагами. Слабый рабочий, по словам одного умершего голубого, гениального режиссера. Слабый рабочий или молодой слабый рабочий, пальчики оближешь: не сопротивляется. Глаза как бы с поволокой, прикрытые и небольшие. Портрет здесь важен для дальнейшего. Ввалившиеся щеки, но в такси потом не пахнет. Слабые рабочие обычно редко моются, по субботам, и по субботам же совокупляются, после бани. Стало быть, этот не таков. Но дело не в том.

Дальше разговор потек в том смысле, что таксист как будто всем подтекстом уверял меня не жаловаться на того таксиста, все бывает.

— А вы завтра работаете?

— Работаю, — сказал он, насторожившись.

— Со скольки?

— С часу.

— А то у меня завтра такси заказано в аэропорт на шесть утра, боюсь, что не придет. Вот будет дело! Утром ничего не достанешь.

Он обошел этот вопрос стороной и сказал: то, что я ему

рассказала о своей беде, ровно ничего по сравнению с тем, что бывает.

— Ничего-то ничего, — сказала я кисло, поскольку у каждого свое, — но, конечно, это не самое страшное.

— Не самое страшное, — эхом повторил он. — Бывает такое!

— Ой, не говорите. Знакомая рассказала про свою однокурсницу, она поехала с двумя детьми к свекрови в Сибирь. Зима, морозы, младший мальчик годовалый заболел пневмонией, больницы нет, она его повезла на станцию, сели в поезд, там он по дороге умер. Привезла мертвого мальчика и живую девочку пяти лет. Муж встречал на вокзале, увидел такое дело, избил жену, сломал челюсть, попал в тюрьму на четыре года. Она осталась одна с девочкой, сама не работала. Стала подрабатывать в газете, писала всякие мелочи. Рублей сорок — пятьдесят штука. Поехала с дочерью за деньгами в редакцию, а дело шло к закрытию. Дочка упиралась. Она ее волокла и уже в вестибюле редакции дала девочке пощечину и попала по носу. У девочки пошла кровь. Вахтерша вызвала милицию. Девочку отобрали и лишили мать родительских прав. Все. На суде объявили ее психически ненормальной и недееспособной. Все.

Он как-то странно посмотрел на меня, как-то выразительно. Так однажды смотрел в мою сторону эксгибиционист в пустом вагоне ночной электрички. Я вошла, сослепу села неподалеку, обернулась, а он сидит и смотрит на меня, как бы гордясь, утомленно и выразительно, а в руках держит свое богатство. Ужас охватил меня.

Тем не менее мы уже приближались к моему дому. Схватила я такси на Каланчевке, там обычно столпотворение у трех вокзалов, стоит дикая очередь на стоянке такси, нервотрепка, узлы и чемоданы, орущие родители с детьми. А на другой стороне площади таксисты едут осторожно и выбирают седоков. Услышав, что мне недалеко, он и согласился. Тихий немолодой слабый рабочий. Жаловаться он меня не отговаривал (я жаловаться собиралась только ему), но заступался за шоферскую братию подспудно, не в лоб. Заступался так, что сердце переполнялось ужасом, и до сих пор он стоит перед глазами — сидящий, слабый, тихий и отрешенный. Грубые руки с сильными ногтями слабо лежали на руле.

— Спать хочется, — говорю я, — ночь собирала детей, эту ночь опять собираться.

— Это ничего. Это ничего, — сказал он в ответ. — Я не сплю уже месяц.

— Самое лучшее лекарство — валерьянка, — сказала я ему, как идиотка, ничего не зная. — Моя одна знакомая перепробовала все, остановилась на валерьянке.

— Не помогает, — откликнулся он, продолжая свою глухую защиту чести шоферов. — Не сплю.

— Главное, — продолжала я нападать на честь шоферов, — очень страшно за бабушку. Все-таки семьдесят три года!

— Ничего, ничего.

— Мало ли.

Он сказал:

— А я вот мучаюсь виной. Я виноват.

Я как-то глухо промолчала, переваривая это сообщение.

Он сказал следующее:

— У меня умерла дочь четырнадцати лет.

Так.

— Недавно, пятого июня.

Вот почему он не спит, бедный шофер.

Он посмотрел на меня своими бедными глазами.

Я почему-то сказала:

— Самое страшное — это первый год. Первый год самое страшное.

Он ответил:

— Прошел месяц. И я виноват.

Я потеряла вообще соображение, где, что и когда. Мы ехали.

— Может быть, вам кажется, что вы виноваты?

— Нет. Я много себе позволял. Я подготовил это. Я... Что говорить.

Я ответила:

— У меня есть знакомый, у него сын повесился, двенадцати лет. Позвонил ребятам: приходите, я вешаюсь, — а они не пришли. Он и повис. Мать пришла потом. Она не могла плакать. И отец не мог.

— Я уже выплакал все, глаза сухие. Сухие глаза.

Он посмотрел на меня своими сухими полузакрытыми от слабости глазами.

— Я виноват.

Я не могла ничего спрашивать, что спрашивают обычно люди из любопытства, как и что. Я кинулась в бой.

— Знаете, они три года обождали и родили еще сына. Сейчас ему десять.

— Знаете, когда человеку сорок четыре года...

— А жене сколько?

— Жене сорок два.

— Моя знакомая родила в сорок четыре года. Сейчас девочке уже семь лет. Хорошая такая девочка.

— Знаете, жена там.

— В психушке?

— Там. Врачи говорят, что это все.

— Тяжелое состояние?

— Да. Совсем.

— Значит, это еще поправимо. Буйное как раз вылечивается.

Далеко мы зашли с защитой чести шоферов. Что же такое с ним произошло и с его дочерью? Четырнадцать лет, страшный возраст. Не углядел. Он виноват.

— Знаете, — говорю я, — у Андерсена есть такая сказка. Не входит в сборник для детей. У матери умер ребенок. Мать пошла к Богу и говорит: отдай мне моего ребенка. Бог отвечает: пойдем в сад. Пошли. Там на одной грядке растут тюльпаны. Бог говорит: это будущие жизни родившихся детей, один из них твой. Посмотри в них: захочется ли тебе такой жизни для твоего ребенка? Она посмотрела, ужаснулась и сказала: ты прав, Господи.

— Я не верю, что она на небе. Вы когда-нибудь теряли сознание?

— Теряла.

— Ведь ничего же не чувствуешь. Меня вернули после смерти. Я ничего не помню. Там ничего нет.

— Вы с ней встретитесь, — сказала я.

— У меня был знакомый буддист. Я не верю.

— К вам кто-нибудь придет. Вы не гоните. Это придет она. У меня так было. Я шла поздно вечером зимой, увидела кота, он сидел, прижавшись к земле. Через час иду домой, он сидит на том же месте, а его уже занесло снегом. Днем там продавали пирожки с мясом, он наелся объедков, а кошкам вредно, людям ничего, а кошки гибнут. Я его взяла к себе. Вымыла. Высушила у газовой духовки.

— Я знаю, некоторые берут кошек, собак. Я не могу.

— Потом он исчез через полтора месяца. Больше я его не видела. А потом я поняла, кто это ко мне приходил.

— Я виноват, — сказал шофер.

— Все виноваты.

Что я говорила, что толковала, я не помню. Я убеждала его подождать год, потом убеждала его уйти в отпуск.

— Мне на работе легче. Тем более что отпуск я отгулял. Я на даче перекрывал сарай, делал там окно. На даче. Все было хорошо. Дочь с женой приехали, вместе ехали обратно, за пять дней до смерти. Потом они шили вместе, дочка брюки, жена платье. Советовались, все было хорошо. Я виноват, — твердил он.

Мы все ехали по этому пути.

— Я не могу смотреть на детей, плачу. Теперь уже не плачу, отвернусь, не могу.

— Год. Год еще, — твердила я.

— Тут я вез одних с собачкой. Это все, что у них осталось от дочери, собачке двенадцать лет. Она хрипит уже, они ее колют, лечат, трясутся над ней. Десять лет назад умерла дочь. Все помнят.

— Да, как один человек кричал: не хочу другого мальчика! У него сына убили восемнадцати лет.

— Да, я раньше смотрел на чужих детей и завидовал, а теперь они мне все чужие. Знаю, что они мне не нужны. Мне нужна она. Она была мне не просто дочерью, а другом. Бывало, идешь в магазин, она сидит делает уроки. Говорит: Папа! А ты куда? — В магазин. — А я? — говорит. И шла со мной, только если уроков много, тогда оставалась.

И опять он завел свою шарманку: виноват я, виноват, всем поведением своим подвел к результату.

Все, мы уже остановились. Я никак не могла выйти, потому что он все говорил. Мало того, я не хотела выходить, хотя дома меня ждали все, я опоздала страшно, надо было собираться. Как-то надо было что-нибудь ему сказать.

— Ведь вы знаете, мою дочку зверски убили.

Я ответила, что знаю. Поняла. Господи! Что это за вина, Господи, не сохранил, не уберег.

— За пять дней до смерти она приехала ко мне на дачу с матерью. Я увидел ее и так испугался! Почему? Так страшно испугался, увидев ее!

Он уже предчувствовал. Хотя обычно пугаются тех людей, которые преследуют. Если он действительно, что называется, «позволял себе» с другими женщинами, то страшнее всего страдают не жены, а дочери. Но это так. Пугаются тех, перед кем виноваты. Не любят тех, перед кем виноваты, и избегают их.

— У нее было такое лицо! А потом мы ехали все вместе домой, я их отвозил.

— Вы никого сейчас не любите?

— Никого.

— Это единственное спасение. Любите кого-нибудь, пожалейте свою жену. Вы к ней ходите?

— К ней не пускают. Я думал, но я не хочу заводить семью. Я люблю брата. Но это так.

— Не бросайте ее.

Он опять странно посмотрел на меня.

— Они так сидели обе и шили мирно за пять дней до смерти. Я виноват, я не сделал того, что надо было сделать. Так как-то думал, ладно. Вы знаете...

Пауза.

— Вы знаете, — сказал он, — это моя жена убила дочь. Она сидит в тюрьме, в Бутырках. Там есть отделение для сумасшедших.

Пауза.

— Она пришла сама в милицию и принесла окровавленный нож и топор и говорит: погибла моя дочь.

— Ее сразу арестовали?

— Сразу. У нас в доме четыре года назад убили в квартире женщину ножом. Они теперь вешают на нее это дело.

— А адвокат?

— Адвокат пока не может по закону. Допустят, когда предъявят обвинение... Потом ее еще должны повезти на экспертизу.

— А вдруг это не она? Как же так? Она в шоке и без памяти. Надо какого-нибудь гипнотизера. Гипнотизер под гипнозом может у нее все узнать. Может, дочку убили, а она в шоке.

— Да она давно как-то... Я замечал.

— Например.

— Например. Вот сидит у телевизора и конспектирует программу «Время», все новости. И потом дает комментарий. Я прямо покачнулся.

— Да. Это да. Но это же совсем не то! Она была агрессивная?

— Один раз так пошла на меня, сжав кулаки.

— Один раз?

— Один.

— Да вы смеетесь, что ли? Вы знаете, что бывает в семейной жизни! Один раз! Вы что!

— Правду сказать, и я не сахар. Я от нее отдалился последний год. Совсем не любил, только дочку. Не было такого контакта.

— Вот это действительно, это тоже похоже.

— Дочка-то была ближе как раз ко мне. А жена давно не

работает. Ее, короче, выгнали с работы. Поссорилась там с кем-то. Мы же с ней вместе институт заканчивали. Потом я пошел в таксисты. А она, ее выгнали из НИИ, устроиться не могла, сейчас НИИ сокращают. У нее была депрессия.

— Еще бы! Когда меня выгнали с работы, я помню!

— У нее была депрессия, и больше она никуда устроиться не могла.

— А тут еще вы.

— Я виноват. Я один раз вызвал платного врача-психиатра, она говорит: ну что, вызывайте психоперевозку, кладите в больницу.. Но я как-то... Знаете... Не сделал этого.

— Жалко было?

— Да нет. Так как-то... Мы с дочкой... Не думали ни о чем... Я много себе позволял, вот что. Я виноват.

Сидит одна в безумии в тюрьме, ожидая казни.

6 июля 1989 г.

ГОСТЬ

Я пригласила все-таки к себе в гости этого Толю, этого очаровательного Толю, у которого щеки уже начинают обвисать, и сказала ему:

— Толя, ну зачем же вы стареете, так рано и стареете, помните, каким вы были очаровательным в молодости?

И все у нас в порядке, музыка играет, свеча горит, к утру от нее остался в подсвечнике один горелый фитиль. Толя, как всегда, нудный до предела, заводит речь издалека, открывает бутылку, я приношу с кухни жареной картошки, Толя легонько накладывает себе вилочкой на тарелочку, добавляет грибков, сидит, руки на коленях, затем наливает по полной и в стаканы пиво, чтобы запивать.

Конечно, это была с самого начала безумная затея — запивать пивом водку, но я как-то этому не придала значения, мне все было трын-трава в этот вечер, а может быть, я именно этому придавала большое значение. Во всяком случае, мы были одни, наутро соседи могли черт знает что подумать, тем более что все так невероятно кончилось, но это тоже меня не волновало и не волнует.

Короче говоря, Толя заводит речь издалека, говорит сво-

им нежным голосом какую-то чушь, хотя он одарен необыкновенно тонким вкусом и все ощущает так, как надо. Но все это он говорит так долго, нудно, пережевывает все одну и ту же мысль, что он потерян, что потерял нить жизни, что его ничто не волнует, никакие вещи, что он иногда сам для себя решает что-нибудь совершить, испытать, кидается в крайности, но остается все таким же равнодушным.

— Толя, — говорю я ему, — неужели вам никогда не хочется радости, счастья, неужели вы не язычник, не поклонник земли и неба?

— Нет, я хотел бы страдания, я хотел бы страдать, я не умею радоваться, вот честное слово, не способен радоваться.

— Толя, — говорю я ему, — ну а вот эти ваши бесконечные дни рождения у ваших подруг и друзей, неужели эти праздники вас не развлекают? Я понимаю, конечно, но все-таки иногда надо быть немного и язычником, надо поклоняться просто земле, ее радостям, вину...

— Нет, — оживляется Толя, — я только приезжаю домой на такси, и лишняя трата нервов просить у мамы деньги каждую ночь.

— Но вот консерватория...

— А что консерватория, — задумчиво говорит Толя, — выходить оттуда просветленным, как у нас дома старая Лиза? Если мать ее побьет, обругает, выгонит из кухни, она идет в церковь и возвращается оттуда просветленная, простившая. Я потому такой странный, — говорит Толя, — что мать меня родила, когда ей было сорок, а отцу пятьдесят.

— Вы считаете, что тут сыграло свою роль то, что они вас очень любили и ласкали?

— Нет, — отвечает Толя, — дело, видимо, не в этом.

Он начинает распространяться долго и нудно о том, насколько тяготеет над человеком тайна его рождения.

— Толя, — говорю я ему после долгих, нудных разговоров о том, что человек предопределен еще до своего рождения, — но почему все-таки вы мне звоните? Звоните и звоните. Я иногда подхожу к телефону, вы чувствуете, как я с вами разговариваю, как стесненно у меня это выходит? Я просто никак не могу истолковать, зачем я вам нужна. Я даже сама, когда звоню вам, тоже не могу никак истолковать, зачем я звоню вам, и каждый раз перед этим останавливаюсь у телефона, но каждый раз, не поняв ничего, насильственно набираю ваш номер и веду какие-то насильственные, не освященные никакой целью разговоры. У вас,

наверное, тоже такое чувство, что вы не понимаете, зачем я вам опять позвонила, и долго над этим размышляете, но ничего не понимаете и все-таки через какое-то время опять идете к телефону и звоните мне. Зачем вы мне звоните, ну вот скажите, Толя? Я уверена, что вы не знаете зачем. Только совершенно откровенно, нам с вами друг другу нечего скрывать и не к чему.

— Вы мне нравитесь. А вы зачем мне звоните?

— Я хочу вас понять. Все эти ваши слова — они как-то проходят мимо меня, я никак их не соединяю с вами, с вашим прелестным обликом. Мне иногда кажется, что я протягиваю руку к вам и моя рука проходит сквозь вашу грудь и сквозь вас. Вы понимаете? Вы чем-то бесплотны, или мне это кажется, или я ошибаюсь, но я снова и снова убеждаюсь, что я права.

— Вы ведь сами парадизка.

— В каком смысле, Толя? В каком смысле я парадизка? Парадиз — это рай? Как это я парадизка? Вы можете мне это объяснить? У меня опять такое ощущение, что, если я до вас дотронусь, моя рука пройдет насквозь. Если я до вас дотронусь, то я просто дотронусь до спинки стула.

Толя пожимает плечами и пьет пиво.

— Послушайте, Толя, у меня опять такое чувство, которое охватывает меня, когда я подхожу к телефону, чтобы позвонить вам. Зачем все это нужно? Это как-то неестественно, напряженно, у вас нет такого ощущения? Зачем вы мне звоните, зачем вот вы ко мне пришли и я жарила картошку, причесывалась, зачем? Зачем вы покупали водку и особенно пиво, зачем пиво, запивать? Как это можно, запивать водку пивом? Зачем это нужно? Что вы мне на это скажете? Ну пиво-то зачем?

— Запивать. Это так принято.

— Ну и что дальше?

— Что — дальше?

— Ну, запьем водку пивом, заедим картошкой, а дальше? Я не в том смысле, что нам с вами предпринять и какое у нас может быть будущее, а просто: что дальше? Что же дальше-то? Ладно, Толя, расскажите, как у вас дела на работе. Я же ничего о вас не знаю, как вы там работаете? Не замыкайтесь, пожалуйста, у нас ведь не может быть тайн друг от друга, мы ничем не связаны. У людей, которые ничем не связаны, как мы с вами, как попутчики в поезде, как больные в больнице, не должно быть тайн. Мы не заинтересованы друг в друге, правда, Толя? Вы скажите: да!

Если вы будете так сидеть надувшись, я вас отправлю домой. Правда, мы не заинтересованы друг в друге? Ну что же?

— Почему надувшись я слушаю вас. Я могу сказать еще раз, что вы мне нравитесь. Давайте выпьем: такой стол, такая водка, такие грибки.

— Вы все-таки в чем-то язычник, сознайтесь, Толя! Я вас все-таки разгадала, несмотря на то что вы мне все еще не известны. Вы любите вашу работу? Сколько вы получаете? У вас там хорошо платят?

— У нас там платят маловато.

— А вы? Сколько вы? Я хочу о вас знать!

— Я получаю пока там маловато, но у меня два свободных дня. То есть как свободных: я беру перед тем массу папок с собой домой и предупреждаю начальницу, что я буду работать дома. Через день я приношу все эти папки обратно на работу.

— Боже мой, давайте выпьем, Толя! Налейте мне и пива, все равно.

— Я очень хорошо устроился, практически приходится бывать на службе три дня в неделю.

— За ваше здоровье, Толя, наверно, когда вам было восемнадцать лет, вы были безумно прелестны. У вас еще год назад были волосы другого цвета, сейчас вы потемнели, а тогда у вас были прелестные волосы, какого-то необыкновенного цвета.

— В восемнадцать лет, — отвечает Толя, запрокинув голову и глядя издали на свечу, — в восемнадцать лет я ничего не помню, у меня ничего не отложилось в памяти, так как я был занят половым созреванием.

— Безумно интересно, Толя! Это какие-то новые нотки у вас появились, это, наверно, виновато пиво, которым вы так усердно запиваете водку. Ну, ничего. Что же с вами было в восемнадцать лет? Потом, я слышала, вы были женаты и теперь разошлись. Не надо расходиться, это безумно больно.

— Ничего, ничего там не было такого. Это был брак по расчету. Моей жене необходимо было как-то закрепиться здесь, ей нужно было, чтобы у ее дочери была фамилия и так далее.

— Ну а у вас, какой расчет был у вас, Толя? Какую выгоду для себя вы приобрели, какой смысл был вам жениться на женщине с ребенком? Это придало вам солидности? В этом я вас не понимаю. Не таитесь, откройтесь мне

как другу. Вы ведь скрываете все от меня, а это нехорошо. Вы ведь были прелестны, если бы не ваши щеки, не надо так пить, Толя! Это вас старит, вы не должны стариться, как бог Эрос!

— Разрешите, я на минуточку прилягу, — ответил мне на все это Толя и лег на тахту и проспал до девяти часов утра. Я все убрала и сидела, как в прошлом веке, со свечой, а потом достала пижамку из-под головы Толи, из-под подушки, и легла спать на раскладушку, благо у меня вся постель была убрана в шкаф.

Ночью Толя один раз вскочил и быстро-быстро забормотал: «В этой комнате раньше был выход, а теперь в этой комнате нет выхода». — «Что вы, Толя, — ответила я ему, — что с вами?» Он сидел на тахте одетый, желтый при свете свечи, а потом сказал: «Одну минуточку» — и опять упал и проснулся как ни в чем не бывало в девять часов утра.

Я уже в это время пила чай на кухне, что-то мне захотелось чаю, и думала, в какое дурацкое положение перед соседями поставил меня этот Толя. Толя же проснулся как ни в чем не бывало, попил со мной чаю и до двенадцати дня сидел и опять долго и нудно говорил о том, насколько у него в сознании распалась связь времен, рассказывал содержание фильма, которого я еще не видела, и в заключение попрощался и вышел.

Теперь у меня от всего этого головная боль.

Я еще не знаю, что через год он покончит с собой, бросившись из окна.

В садах других возможностей

НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ

(Хроника конца XX века)

Мои папа с мамой решили быть самыми хитрыми и в начале всех дел удалились со мной и с грузом набраниых продуктов в деревню, глухую и заброшенную, куда-то за речку Мору. Наш дом мы купили за небольшие деиьги, и он стоял себе и стоял, мы туда ездили раз в году на конец июня, то есть на сбор земляники для моего здоровья, а затем приезжали в августе, когда по заброшеииым садам можио уже было набрать яблок, терновки-сливки и одичавшей мелкой чериой смородииы, а в лесах была малина и росли грибы. Дом был куплен как бы на развал, мы жили и пользовались им, ничего не поправляя, пока в один прекрасный деиь отец не договорился с шофером, и мы весиой, как только просохло, отправились в деревню с грузом продуктов, как Робиизоиы, со всяким садовым иивентарем, а также с ружьем и собакой борзой Красивой, которая, по всеобщему убеждению, могла брать осенью зайцев в поле.

И отец иачал лихорадочиые действия, он копал огород, захватив и соседиий участок, для чего перекопал столбы и перенес изгородь иесуществующих соседей. Вскопали огород, посадили картофеля три мешка, вскопали под яблонями, отец сходил и нарубил в лесу торфа. У иас появилась тачка иа двух колесах, вообще отец активно шуровал по соседним заколочеииым домам, заготавливал что под руку попадется: гвозди, старые доски, толь, жесть, ведра, скамейки, ручки дверные, оконные стекла, разное хорошее старье типа бадеек, прялок, ходиков и разное ненужное

старье вроде каких-то чугунков, чугунных дверок от печей, заслонок, конфорок и тому подобное. Во всей деревне было трн старухн, Аннсья, совсем однчавшая Марфутка и рыжая Таня, у которой единственной было семейство и к которой на своем транспорте наезжалн детн, что-то привозили, что-то увозилн, прнвозили городскне банки консервов, сыр, масло, пряники, увозили соленые огурцы, капусту, картошку. У Танн был богатый погреб, хорошнй крытый двор, у нее жил какой-то замученный внук Валерочка, вечно страдавший то ушами, то коростой. Сама же Таня была медсестра по образованию, а образование она получила в лагере на Колыме, куда Таня была отправлена, за украденного из колхоза поросенка, в возрасте семнадцати лет. У Танн не зарастала народная тропа, у нее топилась печка, к ней приходила пастушиха Верка из соседней обитаемой деревнн под названием Тарутнно и крнчала еще издалека, я наблюдала: «Таня, чаю попнть! Таня, чаю попнть!» Бабка Анисья, единственный человек в деревне (Марфутка не в счет, а Таня была не человек, а преступник), сказала нам, что Таня в свое время была здесь, в Море, завмедпунктом и чуть ли не главным человеком, у нее делались большие дела, полдома она сдавала под медпункт и тоже шли деньги. У Тани и Аннсья поработала пять лет, за что и осталась вообще без пенсии, поскольку не доработала в колхозе до положенных двадцати пяти лет, а пять лет подметания в медпункте не считаются для выплаты пенсии как рабочему. Мама съездила было с Аннсьей в собес в Прнзерское, но собес был уже навеки и безнадежно закрыт, и все было прикрыто, и мама быстро пешком дотопала двадцать пять километров до Моры с напуганной Анисьей, и Анисья с новым рвением принялась копать, рубить в лесу, таскать сучья н стволы к себе в дом: спасалась от перспективы голодной смерти, которая ожидала бы ее в случае безделья, и живой прнмер тому являла Марфутка, которой было восемьдесят пять лет, и она уже не топила в нзбе, а картофель, который она кое-как перетаскала к себе в дом, за зиму замерз н теперь лежал гнилой мокрой кучкой — все-таки Марфутка за зиму кое-что подъела да и со своим единственным добром, гнилой картошкой, не желала расставаться, хотя мама меня к ней однажды послала с лопатой все это выскрестн. Но Марфутка не открыла мне дверь, разглядев в заткнутое тряпкамн окно, что я иду с заступом. Марфутка то ли ела картошку сырой прн полном отсутствии зубов, то ли разводила огонь, когда никто не видел, —

неизвестно. Дров у нее не было ни полена. Весной Марфутка, закутанная во множество сальных шалей, тряпок и одеял, являлась к Анисье в теплый дом и сидела там как мумия, ничего не говоря. Анисья ее и не пыталась угощать, Марфутка сидела, я посмотрела однажды в ее лицо, вернее в тот участок ее лица, который был виден из тряпья, и увидела, что лицо у нее маленькое и темное, а глаза как мокрые дырочки. Марфутка пережила еще одну зиму, но на огород она уже не выходила и, видимо, собиралась умирать с голоду. Анисья простодушно сказала, что Марфутка прошлый год еще была хорошая, а сегодня совсем плохая, уже носочки затупились, смотрят в ту сторону. Мать взяла меня, и мы посадили Марфутке картошки так с полведра, а Марфутка смотрела за нами с задов своего домишки и беспокоилась, видно, что мы захватили ее огородик, но доползти до нас она не посмела, мать сама пошла к ней и дала ей полведра картошки. Видимо, Марфутка поняла, что ее огород покупают за полведра картошки, и не стала брать картошку, сильно испугавшись. Вечером мы с мамой и папой пошли к Анисье за козьим молоком, а Марфутка сидела там. Анисья же сказала нам, что она нас видела на Марфином огороде. Мама ей ответила, что мы решили помочь бабе Марфе. Анисья же возразила, что Марфутка собралась на тот свет, нечего ей помогать, она найдет дорогу. Надо сказать, что Анисье мы платили не деньгами, а консервами и пакетами супов. Долго это продолжаться не могло, молоко у козы было и прибывало с каждым днем, а консервами мы только и питались. Надо было установить более жесткий эквивалент, и мама сказала тут же после разговора с Анисьей, что консервы кончаются, есть нам самим нечего, так что молоко покупать не будем. Анисья, человек смекалистый, ответила, что завтра принесет нам баночку молока и поговорим, может, если у нас есть картошка, тогда поговорим. Анисья, видимо, злилась на то, что мы тратим картофель на Марфутку, а не на покупку молока, она не знала, сколько мы извели картофеля на Марфуткин огород в голодное весеннее время (месяц май — месяц ай), и воображение у нее работало, как мотор. Видимо, она прорабатывала варианты Марфуткиного скорого конца и рассчитывала снять урожай за нее и заранее сердилась на нас, владельцев посаженного картофеля. Все становится сложным, когда речь идет о выживании в такие времена, каковыми были наши, о выживании старого немощного человека перед ли-

цом сильного молодого семейства (матери и отцу было по сорок два года, мне восемнадцать).

Вечером к нам сначала пришла Таня в городском пальто и резиновых сапогах желтого цвета, с новой хозяйственной сумкой в руках. Она принесла нам задавленного свиньей поросенка, завернутого в чистую тряпку. Она полюбопытствовала, прописаны ли мы в Море. Она сказала, что у многих домов есть владельцы и они захотят приехать, если им написать, а это не брошенные дома и брошенное добро, и каждый гвоздь надо купить и вбить. В заключение Таня напомнила нам о перенесенной изгороди и о том, что Марфутка еще жива. Поросенка она предложила купить у нее за деньги, за бумажные рубли, и папа в этот вечер рубил и солил мертвого поросенка, который в тряпке был очень похож на ребенка. Глазки с ресничками и тэ дэ.

Потом, после ее ухода, пришла Анисья с баночкой козьего молока, и мы быстро договорились за чашкой чая о новой цене молока, за банку консервов три дня молока. Анисья с ненавистью спросила о Тане, зачем она приходила, и одобрила наше решение помочь Марфутке, хотя о Марфутке она отозвалась со смехом, что от нее пахнет.

Козье молоко и давленый поросенок должны были уберечь нас от цинги, кроме того, у Анисьи подрастала козочка, и мы решили ее купить за десять банок консервов, но попозже, когда она чуть подрастет, поскольку Анисья лучше понимает, как растить козлят. С Анисьей мы, правда, не переговорили, и эта старая бабка, помешавшись на почве ревности к своей бывшей заведующей Тане, пришла к нам торжественная, с убитой козочкой в чистой тряпке. Две банки рыбных консервов были ей ответом на ее дикое поведение, а мама заплакала. Мы попробовали, сварили свежего мяса, но есть его было невозможно почему-то, папа его опять-таки засолил.

Козочку мы все-таки купили с мамой, отшагав десять и десять километров туда и обратно за Тарутино, в другую деревню, но мы шли как бы туристы, как бы гуляя, как будто времена остались прежними. Мы шли с рюкзаками, пели, в деревне спросили у колодца, где попить козьего молока, купили за лепешку хлеба баночку молока и восхитились молодыми козлятками. Я стала искусно шептать маме, как будто я прошу козленочка. Хозяйка сильно возбудилась, предчувствуя бизнес, но мама на ухо же мне отказала, тогда хозяйка льстиво похвалила меня, сказав, что любит козлят как родных детей и потому мне бы отдала

в руки обоих. Но я сказала: «Что вы, мне одну козочку». Быстро сторговались, тетка явно не знала нынешнего счета деньгам и взяла мало, и даже дала нам комочек каменной соли в дорогу. Видимо, она была убеждена, что сделала выгодное дело, и действительно, козочка быстро начала у нас хиреть, перемучившись в дороге. Положение поправила все та же Анисья, она взяла козленка к себе, предварительно вымазав его своей дворовой грязью, и коза приняла козленка как своего, не убила. Анисья просто цвела.

Самое основное теперь у нас было, но мой неугомонный хромой отец начал уходить каждый день все в лес и в лес. Он уходил с топором, с гвоздями, с пилой, с тачкой, уходил на рассвете, приходил в ночной тьме. Мы с мамой возились в огороде, кое-как продолжали отцовскую работу по сбору оконных рам, дверей и стекол, потом мы все-таки готовили, убирали, носили воду для стирки, что-то шили. Из старых, свалявшихся тулупов, найденных по домам, мы шили что-то типа пимов на зиму, шили рукавицы, сделали для кроватей меховые подстилки. Отец, когда увидел такую подстилку ночью, нащупал под собой, мгновенно скатал все три штуки и утром увез на тачке. Похоже было, что отец готовит еще одно логово, только в лесу, и это оказалось потом очень и очень кстати. Хотя потом оказалось также, что никакой труд и никакая предусмотрительность не спасут от общей для всех судьбы, спасти не может ничто кроме удачи.

Тем временем мы прожили самый страшный месяц июнь (месяц ау), когда припасы в деревне обычно кончаются. Мы жрали салат из одуванчиков, варили щи из крапивы, но в основном щипали траву и носили, носили, носили в рюкзаках и сумках. Косить мы не умели, да и трава еще не очень поднялась. Анисья в конце концов дала нам косу (за десять рюкзаков травы, а это немало), и мы с мамой по очереди косили. Повторяю, мы жили далеко от мира, я сильно тосковала по своим подругам и друзьям, но ничто уже не доносилось до нашего дома, отец, правда, слушал радио, но редко: берег батарейки. По радио передавалось все очень лживое и невыносимое, но мы косили и косили, наша козочка Рая подрастала, надо было ей подыскивать козлика, и мы пошли опять в ту же деревню, где проживала наша владелица еще одного козленка. А ведь она нам его навязывала тогда, а мы и не знали подлинной ценности козленка! Хозяйка козленка встретила нас неприветливо, все уже о нас все знали, но не знали, что у нас есть козочка: наша Райка воспитывалась у Анисьи. Поэтому хозяйка встрети-

ла нас неприветливо: она нам продала, а мы не уберегли, наше дело. Козленка она не стала продавать, муки у нас уже не было, ни муки, ни лепешек — да и ее козленок весил уже много, и три кило свежего мяса стоило неизвестно сколько в то голодное время. Договорились мы только на том, что отдаем ей кило соли и десять брусков мыла. Но это для нас была цена будущего молока, и мы сбегали домой за всем этим делом, предупредив хозяйку, что нам нужен живой козленок. «А что я буду, мараться для вас», — ответила хозяйка. К вечеру мы принесли козленка домой, и пошли суровые летние будни: сенокос, прополка огорода, окучивание картофеля, и все в одном ритме с Анисьей... По договоренности мы брали у Анисьи половину козьих катышков и кое-как удобряли почву, но росло у нас плохо и мелко. Бабка Анисья, освобожденная от сенокоса, привязавши козу и весь козий детский сад в пределах нашей видимости, бегала за грибами и ягодами, заходила к нам и принимала нашу работу. Пришлось заново пересеять укроп, который мы посеяли слишком глубоко, а он был нужен для засолки огурцов. Картофель ударился в ботву. Мы с матерью читали книгу «Справочник садово-огородного хозяйства», а отец наконец-то закончил свои работы в лесу, и мы пошли смотреть его новое жилье. Это оказалась чья-то избушка, отец ее то ли подновил, во всяком случае проконопатил, вставил рамы, стекла, двери, покрыл крышу толем. В доме было пусто. Все следующие ночи мы возили туда столы, лавки, лари, бадейки, чугунки и оставшиеся припасы, все прятали, отец же рыл там погреб и чуть ли не подземную землянку с печью, третий дом по счету. У отца уже цвело в огородике.

За лето мы с матерью стали грубыми крестьянками с толстыми пальцами на руках, с толстыми грубыми ногтями, в которые въелась земля, и, что самое интересное, у основания ногтей возникли как бы валики, утолщения или наросты. Я заметила, что у Анисьи то же самое, и у бездетельной Марфутки те же руки, и у Татьяны, самой большой нашей барыни и медработника, была та же картина. Кстати говоря, постоянная посетительница Тани пастушиха Верка повесилась в лесу, пастушихой она уже не была, стадо все съели, и Анисья очень грешила на Таню и выдала нам ее тайну, что Таня давала Верке не чаю, а какого-то лекарства и Верка не могла без него жить и из-за этого повесилась, платить стало нечем. Верка оставила маленькую дочь, и без отца при этом. Анисья, поддерживавшая сношения с Тарутиным, рассказала, что эта дочка живет у бабушки, потом

выяснилось далее из того же торжествующего рассказа Анисьн, что эта бабушка вроде нашей Марфуты красавица, только еще н пьющая, н трехлетний ребенок, совершенно уже без памяти, был привезен мамой к нам в дом в старой детской коляске. Маме всегда было больше всех надо, отец злился, девочка мочилась в кровать, ннчего не говорила, сопли слизывала, слов не понимала, ночью плакала часами. И от этих ночных крнков всем скоро не стало житья, н отец ушел жнть в лес. Делать было нечего, и все шло к тому, чтобы отдать девочку ее непутевой бабке, как вдруг эта бабка Фанна сама пришла к нам и стала, покачиваясь, выманивать деньги за девочку и за коляску. Мать без еднного слова вывела ей Лену, чистую, подстриженную, босую, но в платьице. Лена вдруг упала в ноги моей матушке без крика, как взрослая, н согнулась в комочек, охватнвшн мамины босые ступни. Бабка заплакала и ушла без Лены н без коляскн, видимо, ушла умирать. Она шаталась на ходу и вытирала слезы кулаком, а шаталась она не от вина, а от полного истощения, как я догадалась потом. Хозяйства у нее давно не было никакого, последнее время Верка ведь не зарабатывала ничего. Мы-то самн ели все больше вареную траву в разных видах, с грибным супом во главе. Козлята давно жили у отца от греха подальше, колея туда заросла совсем, тем более что отец ходил с тачкой разными путями в рассуждении о будущем. Лена осталась жить с нами, мы отливалн ей молока, кормилн ягодами и нашими грнбнымн щами. Все становилось гораздо страшнее, когда мы начинали думать о зиме. Хлеба — нн муки, ни зерна — не было, ничего в округе не было посеяно, ведь бензина н запчастей не водилось давно, а лошадей перебили еще раньше, пахать оказалось не на чем. Отец походил, пособирал каких-то случайных уцелевших колосьев на бывших полях, но перед ним уже прошлнсь, н не раз, ему досталось немного, мешочек зерен. Он рассчнтывал освоить в лесу озимый сев на поляне невдалеке от нзбушкн, выспрашивал у Анисьи сроки, и она обещала ему сказать, когда н как сеют, как пашут. Лопату она отвергла, а сохи не было нигде. Отец попросил ее нарисовать соху н стал, совсем как Робинзон, сколачнвать какую-то штуку. Анисья сама плохо помнила все подробности, хотя ей и прнходилось во времена оны ходить за коровой с сохой, а отец загорелся нинженерной идеей и сел изобретать этот велосипед. Он был счастлив своей новой судьбой н не вспоминал о городе, в котором оставил много врагов, в том чнсле и своих родителей, монх бабушку н

дедушку, которых я видала только в глубоком детстве, а дальше все утонуло в скандалах из-за моей мамы и дедовской их квартиры, провались она пропадом, с генеральскими потолками, сортиром и кухней. Нам в ней не привелось жить, а теперь, наверное, мои бабушка и дедушка были уже трупами. Мы никому ничего не сказали, когда убирались из города, хотя отец готовился к отъезду долго, откуда у нас и набрался полный кузов мешков и ящиков. Все это были вещи недорогие и в свое время недефицитные, отец мой, человек дальновидный, собирал их в течение нескольких лет, когда они действительно были недорогими и недефицитными. Мой отец, бывший спортсмен, турист-альпинист, геолог, повредивший ногу в бедре, давно жил жаждой уйти, и тут обстоятельства совпали с его все развивающейся манией бегства, и мы бежали, когда все еще было безоблачно. «Над всей Испанией безоблачное небо», — шутил отец буквально в каждое хорошее утро.

Лето выдалось прекрасное, все зрело, наливалось, наша Лена начала разговаривать, бегала за нами в лес, не собирала грибы, а именно бегала за мамой как пришитая, как занятая главным делом жизни. Напрасно я приучала ее замечать грибы и ягоды, ребенок в ее положении не мог спокойно жить и отделяться от взрослых, она спасала свою шкуру и всюду ходила за мамой, бегала за ней на своих коротких ногах, с раздутым своим животиком. Лена называла маму «няня», откуда она взяла это слово, мы ей его не говорили. И меня она называла «няня», очень остроумно, кстати.

Однажды ночью мы услышали под дверью писк как бы котенка и обнаружили младенца, завернутого в старую, замасленную телогрейку. Отец, который притерпелся к Лене и даже приходил к нам днем кое-что поделать по хозяйству, тут ахнул. Мать была настроена сурово и решила спросить Анисью, кто это мог сделать. С ребенком, ночью, в сопровождении молчаливой Лены, мы отправились к Анисье. Она не спала, она тоже слышала крик ребенка и сильно тревожилась. Она сказала, что в Тарутино пришли первые беженцы и что скоро придут и к нам, ждите еще гостей. Ребенок пищал, пронзительно и безостановочно, у него был твердый вздутый живот. Таня, приглашенная утром для осмотра, сказала, даже не притронувшись к ребенку, что он не жилец, что у него «младенческая». Ребенок мучился, орал, а у нас даже не было соски, чем кормить, мама капала ему в пересохший ротик водичкой, он захлебывался. Было ему на вид месяца четыре. Мама сбегала

хорошим маршем в Тарутино, выменяла соску у аборигенов на золотую кучку соли и прибежала назад бодрая, и ребенок выпил из рожка немного воды. Мама сделала ему клизму, даже с ромашкой, мы все, не исключая и отца, бегали, носились, грели воду, поставили ребенку грелку. Всем было ясно, что надо бросать дом, огород, налаженное хозяйство, иначе нас накроют. Бросать огород значило умирать голодной смертью. Отец на семейном совете сказал, что в лес переселяемся мы, а он с ружьем и Красивой поселяется в сарае у огорода.

Ночью мы тронулись с первой партией вещей. Мальчик, которого назвали Найден, ехал на тачке на узлах. На удивление всем, он после клизмы опростался, затем пососал разведенного козьего молока и теперь ехал в овечьей шкуре, притороченный к тачке. Лена шла, держась за узлы.

К рассвету мы пришли в свой новый дом, отец тут же сделал второй заход, потом третий. Он, как кошка, таскал в зубах все новых котят, то есть все свои нажитые горбом приобретения, и маленькая избушка оказалась заваленной вещами. Днем, когда все мы, замученные, уснули, отец отправился на дежурство. Ночью он привез тачку вырытых еще молодых овощей, картофеля, моркови и свеклы, репки и маленьких луковок, мы раскладывали это в погребе. Тут же ночью он снова ушел и вернулся чуть ли не бегом с пустой тачкой. Прихромал понурый и сказал: все! Еще он принес баночку молока для мальчика. Оказалось, что наш дом занят какой-то хозкомандой, у огорода стоит часовой, у Анисьи свели козу в тот же наш бывший дом. Анисья с ночи караулила отца на его боевой тропе с этой баночкой вечорошнего молока. Отец хоть и горевал, но он и радовался, потому что ему опять удалось бежать, и бежать со всем семейством.

Теперь вся надежда была на маленький огород отца и на грибы. Лена сидела в избушке с мальчиком, в лес ее не брали, запирали, чтобы не срывала темпа работ. Как ни странно, вдвоем с мальчиком она сидела, не билась об дверь. Найден вовсю пил отвар из картофеля, а мы с матерью рыскали по лесам с кошелками и рюкзаками. Грибы мы уже не солили, а только сушили, соли почти не было. Отец рыл колодец, ручей был далековато.

На пятый день нашего переселения к нам пришла бабка Анисья. Она пришла пустая, без ничего, только с кошкой на плече. Глаза у Анисьи смотрели странно. Анисья посидела на крылечке, держа испуганную кошку в подоле, потом подхватилась и ушла в леса. Кошка забилась под крыльцо.

Анисья вскоре принесла полный передник грибов, среди них лежал и мухомор. Анисья осталась сидеть у нас на крыльце и не пошла в дом. Мы ей вынесли нашего пустого супу в баночке из-под ее же молока. Вечером отец отвел Анисью в землянку, где у нас был третий запасной дом, Анисья отлежалась и начала бодро рыскать по лесам. Грибы я у нее отбирала, чтобы она не отравилась. Часть мы сушили, часть выбрасывали. Однажды днем, вернувшись из леса, мы нашли наших приемышей всех вместе на крыльце. Анисья качала Найдена и вообще вела себя как человек. Ее словно прорвало, она рассказывала Лене: «Все перешевыряли, все унесли... К Марфуте даже не сунулись, а у меня все взяли, козу свели на веревочке...»

Анисья еще долго была полезной, пасла наших коз, сидела с Найденом и Леной до самых морозов. А потом Анисья легла с детьми на печку и слезала только на двор. Зима замела снегом все пути к нам, у нас были грибы, ягоды сушеные и вареные, картофель с отцовского огорода, полный чердак сена, моченые яблоки с заброшенных в лесу усадеб, даже бочонок соленых огурцов и помидоров. На делянке, под снегом укрытый, рос озимый хлеб. Были козы. Были мальчик и девочка для продолжения человеческого рода, кошка, носившая нам шалых лесных мышей, была собака Красивая, которая не желала этих мышей жрать, но с которой отец надеялся вскоре охотиться на зайцев. С ружьем отец охотиться боялся, он боялся даже дрова рубить из-за опасений, что нас засекут по звуку. В глухие метели отец рубил дрова. У нас была бабушка, кладезь народной мудрости и знаний. Вокруг нас простирались холодные пространства.

Отец однажды включил приемник и долго шарил в эфире. Эфир молчал. То ли сели батареи, то ли мы действительно остались одни на свете. У отца блестели глаза: ему опять удалось бежать!

В случае, если мы не одни, к нам придут. Это ясно всем. Но, во-первых, у отца есть ружье, у нас есть лыжи и есть чуткая собака. Во-вторых, когда еще придут! Мы живем, ждем, и там, мы знаем, кто-то живет и ждет, пока мы взрастим наши зерна и вырастет хлеб, и картофель, и новые козлята, — вот тогда они и придут. И заберут все, в том числе и меня. Пока что их кормит наш огород, огород Анисьи и Танино хозяйство. Тани давно уже нет, я думаю, а Марфутка на месте. Когда мы будем как Марфутка, нас не тронут.

Но нам до этого еще жить да жить. И потом, мы ведь тоже не дремлем. Мы с отцом осваиваем новое убежище.

БОГ ПОСЕЙДОН

Случайно в приморской местности я обнаружила свою подругу Нину, женщину не первой молодости с сыном-подростком. Нина повела меня к себе домой, я увидела нечто необычайное. Взять хотя бы подъезд, гулкий, высокий, с мраморной лестницей, потом саму квартиру, застланную серым бобриком, с преобладанием цвета темного дерева и алого сукна. Все это великолепно выглядело, как на картинке в модном журнале «Ларт декорасьон», искусство декорирования, и точно такой же была ванная комната, опять-таки затянутая на полу серым сукном, с голубовато-фарфоровым умывальником и зеркалами — просто мечта! Я не верила своим глазам, а Нина хранила все тот же свой вечный измученно-уклончивый вид и повела меня в комнату, стоящую настежь тремя дверьми, темноватую, но опять-таки изящную, с неожиданно большим количеством неубранных кроватей. «Ты что, замуж вышла?» — спросила я Нину, а она с видом убирающейся хозяйки, озабоченно, хотя и ни к чему не притрагиваясь, пошла в одну из дверей. Помню роскошную, как в отеле, комнату со стенными шкафами, длиной с каждой стороны метра по четыре и с платьями, висящими на вешалках. Как такое богатство и изобилие снизошло на бедную Нину, которая и белья-то порядочного никогда не знала, а имела одно вечное пальто на зиму и три платья, одно страшней другого? Вышла замуж, но куда, сюда, в эту дикость, в приморскую пустоту, где не живут люди, а ждут лета, когда можно будет сдавать и сдавать комнаты. А тут лестницы, коридоры, переходы, да еще вдобавок я вышла из квартиры не в ту дверь и оказалась в соседнем беломраморном подъезде, куда уже входили школьники с учительницей на экскурсию.

Ну, вышла замуж, однако оказалось, что вот, Нина сменяла свою однокомнатную квартиру в Москве, где прозябала с сыном, на эти апартаменты, да еще, получается, и со всей мебелью и вплоть до постельного белья и нарядов! То есть хозяева ничего не тронули, а убрались, но, оказывается, не убрались все-таки, и отсюда озабоченный Нинин вид, потому что две лишние кровати в спальне — это были кровати хозяйки и хозяйкиного сына, молчаливого молодого рыбака с толстыми щеками. Хозяйка хлопотала по-прежнему, как видно, по хозяйству, за стол мы уселись под ее крыло, она вела себя точь-в-точь как если бы была хоро-

шей, тихой свекровью, а Нина ее уважаемой невесткой, ради которой свекровь гнется и ломается по дому, на самом деле сохраняя все позиции матери семейства и главного лица в доме, не допуская невестку ни до чего.

Стало быть, выяснилось, что хозяйка сменялась с Ниной, Нина выехала сюда, бросила свою работу в газете в столице и собиралась писать о местном крае, о море, которое она всегда очень любила и благоговела перед всем, что морское, — а пока что слонялась с озабоченным лицом по своему новому дому, из которого старые хозяева так и не выбрались. Формальности все были соблюдены, бумаги у Нины имелись, она с сыном жила в своем доме, но в этом доме жила еще пожилая хозяйка с сыном всю эту зиму, и речи об их переезде не затевалось. Нина, человек неделовой, расхлябанный, привыкший все пускать на самотек — отсюда и ее уход из газеты на так называемые вольные хлеба и вообще видимое крушение и потопление всей жизни, — восприняла все происходящее так, как оно есть. Она ела, пила, выходила к морю, сидела там, сын ее ходил в местную довольно хорошую школу, денег не требовалось, питалось все это удвоившееся семейство дарами моря, которые доставлял на лодке молодой рыбак.

— Кто он? — спросила я, и Нина не задумываясь ответила, что он сын бога моря Посейдона, может жить под водой и дышать там, приносит оттуда буквально все, пешком ходит в разные страны по дну и приносит не только и не столько рыбу, сколько раковины и жемчуг, а также все для дома, для семьи.

При этом старая жена бога моря Посейдона, неизвестно зачем принявшая под свои крылья полностью потерпевшую крушение Нину, сидела во главе стола, под высоким окном, и кормила и кормила нас, а в моей памяти все всплывала гостиничная спальня-люкс с белокипенными, как морская пена, простынями и с числом коек четыре штуки — и все представлялось, что вот так и надо, все предоставить своему течению, не бороться, опустить руки, и тогда будешь дышать под этой водой, и тебя примет бог Посейдон и не так уж плохо поселит, ибо, вернувшись домой в Москву, я узнала, что Нина вовсе никуда не переселялась, а просто год тому назад утонула вместе со своим маленьким сыном, попав в известное кораблекрушение на прогулочном катере вблизи тех самых берегов, где только что я гуляла, ни о чем не подозревая.

НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР

Жизнь моя под угрозой, по-видимому. Я лежу один, прикованный к постели гриппом, и моя жена воспринимает все, что я говорю, как бред. Уже идет речь о больнице. Два раза в день приходит какая-то мастерица и практикуется на мне как законченная садистка, то есть всаживает в мякоть огромную иглу и делает вид, что торопится дальше, а я боюсь ей сказать, чтобы она не оставляла ампулы и вату, поскольку мало ли как их используют «те». «Те» используют все, в том числе и недоеденное и недопитое. Эксперимента ради я оставил на стуле, не принял таблетку анальгина, и всю ночь у «них» шел пир горой и раздавались пьяные песни, у сволочей.

Я познакомился с ними в самом начале болезни, когда не мог спать ночью и встал, чтобы переодеть мокрую майку, поскольку меня бил озноб и т. д. Я пошатнулся и увидел у плинтуса небольшого жука, который быстро побежал, как они могут. Я этого жука хотел пришлепнуть и наступил на него, но успел наступить только на лапку, и когда поднял шлепанец трясущейся рукой, в свете далекой настольной лампы увидел на подошве отчаянно повисшего человечка размером с таракана с раздавленной ниже колена ногой. Человечек, видимо, находился в шоке. Я отлепил его, одеяло с меня сползло, и что было делать, я не представлял, одно только утешало, что это галлюцинация. Я полил на человечка водой из стакана, он несколько раз вздрогнул у меня на руке и пополз. Куда его было девать, мою галлюцинацию? Я положил его на блюдце и стал рассматривать. Человечек был одет во что-то грязно-серое, при ближайшем рассмотрении это оказался клочок ваты, порядочно-таки заношенной. Моя садистка, что ли, уронила? Но ведь это галлюцинация, успокоил я сам себя. Моя галлюцинация, волоча расплющенную ногу, потащилась на трех конечностях к краю блюдца, свесила лохматую голову и, живучее создание, перевалила на стул. Стой, не уйдешь, как бы воскликнул я и на пути моего человечка поставил руку. Он поднял голову, примерился и стал, щекоча меня руками, взбираться, как дурак, по пальцам не хуже, чем по бревенчатой стене. Замечательно было то, что я внутренне хохотал над его жалкими попытками, однако вид моего окровавленного мизинца, когда я стряхнул с руки привидение, ошарашил меня... Так вот как может протекать бред,

подумал я н вытер пятнышко крови о майку. На этом я влез в свою ледяную постель и стал дрожать от холода, пока не иаступило утро и жена не пришла мне дать питья в мой чумной инфекционный барак.

— Смотри, у тебя ночью шла носом кровь, — сказала жена, указав на майку.

Я попил и иемного съел какой-то дряни из тарелки, пока жена собиралась на работу. Затем весь день ушел у меия иа иаблюдення за тем, как мои галлюцинацнн добывают из стакана н тарелкн воду н пищу. Воду они носили толпой в ампуле нз-под новокаина, а спускали ее в бинтах. Кашу они просто вылили на пол, наклонивши над пропастью тарелку, а было их видимо-невиднмо. Вннзу, иа полу, кучу каши разбнрали в свою посуду, как-то: в копейку, в отбитые горлышкн ампул, в клочки картона (нх везли по полу). Фнгурнровала также чайная ложка, упавшая у меня вчера утром, ее нагружали н несли целой колониой.

Мой инвалид бесследно исчез, жена дала сменить мне майку, доказательства галлюцинацни пропали, но человечкн, суетившиеся у плнитуса, не исчезли. Двоих я обнаружил у себя перед глазами, они шли вверх по ковру, как альпннисты в кустарниках, и целью их похода, я обиаружил, была полка, но там, между ковром и полкой, существовал так называемый отрицательный угол, и они, понюхав и покачавшнсь в шерстннках ковра, канулн вниз. Они умели падать, эти люди! Понимали, что падают на постель, и, упавши на одеяло, долго и трудно шли в связке по торосам крахмального пододеяльника к своему плиитусу.

Я вообразил себе, что ночью онн роются у меня в кровати, работают по сбору крошек. И о тараканах такую вещь подумать противно, а тут мыслящий враг!

«Галлюцннацня», — громко сказал я себе и позвал жену, чтобы оиа с кипящнм чайником прошлась по плинтусам. Но жена ушла, а деятельность монх красавцев развернулась вовсю. Когда я вышел, держась за стену, онн умудрнлнсь в короткое время вытащить из подушки в пятиадцатн местах перья. (Я застал нх в середине работы и выиужден был сам вытащить этн перья, чтобы спокойно лечь иа подушку, и побросал их вниз, иа пол, после чего опомнился, но перья уже нсчезлн в щели одно за другим.) Они, виднмо, устилали себе пол жилища.

Теперь это было нх главное развлечение, они иаполовину вытягивалн перья, н мне оставалось только со стоном довершать нх работу. Как-то я попытался перевернуть по-

душку, и, вставши в очередной раз, чтобы открыть дверь моей садистке, я затем лег лицом прямо в торчащие остья, которые они успели вытащить и на этой стороне подушки.

Я не решался их уничтожить, помня о пятнышке крови. Кроме того, я в одном человечке, гулявшем по пододеяльнику, обнаружил мать с ребенком (в ваточке) и внутренне задрожал. Она шла, как мадонна, лицом ко мне, и младенец плыл личиком ко мне. Я закрыл глаза, а эта самоотверженная мать подобрала у меня с подбородка что-то прилипшее (по виду — крошку желтка) и, нагруженная этим куском и своим ребенком, канула в волны пододеяльника.

Дальше — больше, они начали сколачивать себе мебель, что ли. У них появился кусочек лезвия бритвы (откуда?). Они им отрезали пластиночку от ножки стула и понесли, как лесорубы, эту доску домой. Тюк-тюк, перетюк — слышалось тихое щелканье, это они там то ли гвозди заколачивали (какие?), то ли обтесывали дерево бритвой...

Через два дня стул подломился под моей сослуживицей Мариной, женщиной полной и громкоголосой, которая принесла мне мою зарплату, добрая душа, и поплатилась за это испугом и ушибом ягодиц, так как решила посидеть около меня и рассказать кое-что о нашем новом начальнике, который заявил-де на общей летучке, что знакомиться будем в работе. С этими словами Марина шлепнулась очень даже неожиданно и оказалась сидящей на полу среди обломков. Когда Марина ушла со стонами, стул лежал на полу. Вечером пришла жена и при мне унесла только спинку и сиденье. Ножки исчезли. Я закрыл глаза от изнеможения, а жена решила, что ножки я выбросил еще раньше (куда?! когда?!).

Стало быть, у них уже начался расцвет строительства, они скреблись и колотили почем зря, и некоторое время спустя они пошли на добычу моей картошки с котлетой (я не стал есть), вооруженные платформой на колесах.

Все шло у них в ход, эти воры тащили уже мелкую посуду типа ликерных рюмок, запасали в чашку воду, волокли яблочные огрызки из помойного ведра. С течением времени они начали разбирать паркет для расширения ходов и магистралей, выколупали из оконных рам по кускам пенопласт, начали рвать по ниткам (на канаты) мою простыню...

Я по-своему борюсь, то есть ем теперь все, а остатки спускаю в унитаз, лежу без простыни (пододеяльник для

них трудноват). Но ковер они начали просто косить косой, рассчитывая, видимо, начать у себя плетение циновок.

Их волнует также проблема освещения, и однажды я услышал легкий запах дыма ночью. Я лег на пол и увидел прямо-таки тлеющий край газеты, а кругом увидел этих сволочей, сидящих перед своим костром и смотрящих в огонь все как один. Я сбегал на ватных ногах на кухню и плеснул в них чашкой воды. Они восприняли этот ливень как явление стихии и вынесли свои ватки на просушку — ватки, нитки, шерстинки и голых детей! Сил не было на это смотреть, и я им туда поставил свою настольную лампу, чтобы они обогрелись и получили свой свет. Они, видимо, сочли это за явление кометы и с писком спрятались. Вещи, однако, просохли.

Самое главное, чтобы жена не догадалась о моей борьбе. Иначе мне не миновать больницы, а за это время мои лилипуты окончательно разберут паркет, соткут себе половики, оседлают диких тараканов, освоят мусорное ведро и хлебницу и в конце концов устроят какой-нибудь сабантуй с горящей газетой, тут-то нам и придет конец.

Поэтому я их караулю и стараюсь не испугать — не дай Господь они спрячутся в недра нашего дома, как тараканы, а ведь они разумные существа! И не миновать нам газового взрыва и пожарища в результате их войны третьего-второго этажа или какого-нибудь потопа из-за проверченной в трубе дыры группой их геологов...

Они-то погибнут, но мне гибнуть неохота. Я стою на страже и уже понимаю, что я для них. Я, всевидящим оком наблюдающий их маету и пыхтение, страдание и деторождение, их войны и пиры... Насылающий на них воду и голод, сильнопалящие кометы и заморозки (когда я проветриваю). Иногда они меня даже проклинают, как какая-нибудь мать, швырнувшая в меня своего ребенка (то ли без мужа родила, то ли заболел, то ли он у нее шестнадцатый).

Самое, однако, страшное, что я-то тоже здесь новый жилец, и наша цивилизация возникла всего десять тысяч лет назад, и иногда нас тоже заливает водой, или стоит сушь великая, или начинается землетрясение... Моя жена ждет ребенка и все ждет не дождется, молится и падает на колени. А я болею. Я смотрю за своими, я на страже, но кто бдит над нами и почему недавно в магазинах появилось много шерсти (мои скосили полковра)...

Почему?..

ГИГИЕНА

Однажды в квартире семейства Р. раздался звонок, и маленькая девочка побежала открывать. За дверью стоял молодой человек, который на свету оказался каким-то больным, с тонкой, блестящей розовой кожицей на лице. Он сказал, что пришел предупредить о грозящей опасности. Что вроде бы в городе началась эпидемия вирусного заболевания, от которого смерть наступает за три дня, причем человека вздувает и так далее. Симптомом является появление отдельных волдырей или просто бугров. Есть надежда остаться в живых, если строго соблюдать правила личной гигиены, не выходить из квартиры и если нет мышей, поскольку мыши — главный источник заражения, как всегда.

Молодого человека слушали бабушка с дедушкой, маленькая девочка и ее отец. Мать была в ванной.

— Я переболел этой болезнью, — сказал молодой человек и снял шляпу, под которой был совершенно голый розовый череп, покрытый тончайшей, как пленка на закипающем молоке, кожицей. — Мне удалось спастись, я не боюсь повторного заболевания и хожу по домам, ношу хлеб и запасы, если у кого нет. У вас есть запасы? Давайте деньги, я схожу, и сумку побольше, если есть — на колесиках. В магазинах уже большие очереди, но я не боюсь заразы.

— Спасибо, — сказал дедушка, — нам не надо.

— В случае заболевания всех членов семьи оставьте двери открытыми. Я выбрал себе то, что по силам, четыре шестнадцатиэтажных дома. Тот из вас, кто спасется, может так же, как я, помогать людям, спускать трупы и так далее.

— Что значит спускать трупы? — спросил дедушка.

— Я разработал систему эвакуации путем сбрасывания их на улицу. Понадобятся полиэтиленовые мешки больших размеров, вот не знаю, где их взять. Промышленность выпускает двойную пленку, ее можно приспособить, но где взять деньги, все упирается в деньги. Эту пленку можно резать горячим ножом, автоматически сваривается мешок любой длины. Горячий нож и двойная пленка.

— Нет, спасибо, нам не надо, — сказал дедушка.

Молодой человек пошел дальше по квартирам, как попрошайка, просить денег; как только захлопнули за ним дверь, он звонил уже у соседних дверей, и там ему открыли на цепочку, так что он вынужден был рассказывать свою версию и снимать шляпу на лестнице, в то время как его

наблюдали в щель. Слышно было, что ему кратко ответили что-то и захлопнули дверь, но он все не уходил, не слышно было шагов. Потом дверь опять открылась на цепочку, кто-то еще желал послушать рассказ. Рассказ повторился. В ответ раздался голос соседа:

— Если есть деньги, сбегай принеси десять поллитровок, деньги отдам.

Послышались шаги, и все утихло.

— Когда он придет, — сказала бабушка, — пусть уж нам принесет хлеба и сгущенки... и яиц. Потом надо капусты и картошки.

— Шарлатан, — сказал дедушка, — хотя не похож на обожженного, это что-то другое.

Наконец встрепенулся отец, взял маленькую девочку за руку и повел ее вон из прихожей — это были не его родители, а жены, и он не особенно поддерживал их во всем, что бы они ни говорили. Они тоже его не спрашивали. По его мнению, что-то действительно начиналось, не могло не начаться, он чувствовал это уже давно и ждал. Его охватила какая-то оторопь. Он взял девочку за руку и повел ее вон из прихожей, чтобы она не торчала там, когда таинственный гость постучит в следующую квартиру: надо было с ним как следует потолковать как мужик с мужиком — чем он лечился, какие были обстоятельства.

Бабушка с дедушкой, однако, остались в прихожей, потому что они слышали, что лифта никто не вызвал и, стало быть, тот человек пошел дальше по этажу; видимо, он собирал деньги и сумки сразу, чтобы не бесконечно бегать в магазин. Или ему еще никто не дал ни денег, ни сумок, иначе он уже бы давно уехал вниз на лифте, ибо к шестому этажу должно было набраться поручений. Или же он действительно был шарлатан и собирал деньги просто так, для себя, как уже однажды в своей жизни бабушка напоролась на женщину, которая вот так, сквозь щелочку, сказала ей, что она из второго подъезда, а там умерла женщина шестидесяти девяти лет, баба Нюра, и она по списку собирает ей на похороны, кто сколько даст, и предъявила бабушке список, где стояли росписи и суммы — тридцать копеек, рубль, два рубля. Бабушка вынесла рубль, хотя тети Нюры так и не вспомнила, и немудрено, потому что пять минут спустя позвонила в дверь хорошая соседка и сказала, что это ходит не известная никому аферистка, а с ней двое мужиков, они ждали ее на втором этаже, и они только что с деньгами скрылись из подъезда, список бросили.

Бабушка с дедушкой стояли в прихожей и ждали, потом пришел отец девочки Николай и тоже стал прислушиваться, наконец вышла из ванной Елена, его жена, и громко стала спрашивать, что такое, но ее остановили.

Однако звонков больше не раздавалось на лестнице. То есть ездил лифт туда-сюда, даже выходили из него на их этаже, но потом гремели ключами и хлопали дверьми. Но все это был не тот человек в шляпе. Он бы позвонил, а не открывал бы дверь своим ключом.

Николай включил телевизор, поужинали, причем Николай очень много ел, в том числе и хлеб, и дедушка не удержался и сделал ему замечание, что ужин отдай врагу, а Елена заступилась за мужа, а девочка сказала: «Что вы орете», — и жизнь потекла своим чередом.

Ночью внизу, судя по звуку, разбили очень большое стекло.

— Витрина булочной, — сказал дедушка, выйдя на балкон. — Бегите, Коля, запасайтесь.

Стали собирать Николая, пока собирали, подъехала милицейская машина, кого-то взяли, поставили милиционера, отъехали. Николай пошел с рюкзаком и ножом, их там внизу оказалась целая группа людей, милиционера окружили, подмяли, через витрину стали впрыгивать и выпрыгивать люди, кто-то подрался с женщиной, отобрал у нее чемодан с хлебом, ей зажали рот и утащили в булочную. Народу внизу прибывало. Наконец пришел Николай с очень богатым рюкзаком — тридцать килограммов сушек и десять буханок хлеба. Николай снял с себя все и кинул в мусоропровод, сам в прихожей протерся с головы до ног одеколоном, все ватки выкинул в пакете за окно. Дедушка, который был доволен всем происходящим, заметил только, что придется дорожить одеколоном и всеми медикаментами. Заснули. Утром Николай за завтраком один съел полкило сушек за чаем и шутил по этому поводу: «Завтрак съешь сам». Дедушка был со вставными зубами и тосковал, размачивая сушки в чае. Бабушка замкнулась в себе, а Елена все уговаривала девочку есть побольше сушек. Бабушка наконец не выдержала и сказала, что надо установить норму, не каждую же ночь грабить, вон и булочную заколотили, все вывезли. Подсчитали запасы, поделили все на пайки. Елена в обед отдала свой паек девочке, Николай был как черная туча и после обеда один съел буханку черного хлеба. Продовольствия должно было хватить на неделю, а потом наступала крышка. Николай и Елена позвони-

ли на работу, но ни на работе Николая, ни у Елены никто не брал трубку. Звонили знакомым, все сидели по домам. Все ожидали. Телевизор перестал работать, там свистела частотка. На следующий день телефон уже не соединял. Внизу, на улице, ходили прохожие с рюкзаками и сумками, кто-то волок спиленное дерево небольшого размера. Возник вопрос, как быть с кошкой — зверек второй день ничего не получал и ужасно мяукал на балконе.

— Надо впустить и кормить, — сказал дедушка. — Кошка — ценное свежее витаминное мясо.

Николай впустил кошку, ее покормили супом, не особенно много, чтобы не перекормить после голодовки. Девочка не отходила от кошки, те два дня, когда кошка мяукала на балконе, девочка все рвалась к ней, а теперь ее кормила в свое удовольствие, даже мать вспылила: «Отдаешь ей то, что я отрываю от себя для тебя».

Кошку, таким образом, покормили, но продовольствия оставалось на пять дней. Все ждали, что что-нибудь будет, кто-нибудь объявит мобилизацию, но на третью ночь заревели моторы на улицах, и город покинула армия.

— Выйдут за пределы, оцепят карантин, — сказал дедушка. — Ни в город, ни из города. Самое страшное, что все оказалось правдой. Придется идти в город за продуктами.

— Одеколон дадите — пойду, — сказал Николай. — Мой почти весь.

— Все будет ваше, — сказал дедушка многозначительно, но и уклончиво. Он сильно похудел. — Счастье еще, что работают водопровод и канализация.

— Тьфу тебе, сглазишь, — сказала бабушка.

Николай ушел ночью в гастроном, он взял с собой рюкзак и сумки, а также нож и фонарик. Он вернулся, когда было еще темно, разделся на лестнице, бросил в мусоропровод одежду и голый обтерся одеколоном. Вытерев подошву, он ступил в квартиру, затем вытер другую подошву, ватки бросил в бумажке вниз. Рюкзак он поставил кипятиться в баке, сумки тоже. Добыл он не много: мыло, спички, соль, полуфабрикаты ячменной каши, кисель и ячменный кофе. Дедушка был очень рад, он пришел в полный восторг. Нож Николай обжигал на газовом пламени.

— Кровь — самая большая инфекция, — заметил дедушка, ложась под утро спать.

Продовольствия, как посчитали, должно было теперь хватить на десять дней, если питаться киселем, кашами и всего есть понемножку.

Николай стал каждую ночь ходить на промысел, и возник вопрос с одеждой. Николай стал ее складывать еще на лестнице в полиэтиленовый мешок, нож все время прокаливал. Но ел по-прежнему много, правда, теперь уже без замечаний со стороны дедушки.

Кошка худела день ото дня, шкурка ее обтянула, обеды, ужины и завтраки проходили в мучениях, так как девочка все время старалась что-нибудь бросить на пол кошке. Елена начала просто бить по рукам. Все кричали. Кошку выводили, она бросалась об дверь.

Однажды это вылилось в страшнейшую сцену. Девочка пришла с кошкой на руках на кухню, где находились дедушка и бабушка. Рот у кошки и у девочки был измазан чем-то.

— Вот, — сказала девочка и поцеловала, наверное, не в первый раз, кошку в поганую морду.

— Что такое? — воскликнула бабушка.

— Она поймала мышку, — ответила девочка. — Она ее съела. — И девочка снова поцеловала кошку в рот.

— Какую мышку? — спросил дедушка, они с бабушкой оцепенели.

— Такую серую мышку.

— Вздутую? Толстую?

— Да, толстую, большую. — Кошка на руках у девочки начала вырываться.

— Держи крепче! — сказал дедушка. — Иди в свою комнату, детка, иди. Иди с кошечкой. Ах ты, гадина, ах, сволочь. Доигралась с кошкой, дрянь такая. А? Доигралась?

— Не ори, — сказала девочка и быстро убежала к себе.

Следом за ней пошел дед и побрызгал все ее следы одеколоном из пульверизатора. Потом он запер дверь в детскую на стул, потом позвал Николая, тот спал после бессонной ночи, с ним спала и Елена. Они проснулись. Все было обсуждено. Елена начала плакать и рвать на себе волосы. Из комнаты девочки доносился стук.

— Пустите, откройте, мне в туалет, — со слезами кричала девочка.

— Слушай меня, — кричал Николай, — не ори!

— Пусти, пусти! Сам не ори! Пустите!

Николай и остальные ушли в кухню. Елену пришлось держать запертой в ванне. Она тоже стучала в дверь.

К вечеру девочка угомонилась. Николай спросил, ходила ли она в туалет. Девочка с трудом отвечала, что да, сходила в трусы, и попросила пить.

В комнате девочки находилась детская кровать, раскладушка, шифоньер с вещами всей семьи, запертый на ключ, ковер и полки с книгами. Уютная детская комната, которая теперь волей случая превратилась в карантин. Николай прорубил в двери что-то вроде оконца и велел девочке принять на первый случай бутылку на веревочке, где был суп с хлебными крошками, все вместе. В эту бутылку девочке велено было мочиться и выливать в окно. Но окно было заперто на верхний шпингалет, девочка так до него и не дотянулась, да и с бутылкой было придумано плохо. Вопрос с экскрементами должен был решиться просто — выдирался лист или два из книги, на него испражнялись и выбрасывали в окно. Николай сделал из проволоки рогатку и пробил, выстрелив три раза, довольно большую дыру в окне.

Девочка, правда, показала все плоды своего воспитания и испражнялась неряшливо, не на бумагу, не успевала сама следить за своими желаниями. Ее по двадцать раз на дню спрашивала Елена, не хочет ли она ка-ка, она отвечала, что не хочет, и в результате оказывалась измаранной. Кроме того, трудно было с питанием. Бутылок и веревок было ограниченное количество, веревка каждый раз отрезалась, и девять бутылок валялось в комнате к тому моменту, когда девочка перестала подходить к двери, вставать и отвечать на вопросы. Кошка, видимо, не вставала с тела девочки, она, правда, не появлялась в поле зрения давно, с тех пор как Николай стал охотиться на нее с рогаткой, поскольку девочка скармливала кошке почти половину того, что сама получала в бутылке, все это выливалось ей на пол. Девочка не отвечала на вопросы, кроватка ее стояла у стены и не попадала в поле зрения.

Трое предшествующих суток, борьба за устройство жизни девочки, все эти нововведения, попытки как-то научить девочку подтираться (до сих пор это делала за нее Елена), передача воды, чтобы она как-то умылась, все эти уговоры, чтобы девочка подошла под дверной глазок за бутылкой (один раз Николай хотел помыть девочку, вылив на нее бидон горячей воды вместо подачи корма, и тогда она стала бояться подходить к двери), — все это настолько буквально стерло в порошок обитателей квартиры, что, когда девочка перестала отзываться, все легли и заснули очень надолго.

Но потом все завершилось очень скоро. Проснувшись, бабушка с дедушкой в своей постели обнаружили кошку со все той же окровавленной мордой — видимо, кошка ела девочку, но вылезла через отдушину — попить, что ли. Ай,

ой, закричали, застонали бабушка с дедушкой, на что в ответ возник в дверях Николай и, выслушав все плачи, просто захлопнул дверь и завозился с той стороны, запирая дверь на стул. Дверь не только не стала открываться, но и отдушины Николай не сделал, отложили это. Елена кричала и хотела снять стул, но Николай запер ее в ванной — снова.

А Николай лег на кровать и начал вздуваться, вздуваться, вздуваться. Прошлой ночью он убил женщину с рюкзаком, а она, видимо, была уже больна, так что не помогла дезинфекция ножа над газом — кроме того, Николай тут же, на улице, над рюкзаком, поел концентрата ячменной каши, хотел попробовать и, на тебе, все съел.

Николай все смекнул, но поздно, когда уже стал вздуваться. Вся квартира грохотала от стуков, мяукала кошка, в верхней квартире тоже дело дошло до стука, а Николай все тужился, пока наконец кровь не пошла из глаз, и он умер, ни о чем не думая, только все тужась и желая освободиться.

И дверь на лестницу никто не открыл, а напрасно, потому что, неся хлеб, шел по квартирам тот молодой человек, а в квартире Р. все стуки уже утихли, только Елена немного скреблась, исходя кровью из глаз, ничего не видя, да и что было видеть в абсолютно темной ванной, лежа на полу.

Почему молодой человек пришел так поздно? Да потому, что у него очень много было на участке квартир, четыре громадных дома. И второй раз молодой человек пришел в этот подъезд только вечером на исходе шестого дня, через три дня после того, как затихла девочка, через сутки после исхода Николая, через двенадцать часов после исхода Елениных родителей и через пять минут после Елены.

Однако кошка все мяукала, как в том знаменитом рассказе, где муж убил жену и заложил ее кирпичной стеной, а следствие пришло и по мяуканью в стене разобралось, в чем дело, поскольку вместе с трупом в стене был замурован любимый кот хозяйки и жил там, питаясь ее мясом.

Кот мяукал, и молодой человек, услышав единственный живой голос в целом подъезде, где уже утихли, кстати, все стуки и крики, решил бороться хотя бы за одну жизнь, принес железный ломик, он валялся во дворе весь в крови, — и взломал дверь. Что же он увидел? Черная знакомая гора в ванной, черная гора в проходной комнате, две черные горы за дверью, запертой на стул, оттуда и выскользнула кошка. Кошка ловко прыгнула в отдушину, грубо выбитую

еще в одной двери, и там послышался человеческий голос. Молодой человек снял и этот стул и вошел в комнату, усеянную стеклом, сором, экскрементами, вырванными из книг страницами, безголовыми мышами, бутылками и веревками. На кровати лежала девочка с лысым черепом ярко-красного цвета, точно таким же, как у молодого человека, только краснее. Девочка смотрела на молодого человека, а на подушке ее сидела кошка и тоже пристально смотрела.

ДВА ЦАРСТВА

Сначала они летели в абсолютном небесном раю, как это и полагается, среди ослепительно синего пейзажа, над плотными курчавыми облаками. Стюардесса была уже не своя, ихняя, в дивной белой полотняной форме без пуговиц, подавала преимущественно напитки нездешнего вкуса. Пассажиры все как один полуспали утомленные, и когда Лина пошла через весь самолет в хвостовое отделение, ее поразил одинаково желтый цвет лиц летящих, одинаково черные прически. Она даже испугалась, как будто полк солдат переносили с места на место. Солдаты эти одинаково спали, утомленно откинувшись и приоткрыв темные запекшиеся рты. Или это было целое посольство далекой южной страны.

Затем наступила ночь. Лина никогда еще так долго и далеко не летала, она провела часть ночи в туалете, где смотрела в выпуклое окно. Там были видны звезды, вверху, по бокам и далеко внизу, где эти звезды прямо-таки можно было перепутать с туманно светившимися огнями поселков. Одиноко мчащаяся в ночной мгле, среди обилия звезд, человеческая душа с восторгом наблюдала себя в центре мироздания, среди шевелящихся крупных, мохнатых светил в полной кромешной темноте. Одна среди звезд! Лина даже заплакала. Она с трудом теперь вспоминала минуты расставания с семьей, с родиной, у нее все это смешалось в один утомительный клубок, который никак не удавалось распутать, что было вначале, а что потом. Волшебное появление Васи с билетами и разрешением на брак, какие-то сложные формальности, слезы матери, когда Лину одевали сестры в белое платье и спустили на каталке, на лифте, а там Вася взял Лину на руки и отнес в машину... Лина то ли теряла сознание, то ли ее укачало в машине — во всяком

случае, все происшедшее она вспоминала как сон: глупая музыка, удивленные, ужаснувшиеся люди по сторонам, зеркала, в которых отражался Вася с бородой и она, серая, истощенная, вся в белом кружеве, с запавшими глазами. Вася увозил Лину на самолете лечиться. Перед отъездом все-таки была сделана, видимо, запланированная операция, и все, что было после операции, Лина уже не помнила. Какой-то вой матери, заглушаемый как бы подушкой, плач сына, который испугался музыки, цветов и лица Лины, очевидно; он плакал, как вообще плачут испуганные дети, при которых бьют или уводят, отцепляя от них, мать: громко, истошно визжал. Он был слишком мал, его надо было оставить при бабушке, поскольку Лине предстояла еще раз операция в чужом городе, в чужой стране и с новым мужем, этим неизвестно откуда взявшимся Васей с бородой.

Вася этот вообще был миф, он появлялся раз в год, мелькал где-то в толпе, целовал руку, держа своей прохладной большой рукой, обещал Лине златые горы и будущее ее сыну — но не сейчас, а вскоре. Потом. Сейчас, именно в тот момент встречи, еще было нельзя. А потом — он обещал увезти ее и сыночка, а также и мамашу, в земной рай где-то далеко на берегу теплого моря, среди мраморных колонн, летающих чуть ли не эльфов, короче, ее ждало будущее Дюймовочки. А потом, когда Лина серьезно заболела в свои тридцать семь лет, этот Василий стал объявляться чаще, нес утешение, навещал после первой операции — пришел, так трогательно, прямо в реанимацию, когда Лина Богу душу отдавала и лежала с капельницей, разглядывая на весу истощенную и прозрачную руку... Он прошел в своем белом одеянии как в медицинском халате (он вообще обожал носить все белое), единственно что он был босиком, но его никто не заметил. Он хотел тут же прямо забрать Лину оттуда, увидев, в каком она виде и как сделали ей шов. Однако тут прибежала заполошная медсестра, отогнала Васю и сделала еще укол, вызвала врача, и Вася исчез надолго. В следующий раз он опять пришел прямо в больницу, все объяснил, сказал, что мама ее согласна и они с ребенком будут взяты позже, им он оставит все необходимое, а Лину надо брать прямо сейчас, потому что нельзя медлить. В той стране, где теперь жил этот Вася, лечили Линину болезнь, нашли вакцину и так далее. Лине, короче говоря, было все равно, настолько она второй раз уже не сопротивлялась ни болезни, ни смерти. Ее вели на сильных наркотиках, и она плавала как в тумане. Даже мысли о мальчике, о Сере-

жеиьке, не так мучили ее. «А если бы я умерла, — сказала себе Лииа, — было бы лучше? А так и я поживу, и их возьму к себе потом».

Вася, таким образом, все оформил, хотя врачи иастаивали иа операции, говоря, что без операции больиая ие протяиет и суток. Вася переждал операцию, все оформил и явился забирать Лину опять прямо из реанимации. Ее осторожио повезли, переодели, от чего оиа перестала видеть и слышать, а затем очиулась уже летящей в виду сииего иеба и бескрайиего, пустыииого, пушистого поля облаков под самолетом. Лииа очеиь удивилась, увидев, что сидит рядом с Васей и тем более пьет какое-то легкое, искрящееся виио из бокала. Потом оиа даже встала — Вася спал, утомлеиный хлопотами, — и пошла удивительио легкой походкой по самолету. У иее иичего ие болело — видимо, ей уже что-то вкололи местиое, болеутоляющее.

Самолет проиесся очеиь иизко иад прекрасным, разворачивающимся виизу как большой макет городом со сверкающей рекой, мостами и громадиым игрушечиым собором. Это было очеиь похоже иа Париж! И тут же иачался грохот торможеиия, и самолет своим тупым иосом, широким, как окио в гостииице, буквальио въехал, прогремев как телега и затрясшись, в тихий сад. Окио было с дверью и выходило иа террасу, вдали блестела излучииа реки с мостами и какая-то триумфальиая арка.

— Плас Пигаль, — почему-то сказала Лииа и указала Васе. — Смотри!

Вася пошел открывать дверь иа террасу, и иачалась сказочиая жизиь.

Однако Лиие пока еще иельзя было ходить, хотя лечеиие иачалось и продвигалось успешио. Вася уходил и целыми диями где-то пропадал. Он иичего ие запрещал Лиие, ио было поиятио, что и река, и собор, и тот чудесиый город еще очень далеко от иее. Пока же оиа стала потихоиьку выходить из дома, бродить по одиой-едииственной улочке, поскольку сил еще было мало.

Здесь, оиа заметила, все были одеты как Вася, как самые лучшие дети-цветы, которых она видела в зарубежиых киiофильмах. Длииные волосы, дивные тоикие руки, белые одежды, даже веиочки. Правда, в магазииах имелось все, о чем можно было мечтать, но, во-первых, Вася ие оставлял Лиие деиег — все, видимо, поглощало лечеиие, очеиь, наверио, дорогое. Во-вторых, отсюда было иевозможио посылать посылки и почему-то даже письма. Здесь ие принято

было писать! Нигде ни клочка бумаги, нигде ни ручки. Не было никакой буквально связи — возможно, Лина попала как бы в карантин, в нечто переходное.

Там, за рекой, она видела бурлящую подлинную жизнь богатого иностранного города. Здесь тоже было все — рестораны, магазины. Но не было связи. Лина передвигалась пока что, держась двумя руками за стенку, как новорожденная, как только научившийся ходить младенец. Когда Лина пожаловалась Васе, что она хочет в магазин, он тут же принес ей кучу одежды — всякой, в том числе и ношеной, мужской, женской, детской, причем разных размеров. Принес и чемодан обуви, как носят русским зарубежные друзья от всех знакомых. Среди одежды находились и серые мужские кальсоны, отчего Лина слегка смутилась. Бог знает что это были за вещи и чьи! И куда их было девать, Лина не знала, потому что она сама очень скоро начала носить все Васино — что-то вроде белой сорочки и поверх белое платье из тонкого полотна. Роста они с Васей были одинакового, сложение у Васи, здорового человека, было такое же, как и у истощенной Лины. Лина поплакала над этой одеждой, сказала вечером Васе, что очень хочет послать посылку Сереженьке и маме, и показала на две кучки. Вася нахмурился и промолчал, а наутро вся одежда исчезла.

Вася, как выяснилось, именно и работал тут, за рекой, в этом режимном поселке, он не испытывал никакой надобности ездить за мосты к соборам и аркам, и Лине пришлось приспосабливаться к его тихому, размеренному существованию. Она, правда, знала, что все может случиться — по своей прежней жизни — в том числе и то, что моложавый, моложе ее Вася кого-то полюбит и уйдет. Он не любил Лину, этот бородатый Вася, хотя он ее берег от всех трудов. Пища являлась сама собой, одежда сверкала. Когда он это успевал? Их комната, в бреду Лины сохранившая черты летательного аппарата, выходила окном и дверью на террасу с белыми колоннами, но никакого счастья не получалось. Лина мужественно терпела свою разлуку с Сереженькой, матерью, подругами и другом по институту Левой, она понимала теперь, что ее болезнь неизлечима и можно только стараться поддерживать нынешнее состояние — без болей, но и без сил, куда уж тут шумный Сереженька с его бурными слезами и красными от плача глазками! Куда уж тут ее мама особенно, ядовито-приветливая, тоже слезливая! Здесь не было скорби и плача, здесь была другая страна. Лина сколько могла наблюдала этих парящих людей в бе-

лом и их хороводы над рекой под однообразную музыку арф (глупейшее занятие, между прочим!), их безмолвные посиделки за длинным общим столом в ресторане с бокалами местного дивного вина. Лина очень бы хотела поделиться мнением с подругами и мамой, хотя бы написать им о том, что все хорошо, лечение идет нормально, в магазинах все есть, но нового не купишь — первое, что безумно дорого, а второе, что здесь такого не носят, а еда непривычная, хотя есть пока много нельзя и т. д. Что хочет послать Сереженьке и всем посылочку, но пока нет оказии, а почтовой связи между их государствами не существует. Лина таскалась по улицам, держась за все, что попадало под руку, и мысленно сочиняла письма домой.

С течением времени Лина, однако, стала понимать, что с письмами дело обстоит безнадежно. Вася твердо обещал насчет приезда мамы и Сереженьки, особенно насчет мамы. Но мама без Сереженьки? Или он без бабушки? «Со временем, — говорил бородатый Вася, — со временем».

Лина хотела начать что-то подкупать к приезду мамы, но Вася дал ей понять, что к тому моменту все образуется.

Здесь вообще как-то не суетились насчет завтрашнего дня, здесь все очень, видимо, были заняты, но зато жизнь была организована идеально, стерильно, комфортно.

Вася работал в собственной книжной лавке, которую он приобрел благодаря наследству от тетушки, но он не приносил Лине книг, так как она все равно не понимала чужого языка, а на русском у них ничего не было. Сам Вася оказался по-русски неграмотным.

Наконец пришло то время, когда Лина освоила летящую походку аборигенов. Оказалось, что это очень просто. Надо было встать на какую-нибудь ступень повыше и сделать очень широкий шаг в воздух. Следующий шаг другая нога уже производила от толчка, и каждый дальнейший прыжок был все более свободным и невесомым, как во сне. Бородатый Вася ничего не сказал, однако в положенное время навсегда исчез, видимо, за рекой, в богатом городе, как сочла одинокая Лина, оставшаяся на полном обеспечении, как оказалось. Она вначале думала, без слез и страха, что теперь ее погонят из их летательного аппарата и пища не будет же вечно стоять в холодильнике! Но холодильник пополнялся регулярно, как по кухонному лифту, а Лина не ела ничего, только пила соки и была здорова.

И наконец наступил тот момент, когда она, подумав и потосковав, оторвалась от ступеней своего дома и широки-

ми шагами помчалась на берег реки к хороводу и, разомкнув чужие руки, влилась в общую вереницу и полетела по кругу.

Она понимала, что тут что-то совсем не так, и уже не хотела видеть здесь ни маму, ни сыночка. Она даже не хотела здесь встретить тот полк солдат и надеялась, что никого больше не встретит, а если встретит, то не будет знать, кто это, не различит в веренице молодых, бледных, успокоенных лиц, несущихся, как она, свободно — и с надеждой не встретить здесь больше никого, в этом царстве мертвых, и никогда не узнать, как тоскуют там, в царстве живых.

ЛУНЫ

Я поселилась на четвертом этаже нашего пансионата на берегу моря, которое в это ненастное время грохотало, как вечно идущий мимо поезд. Волны шли и шли, раз пущенные в ход, а у нас завтрак сменялся обедом, болтовня, заменявшая нам реальную жизнь, заполняла все свободные промежутки. У нас у всех была пора отдыха, обслуга подавала, мыла и выносила отбросы бесшумно, все шло хорошо, завелись также интимные отношения, как это всегда бывает в таких условиях, и нескольким семьям, оставленным в городе, грозил распад, а мы, старые люди, пенсионеры, попавшие в пансионат только благодаря свободным в это холодное время года местам — мы занимались своими болезнями, сидели по утрам в очереди на ингаляции, а вечерами у телевизора, так оно и шло. У нас тоже дело не обходилось без жестоких страстей, без клеветы, без любви и ревности, у нас составились партии, но мы также жили и жизнью одной молодой пары и их друга. Мы все гадали, кого выберет Айна, одни старушки любили беленького Иманта с голубыми глазками и впалыми щеками, обещавшими к зрелому возрасту обратить лицо Иманта в произведение скульптуры — другие отдавали предпочтение маленькому черному Эдгару, очень похожему на Чарли Чаплина, чудаку с мелкими чертами лица и прокуренными зубами. Они, Имант и Эдгар, были давнишние друзья, Айна же появи-

лась у них только тут и была просто непременным элементом отдыха. Высокая, с судорожным смехом и большим опытом личной жизни, Айна ходила с Эдгаром, спала с Имантом, а они оба хотели обратного. Так мы все и жили, пока однажды вечером, выпив обязательный кефир, я в плохом расположении духа не поднялась к себе на четвертый этаж. Я зажгла свет и пошла к окну задернуть занавески, и тут началось. Кто-то заглядывал в окно. Лицо, похожее на хоккейную маску, на череп, на дыню, истыканную ножом, то приближалось, то отдалялось. Я бросилась вон из комнаты в коридор, в коридоре толпились все наши, а среди них я увидела опять-таки те же луноподобные существа. Все наши стояли в полной тишине, не делая ни шагу, оцепенев. Айна, Имант и Эдгар как бы слиплись все трое, но в пространство, образовавшееся между их шеями, протискивалось луноподобное существо. Имант и Эдгар крепко держали Айну или держались за нее, и оттого, видимо, с таким упорством протискивалось со спины Айны к их подбородкам то существо с необязательным выражением лица, словно это была луна, старательно пробирающаяся в ущельях гор. Я стояла отдельно, меня поэтому существа не очень касались, не было, видимо, заманчивого промежутка между мной и кем-то еще, хотя он был, как я убедилась через некоторое время, почувствовав под мышкой как бы трепетание, и не только под мышкой. Тогда я широко раскинула руки, поставила ноги на ширину плеч, затем пришлось разжать пальцы рук. Всего хуже дело обстояло со ртом, но вскоре, когда я разинула рот, они убедились, что ни туда, ни в ноздри, ни в уши им хода нет, несмотря на их большую обтекаемость. Их интересовало больше всего то, что имело обратный выход в видимой перспективе. Поэтому они протискивались с какой-то озабоченностью между нашими тремя влюбленными.

Человек очень быстро ко всему привыкает, ему важно только изучить правила поведения в каждом отдельном случае, вывести законы. Так что вскоре все мы стали кричать Айне, Иманту и Эдгару, чтобы они немедленно расцепились, и наша неразлучная влюбленная команда расстроила свои ряды. Хуже всех пришлось Айне, она хотела сохранить обоих мальчиков и все прижимала их к себе, пока собственные беды не отвлекли ее внимания и она не начала судорожно прыгать на месте в своей длинной юбке, а потом ей все же пришлось сбросить эту юбку и широко расставить ноги, чтобы очередная невозмутимая личность протисну-

лась у иее между колеи. Все боялись вериуться в свои комиаты, все приспособились, речь уже не шла ии об удобствах, ни о сохраиеиии приличий. Айна, как наименее устойчивый персоиаж, упала в обморок, и тут же, лежа на полу, иачала бугриться, колыхаться, потому что под нее подползли в иадежде выбраться с другой стороиы иаши новые зиакомцы, наши поковеркаиные луиы, дыии и черт зиает еще что. Общая судьба явственно предстала перед иами, иам приходилось теперь спать на живом, под нами должно было ползать, перемещаться, ырять, ии одна постель, ии одно кресло ие гарантировало отдыха, ну и что, человек ко всему приспосабливается, и вскоре жизнь вернулась в свое русло. Появились подпорки для рук, особые позы (руки в бок), рты были постоянно разинуты, чтобы пришельцы не заткнули нам глотку в поисках выхода, которого в обозримом пространстве ие было, в чем их и иадо было убедить. Имант и Эдгар покииули Айиу и разошлись друг с другом, Айиа бродила как живое распятие, как воплощенное горе, как ярко выраженное одиночество. Имант со своей беленькой бородкой смотрел издали с большим напряжением, что могло выражать и то и это, ио выражало, иа наш взгляд, опасение за свою жизнь и за все то, что ои еще собирался сделать, хотя в свете последиих событий ои не мог думать, что все остается по-прежиему и его планы в том числе. Эдгар ходил как бы помахивая крыльями, ои же изобрел ту походку, которой иемедленно воспользовались все: иосками внутрь, напружинив икры иаружу. Таким образом, создавался широкий фронт для прохождения пришельцев и одновременно ие терялось человеческое достоинство, потому что существуют же косолапые люди, и они ходят на кривых иогах как ии в чем ие бывало, они не виноваты.

Одна только Айна сидела взаперти у себя в номере, и имеиио к ней сквозь все щели тянулись наши пришельцы (у всех двери были широко раскрыты, и поток пришельцев иаблюдался только односторонний — через щели в окнах к раскрытым дверям. Было установлеио, что из широкого в узкое они ходят хуже и неохотией: это было похоже на иекий закои, были предположительно иайдены и истоки появлеиия существ, что это мутации то ли микробов, то ли еще чего-то, гиганты с призрачной структурой и иамеком иа хвостик. (Хвостик особеино иеприятно извивался при прохождении под лежащим телом, ибо мы ведь спали, не обращая ни на что внимания, только отмечая извивы хвостиков.) Одна лишь Айна сидела у себя запершись, и к ией

лезло неисчислимое количество пришельцев с улицы и от нас. Было вдруг замечено, что чем дольше заперто у Айны, тем больше устремляется к ней существ и тем меньше их у нас. Они, видимо, не размножались беспредельно, число их было конечно, так что в итоге все уравновесилось, у каждого в номере жило по два-три постельных существа, но зато у Айны ими, видимо, кишмя кишело. Как она могла так жить, непонятно, их у нее развелось как тараканов, она и выскакивала в столовую вся измордованная и жаловалась, что не спит, что нет сил жить. Она ведь ходила по-прежнему грациозно, на прямых ногах, разве что надела брюки, и словно черви мелькали у нее под мышками и в промежности хвосты пришельцев, снующих взад-вперед, и все от нее отвернулись.

И когда однажды она, вдруг сообразив что к чему, широко распахнула свою дверь, кто-то просто, проходя мимо, вынул из ее дверей ключ и запер ее снаружи, чтобы пришельцы опять не сунулись к нам. Айна билась об дверь, колотилась, потом выбила себе окна, запертые по причине холодов, потом все замерло, и мы заснули, сотрясаясь во сне от лазающих в постели пришельцев.

А Айна осталась жива, хотя никто ее не отпер. Она спрыгнула с четвертого этажа на глазах у всех, когда все гуляли по пляжу врастопырку. Она постояла в своем разбитом окне, а потом прыгнула, а вся ее кривомордая команда дружно всколыхнулась и понесла ее — они же летали, как мы могли забыть. Айна летела над нами, как торпеда, а эти бледнолицые сопровождали ее почетным эскортом, поддерживали ее в полете, и это было красиво, во-первых, а во-вторых, это ведь было решение вопроса: можно было бы спать на весу, они поддержали бы, у них не было другого выхода. Для этого достаточно было упасть с кровати, чтобы тебя подхватили: это открытие сделал белокурый Имант, его как-то застали в раскрытую дверь за таким вот лежанием, и вскоре все мы так спали, на весу. А наша прекрасная Айна улетела, мы ей завидовали, потому что ни у кого из нас не было достаточно сопровождающих лиц, чтобы улететь отсюда вон, она увела всех своих, а транспорт на Земле больше не ходит. Иногда мы видим перелетных пташек, таких же, как Айна, они несутся над нашими головами, а мы разводим в огородах картофель, потому что остались здесь пожизненно. Ну и что, прекрасная судьба. Правда, уже началась борьба за овладение лишними существами, остающимися после мертвых (от живых они не уходят), и

все большее число захватывают себе Имант и Эдгар, так что скоро и они полетят, и единственно что — им так скоро и так высоко не улететь, как удалось Айне, лун у них мало, а цена слишком высокая, человеческая жизнь, мы не так легко расстаемся с жизнью...

РУКА

Одному полковнику во время войны жена прислала письмо, что очень тоскует и просит его приехать, потому что боится, что умрет, не повидав его. Полковник стал хлопотать об отпуске, как раз перед этим он получил орден, и его отпустили на три дня. Он прилетел на самолете, но за час до его прилета жена умерла. Он поплакал, похоронил жену и поехал на поезде назад, как вдруг обнаружил, что потерял партийный билет. Он обшарил все вещи, вернулся на тот вокзал, откуда уехал, все с большими трудностями, но ничего не нашел и наконец возвратился домой. Там он заснул, и ночью ему явилась жена, которая сказала, что партбилет лежит у нее в гробу с левой стороны, он выпал, когда полковник целовал жену. Жена также сказала полковнику, чтобы он не поднимал с ее лица покрова.

Полковник так и сделал, как говорила ему жена: откопал гроб, открыл его, нашел у плеча жены свой партбилет, но не удержался и поднял с лица жены платок. Жена лежала как живая, только на левой щеке у нее был червячок. Полковник смахнул червячка рукой, закрыл лицо жены покрывалом, и гроб снова закопали.

Теперь уже времени у него было совсем мало, и он поехал на аэродром. Нужного самолета не оказалось, но вдруг его отозвал в сторону какой-то летчик в обгоревшем комбинезоне и сказал, что летит как раз в те края, куда нужно полковнику, и подбросит его. Полковник удивился, откуда летчик знает, куда ему нужно, и вдруг увидел, что это тот самый летчик, который вез его домой.

— Что с вами? — спросил полковник.

— Да я маленько разбился, — ответил летчик. — Как раз на обратной дороге. Но ничего. Я вас подброшу, я знаю, куда вам надо, мне это по пути.

Оии летели иочью, полковник сидел иа железиой лавке, идущей вдоль самолета, и удивлялся, как это самолет вообще летит. Внутри самолет был сильно покорежен, везде висели клочья, под ногами катался какой-то обгорелый чурбаи, сильно пахло горелым мясом. Оии прилетели очень быстро, полковник еще переспросил, туда ли они прилетели, а летчик сказал, что точно туда. «Что это у вас самолет в каком виде?» — сделал замечание полковник, а летчик ответил, что всегда убирал штурман, а он только что сгорел. И ои стал вытаскивать из самолета обгорелый чурбаи со словами «вот мой штурман».

Самолет стоял на поляне, а вокруг бродили раненые. Со всех сторон был лес, вдали горел костер, среди разбитых машин и пушек лежали и сидели люди, кто стоял, а кто ходил среди других.

— Ты куда меня привез, сволочь? — закричал полковник. — Разве это мой аэродром?

— Это теперь ваша часть, — ответил летчик. — Откуда я вас взял, туда и доставил.

Полковник понял, что его полк находится в окружении, разбит иаголову, и проклял все на свете, в том числе и своего летчика, который все возился с чурбаиом, которого он называл штурманом и упрашивал встать и пойти.

— Ну что же, начнем эвакуацию, — сказал полковник, — сначала штабиые бумаги, полковое зиамя и особо тяжелораненых.

— Самолет больше никуда ие полетит, — заметил летчик.

Полковник выхватил пистолет и сказал, что расстреляет на месте летчика за иевыполиение приказа. Но летчик насвистывал и все ставил чурбан то одной, то другой стороной на землю со словами «ну давай, пойдем».

Полковник выстрелил, ио, как видно, ие попал, потому что летчик все продолжал бормотать свое «пошли, пошли», а тем временем раздался гул машии, и иа поляиу выехала колонна иемецких грузовиков с солдатами.

Полковиик спрятался в траву за какой-то холмик, машины шли и шли, ио никаких ни выстрелов, ни команд, ни остаиовки моторов не последовало. Через десять минут машины прошли, полковиик подиял голову — летчик все так же возился с обгорелым чурбаном, вдали у костра сидели, лежали и прохаживались люди. Полковиик встал и пошел к костру. Он никого не узиавал вокруг, это был совсем ие его полк, здесь находилась и пехота, и артиллеристы, и Бог

знает еще кто, все в порванном обмундировании, с открытыми ранениями рук, ног, живота, только лица у всех были чистые. Люди негромко переговаривались. У самого костра сидела спиной к полковнику женщина в темном гражданском костюме и в платке на голове.

— Кто здесь старший по званию, доложите обстановку, — сказал полковник.

Никто не пошевелился, никто не обратил внимания на то, что полковник начал стрелять, зато когда летчик прикатил к костру горелый чурбан, все помогли взвалить этого «штурмана», как его называл летчик, на костер и тем самым сбили пламя. Стало совсем темно.

Полковник весь дрожал от холода и стал ругаться, что теперь совсем не согреешься, от такого чурбана огонь не разгорится.

И тут женщина, не поворачиваясь, сказала:

— Зачем же ты посмотрел на меня, зачем поднял покрывало, теперь у тебя отсохнет рука.

Это был голос жены.

Полковник потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что находится в госпитале. Ему рассказали, что нашли его на кладбище, у могилы жены, и что рука, на которой он лежал, сильно повреждена и теперь, возможно, отсохнет.

МАТЕРИНСКИЙ ПРИВЕТ

Один молодой человек Олег остался без отца и без матери, когда умерла мать. У него осталась только сестра, а отец хотя и был жив, но, как потом выяснилось, был Олегу не отцом. Отцом же был какой-то неизвестный человек, с которым мать встречалась, уже будучи замужем. Об этом Олегу стало известно, когда он начал перебирать бумаги умершей матери, надеясь узнать о ней побольше. Тут и был им найден документ, а именно письмо, в котором неизвестный человек писал, что у него семья и он не вправе бросать двоих детей ради одного будущего неизвестно чьего ребенка. В письме была дата. Стало быть, мать хотела незадолго до родов бросить своего мужа и выйти за другого человека, и значит, действительно все обстояло так, как намекнула однажды старшая сестра Олега в беседе с ним, намекнула

мстительно и зло. Молодой человек, обнаружив это письмо, стал автоматически перебирать бумаги и нашел черный пакет с фотографиями, на которых его мать была изображена на разных стадиях раздевания, в том числе и голой. Все это было снято как театр, мать даже в голом виде держала над собой длинный шарф, и все это было большим ударом для молодого человека. Он слышал от родственников, что мать в молодости славилась своей красотой, но на фотографиях это была уже женщина лет тридцати пяти, стройная, но не особенно красивая, просто хорошо сохранившаяся.

После этого удара молодой человек — а ему было шестнадцать лет — бросил школу, бросил все и два года вплоть до армии ничего не делал, никого не слушал, ел что было в доме в холодильнике, уходил, когда отец и сестра возвращались домой, приходил, когда они спали. Он дошел до полного истощения, и отец своей властью добился, что его должна была осматривать врачебно-трудовая экспертная комиссия, чтобы дать ему пенсию по шизофрении, но в последний момент, перед самой комиссией, отец скончался ночью у себя в постели, и все расстроилось. Сестра быстро разменяла квартиру, оставив Олега одного в его комнате, и он вскоре пошел в армию.

Там у него случилось событие: его вместе с другими солдатами поставили на горной тропе, на перевале, через который должен был идти из колонии сбежавший заключенный. Этот заключенный гулял на свободе уже около месяца, успел убить на своем пути пятерых, среди которых была и девушка, н приближался к единственному горному перевалу, через который шел путь на Большую землю, то есть в европейскую часть. По всем сведениям, зэк должен был показаться не скоро, но засаду засадили на тропе заранее, за три дня, мало ли каким транспортом мог воспользоваться беглец. Засада состояла из Олега, сержанта и еще троих солдат, они сидели за большим камнем, положив на него автоматы. Они поочередно сменялись, и как раз в дежурство Олега на тропе показался мужик, фотографию которого им заранее показали. И Олег не выдержал и расстрелял его, а потом оказалось, что это был другой человек, вольнопоселенец, уже отсидевший срок и пробиравшийся, тоже, правда, нелегально, домой в Россию. Настоящий же преступник был схвачен на соседнем перевале. С Олегом поступили хорошо, его признали временно невменяемым, положили в больницу, а потом вообще уволили из армии как не годного к прохождению военной службы, и он еще

дешево отделался, потому что жена вольнопоселенца, говорят, все разыскивала того ненормального солдата, который убил ее мужа, только-только нарушившего на несколько шагов границу своего поселения — по перевалу проходила административная граница области.

Олег возвратился домой. Он был уже почти совершенно лысый, зубы у него выпадали один за другим, есть было нечего, делать было нечего, кроме как идти работать безо всякого образования. Однако старшая сестра вдруг появилась в его жизни, взяла все дела в свои руки, устроила Олега в техникум, убрала в комнате, привозила продукты и деньги, хотя была ему не полностью родная сестра и никогда раньше его не любила. Однажды вечером, когда она собралась уходить, она как бы между прочим сказала:

— Ты мне не верь, что я тебе тогда наговорила насчет матери, это ее наш отец подозревал, он был тяжелым человеком и мог свести с ума кого угодно.

И она ушла.

После ухода сестры Олег открыл чемодан, стал рыться в бумагах, в которых лежало письмо, но нашел только конверт, в котором оказалась фотография материнских похорон. В том самом черном пакете, где Олег ожидал увидеть фотографии раздевающейся матери, лежала только черная бумажка, очень старая и ветхая, и когда Олег стал ее вытаскивать, она тут же рассыпалась в прах.

Олег стал просматривать бумаги и везде читал письма матери к отцу, в которых говорилось о любви, о верности, об Олеге и как он похож на отца. Олег проплакал весь вечер, слезы лились у него из глаз непроизвольно, а на следующее утро он стал ждать сестру, чтобы рассказать ей, как он сошел с ума в шестнадцать лет и видел то, чего не было, и из-за этого даже убил человека, совершенно не похожего на ту фотографию, по которой его надо было опознать.

Но он так и не дождался сестру, она, видимо, забыла о нем, да и он вскоре забыл о ней, занятый своей жизнью. Он окончил техникум, потом институт, женился, обзавелся детьми.

Причем он был черноглазым и жена его была черноглазая брюнетка, а оба сына получились белокурые и с голубыми глазками — точь-в-точь умершая мать, их бабушка.

Однажды жена вдруг предложила съездить на могилу к его матери. Они нашли могилу с трудом, на старом кладби-

ще надгробия стояли в страшной тесноте, и на материнской могиле вдруг обнаружилось второе надгробие, поменьше.

— Наверное, отец, — сказал Олег, который отца не хоронил.

— Нет, прочти, это твоя родная сестра, — ответила жена.

Олег ужаснулся, что так мог забыть о своей сестре, он нагнулся к плите и прочел надпись. Это действительно была сестра.

— Только дата смерти что-то перепутана, — сказал он, — сестра приезжала ко мне гораздо позже этой даты смерти, когда я пришел из армии. Я ведь тебе рассказывал, она меня поставила на ноги, она буквально вернула мне жизнь. Я был молодой и по пустякам сходил с ума.

— Так не бывает, они не путают дат, — ответила жена. — Это ты перепутал. Ты в каком году пришел из армии?

И они заспорили, стоя у края могилы, заброшенной и заросшей, и сорная трава, сильно поднявшаяся за лето, касалась их колен, пока они не ушли.

СЛУЧАЙ В СОКОЛЬНИКАХ

В начале войны в Москве жила одна женщина. Муж ее был летчик, и она его не очень любила, но жили они неплохо. Когда началась война, мужа оставили служить под Москвой, и эта Лида ездила к нему на аэродром. Однажды она приехала, и ей сказали, что вчера самолет мужа сбили недалеко от аэродрома и завтра будут похороны.

Лида была на похоронах, видела три закрытых гроба, а потом вернулась к себе в московскую комнату, и тут ее ждала повестка на рытье противотанковых рвов. Вернулась домой она уже в начале осени и стала замечать иногда, что за ней ходит один молодой человек очень странной наружности — худой, бледный, изможденный. Она встречала его на улице, в магазине, где отоваривалась по карточкам, по пути на службу. Однажды вечером в квартире раздался звонок, и Лида открыла. За дверью стоял тот человек, он сказал: «Лида, неужели ты меня не узнаешь? Я же твой муж». Оказалось, что его вовсе не похоронили, похоронили землю, а его воздушной волной бросило на деревья, и он решил больше не возвращаться на фронт. Как он жил эти

два с лишним месяца, Лида не стала расспрашивать, он ей сказал, что все с себя оставил в лесу и добыл гражданскую одежду в брошенном доме.

Так они стали жить. Лида очень боялась, чтобы не узнали соседи, но все сходило с рук, почти все в те месяцы эвакуировались из Москвы. Однажды Лидин муж сказал, что приближается зима, надо съездить закопать то обмундирование, которое он оставил в кустах, а то кто-нибудь найдет.

Лида взяла у дворничихи короткий заступ, и они поехали. Ехать надо было на трамвае в район Сокольников, потом долго идти лесом, по какому-то ручью. Их никто не остановил, и наконец к вечеру они добрались до широкой поляны, на краю которой оказалась большая воронка. Уже темнело. Муж сказал Лиде, что у него нет сил, а нужно закопать эту воронку, потому что он вспомнил, что бросил обмундирование в воронку. Лида заглянула туда и действительно увидела внизу что-то вроде летчицкого комбинезона. Она начала бросать сверху землю, и муж ее очень торопил, потому что становилось совсем темно. Она закапывала воронку три часа, а потом увидела, что мужа нет. Лида испугалась, стала искать, бегать, чуть не упала в воронку и тут увидела, что на дне воронки шевелится комбинезон. Лида бросилась бежать. В лесу было совсем темно, однако Лида все-таки вышла на рассвете к трамваю, приехала домой и легла спать.

И во сне ей явился муж и сказал: «Спасибо тебе, что ты меня похоронила».

ТЕНЬ ЖИЗНИ

Сейчас это вполне взрослая, высокая замужняя женщина, а была сирота при бабушке, бабушка взяла ее к себе, когда мать исчезла, бывают такие случаи: человек исчезает. Отец исчез еще раньше, когда девочке было пять лет, на похороны ее не взяли, она думала: пропал, и очень боялась за мать, буквально цеплялась за нее, если мать вечером уходила, не плакала — не была вправе плакать, мать ее не баловала; тихая, смирная росла и дождалась, что мать действительно исчезла, и в свои девять дет девочка переноче-

вала одна, накрывшись маминым халатом, утром умылась и как была, в том же платье, пошла в школу. Соседи заметили неладиое через два дия, девочка перестала ходить в школу, из комиаты раздавались странные звуки, как будто кто-то смеется, а иа кухие иичего ие варилось, иикто ие выходил, в том числе и мать этой малеиькой Жеии. Соседка добилась от девочки признания в том, что она не ела ничего два дня и матери нет; все забегали, отбили бабушке телеграмму, и бабушка среди зимы забрала из маленького города иа реке Оке свою виучку и отвезла ее к себе в курортиый городишко у Азовского моря.

Дорога была зиакомая, Женя ездила к бабушке иа все каиикулы, но тут иикаких каиикул ие предвиделось, а было долгое ожидаиие. От матери ие иашли иичего, ии следа. Мать, говорила бабушка, всю жизиь боролась за правду и никогда ие воровала, а кругом все воровали, оиа работала в детском саду. Мать, считала бабушка, поехала куда-то в Москву добиваться правды (перед исчезновением ее уволили), ее, наверно, держат в доме сумасшедших: так бывает, считала бабушка.

Женя выросла тихой, симпатичиой девушкой, поступила в пединститут в другом городе, усилеиио занималась и прославилась в своем общежитии тем, что каждую бабушкину посылку с овощами, салом и сухофруктами ставила иа стол и всех кормила, а потом иаступали голодные деиьки, но сразу для всех. Жеия как росла при матери и бабушке без претеизий, так и сейчас жила в своем общежитии.

У иее появился молодой человек, строитель и даже бригадир иа стройке, который весиой возил ее иа электричке в лес, читал ей свои самодельиые стихи, ио был, к сожалеиию, жеиат, как оказалось.

Жена его как-то обнаружила Женю, нашла ее в общежитии, увела иа улицу и рассказала, что Саша женат, у него двое детей и оиа сама времсино с ним ие живет, потому что у иего веиерическая болезиь, ои обязаи лечиться, и оиа сама тоже лечится от него, а где ои это подхватил, вот вопрос, сказала эта жеиа и с ненавистью посмотрела на Женю. Они сидели на скверике. «А тебя, — добавила супруга Саши, — свободно надо убить, как ты распростраияешь заразу».

Нищей студентке ие с кем было посоветоваться, оиа боялась идти в поликлинику (все сразу все узнают), ио, по счастью, блуждая в районе рынка, оиа увидела вывеску: «Веиерические заболеваиия». Ее приняла старуха врач.

Нужны были деньги, без денег врачиха даже не согласилась ее выслушать. Женя вынула из ушей мамины сережки, единственную память, врач взяла сережки, увела девушку на осмотр и сказала, что надо подождать анализов. Анализы пришли хорошие, Женя, по счастью, не заразилась, либо Сашина супруга наврала. Но Саша не появлялся на горизонте, а Женя поняла, что не так все просто у людей и существует тайная, упорно процветающая, животная сторона жизни, именно там сосредоточены отвратительные, безобразные вещи, и не убили ли вообще маму, думала взрослая (18 лет) Женя, ведь мама была еще молодая и могла попасть в эту тень жизни, где погибает так много людей.

Тем более что тут же летом с Женей случилось несчастье, как раз у бабушки. Тем летом за городом на свалке были найдены два женских трупа, изрезанные, изувеченные, с руками, вывернутыми, как выжатые тряпки, без голов. Городишко гудел. Видимо, убили двух каких-то отдыхающих или туристок, потому что свои были все на месте.

Не очень поздно вечером Женя возвращалась от подруги, и недалеко от дома ее с двух сторон схватили. Это были подростки лет по 16-17, трое, смуглые, то есть, по-местному, чурки, она их не знала, они не знали ее, за три года отсутствия они-то как раз и выросли. Они приняли ее за чужую. Они заткнули ей рот кляпом и вели, вывернув руки за спиной, точно по тому сценарию. Женя шла вогнувшись, толчками, рывками, под лопатку ее кололи ножом. Они переговаривались по-своему, Женя кое-что понимала, они называли себя греками в городишке, но это были не греки. Женя поняла, что на ходу спорят, кто первый, потому что один укорял другого, что он болен нехорошей болезнью. Они покрикивали в ночной тьме, ругались по-русски, волоча бегущую согнутую Женю, как вдруг все вокруг осветилось. Будто бы включили прожектор. Трое остановились, выпустив на мгновение Женю, и она, завидев освещенную стройку и старика и женщину среди наваленного камня, рванулась изо всех сил к ним, вытащила кляп изо рта и закричала: «Убейте меня! Убейте меня!» Она стояла около старика, протягивала к нему распухшие руки и кричала: «Убейте меня, но не отдавайте им!»

Трое возмущенно заорали, что это шлюха и она им должна, они платили! Они кричали по-русски.

Старик отправил парней вон одним жестом руки, сказал

по-ихнему «иднте», и трое повернулись, как солдаты, и канули в ночную тьму, услышав свою речь.

Старик сказал Жене, что проводит ее в дом, женщина осталась на стройке, и Женя мельком рассмотрела ее склоненную голову и подумала, как была похожа на маму. Женя боялась уходить, но старик пошел, и пришлось идти. Старик привел ее к какому-то дому, Женя ничего не узнавала в ночной тьме, и, войдя в комнатушку как в чулан, она услышала, что старик запер за ней дверь и удалился. Женя села на пол, потом нащупала неровную, корявую стену, прнслонилась к ней н заснула.

Утром она очнулась в каком-то месте, она сидела спнной к шершавому стволу тополя, вокруг был глухой, заросшнй пустырь.

Женя побежала, ннчего не узнавая вокруг, наконец нашла дорогу домой и легла спать в сарайчнке во дворе. Было раннее утро.Бабушке она сказала, что ночевала у подруги, так как боялась идти домой. Также Женя сказала, что постарается сегодня уехать. Бабушка, наверно, все поняла, рукн у Жени былн огромные н сплошь в синнх пятнах, угол рта надорван.

Бабушка сказала, что этой ночью она не спала, рылась в старых вещах и нашла в сундучке сережки своей дочки и иконку, еще от бабушки, и хочет отдать это Жене.

Женя вдела в ушн матернны сережкн, точно такне, какие недавно сняла, взяла нконку, собрала свои бедные вещнчки и пошла на вокзал. Она нарочно решила пройтн мнмо той стройки, чтобы увидеть старика н женщину, похожую на маму, но ннчего такого не обнаружила. Не было нн стройкн, нн того пустыря, снял белый день, кругом тянулнсь дома н сады.

Бабушка, провожавшая ее, ни слова не спросила, почему Женя идет не на вокзал, а в другую сторону, к свалке, а Женя сказала вдруг, что думает, где-то тут должна быть могила мамы, надо понскать у тополя на пустыре.

Бабушка возразила, что дочь ее исчезла совсем в другом городе, но Женя не слушала, а все нскала тополь, н у первого же попавшегося села на землю, прнслонилась к стволу и заплакала навзрыд.

Онн так посиделн некоторое время, плача, а потом Женя в своем знмнем платье с длннными рукавамн уехала нз городка насовсем и с тех пор больше не ждала свою мать и не разыскивала ее по пснхбольницам и тюрьмам. Сережек, правда, она не сннмала и не снимает.

Монологи

ТАКАЯ ДЕВОЧКА

Теперь она как бы для меня умерла, а может быть, она и на самом деле умерла, хотя за этот месяц никого в нашем доме не хоронили. Наш дом обыкновенный — пять этажей без лифта, четыре подъезда, напротив точно такой же дом и так далее. Если бы она умерла, сразу бы стало известно. Значит, она еще живет как-то.

Вот гляди: у меня к ящику с незаполненными формулярами приклеена фотокарточка, контакт. Это она, Раиса, Равиля, ударение на последнем слоге, татарка. Ничего не видать на этом контакте, лицо волосами завешено, две ноги и две руки: в позе «Мыслителя» Родена.

Она всегда так сидит, даже недавно у меня на дне рождения так сидела. Я ее в первый раз наблюдала в отношениях с другими людьми, до этого времени мы общались только между собой, двое на двое — она со своим Севой и мы с моим Петровым.

Оказалось, что и танцевать она не умела и сидела тихо, как мышь. Мой Петров ее вытянул танцевать, но она после этого танца сразу ушла домой.

Да, танцевать она не умеет, но проститутка она профессиональная. Ее Севка откуда взял, из какой ямы выгреб? Она только что из колонии вышла и опять пошла по рукам, а он на ней взял и женился. Он сам в растроганности об этом рассказал, но просил под страшной клятвой, чтобы я никому не говорила. Он и про ее отца рассказывал, как Раиса с пяти лет клеила коробочки для пилюль, они с матерью клеили для отца, это отец достал себе такую работу, потому что был инвалидом. А потом мать умерла от сердца в больнице, и отец стал открыто приводить к ним в комнату жен-

щин. И начал спать с Раисой. В общем, страшные вещи. И как Раиса сбежала из дому, попала к каким-то мальчикам в пустую квартиру, и они ее несколько месяцев не выпускали, как потом, через сколько-то времени, эту квартиру раскрыли. Но это все история, это никого теперь не касается, а важно то, что Раиса и сейчас этим занимается.

Севка уходит на работу, она остается дома, она нигде не работает. Севка ей оставляет обед — приходит домой, а она даже не разогрела, даже на кухню не ходила. Лежит целыми днями, курит или по магазинам шастает. Или плачет. Начнет плакать ни с того ни с сего — плачет четыре часа подряд. И конечно, соседка ко мне прибегает, на ней лица уже нет — бегите спасайте Раечку, она плачет. И я мчусь с валидолом, с валерьянкой. Хотя у меня у самой бывает такое — и не просто так, без повода, — что хоть ложись и помирай. Но что у меня творится в душе, какие тяжести мне приходится выносить — никто не знает. Я не кричу, не катаюсь на неубранной кровати. Только когда меня мой Петров бросал в первый раз, когда он с этой Станиславой хотел пожениться и они уже искали деньги в долг на развод и кооператив и хотели усыновить моего Сашу, — только тогда я единственный раз в жизни сорвалась. Правда, Раиса меня тогда защищала, как своего детеныша, и на Петрова бросалась прямо с ногтями.

У Петрова моего это бывает по три-четыре раза в год, такая любовь вечная, бесконечная. Это я теперь уже знаю. А сначала, когда он уходил от меня в первый раз, я чуть было не бросилась с нашего третьего этажа. Я прямо вся дрожала от нетерпения все кончить, потому что накануне он мне сказал, что приведет Станиславу знакомиться с Сашей. Сашу я рано утром отвезла к матери на Нагорную, а потом вернулась и ждала их целый день. А потом полезла на подоконник и стала привязывать кусок провода, который остался после того, как Петров натянул его на кухне в несколько рядов для Сашиных пеленок. Провод был крепкий, изолированный хлорвинилом. И я привязала этот провод к костылю, который давно Петров вбил в бетонную стену, чтобы укрепить карниз. Тогда еще мы только получили эту комнату, и еще Саши не было, и я помню, что Петров бил стену почти час. Я обвязала концом провода этот костыль, но провод был гладкий, и все никак не держалась петелька на костыле. Но я все-таки примотала провод, сделала петлю на другом конце для шеи, как-то сообразила, что куда вязать. И как раз в этот момент с лестницы стали

нашу комнату открывать ключом. И я забыла все на свете — даже забыла про Сашу, а помнила только одно, что они хотят его усыновить, и от этого он уже как будто был для меня испоганенный, как будто не я его родила, не я кормила. И я испугалась, что уже Петров со Станиславой входят в квартиру, и рванула окно за ручку так, что пластырь затрещал. Мы на зиму заклеивали окно пластырем.

А в комнате было уже темно, за окном было видно дом напротив, пустой, без огней — его еще не заселили, только неглубоко внизу горел уличный фонарь. И я еще раз рванула окно, так что даже рама подалась. И в этот момент в комнату вошла Раиса и кинулась обнимать меня за ноги. Она слабая, а я сильная и разъяренная была в этот момент, но она уцепилась за мои ноги как собака и все твердила: «Давай вместе, давай вместе, подожди меня». А я тогда подумала в том плане, что ты-то что лезешь, что у тебя за печаль, — и даже оскорбилась как-то за себя. У меня, можно сказать, жизнь обвалилась, меня бросил муж, бросил с ребенком и ребенка этого хочет отнять — а ты-то что? Но Раиса лезла и лезла коленкой в открытое окно, хотя кидаться с нашего третьего этажа в глубокий снег без петли на шее — это смешно. И я ее со всей силой оттолкнула и попала рукой по лицу, а лицо было мокрое, скользкое, ледяное. И я спрыгнула с окна совсем, закрыла окно, а пластырь весь скорчился, и не было никакой возможности его натянуть, да и руки у меня плохо слушались.

И у меня после этого случая осталось только одно — холодность в голове. Не знаю, то ли Раиса сыграла здесь свою роль, но я поняла, что все эти бессмысленные метания и поступки по первому крику души — все это не мое. Что же мне равняться с Раисой?

И оказалось, что все действительно надо было делать с умом. Я сделала так, что эта Станислава вскоре стала сказкой. Это оказалось очень легко, потому что Петров мне по своей глупости проговорился, где и кем она работает, а уж имя у нее было редкое. Потом у Петрова пошли другие, я даже многих по имени и не знала и плевать на них хотела, а не то чтобы бросаться и вешаться. И когда он заводил со мной разговор о разводе, я только отмахивалась. На меня не действовал его плач, его слова о том, что он меня ненавидит. Я ему только говорила с усмешкой: «От себя, мой милый, не убежишь. Если ты шизофреник, то пойди полечись».

Но, по правде сказать, у него было безвыходное положенне: выпнсаться нз его комнаты, он знал, я не выпншусь. Мне некуда. Нашу шестнадцатиметровую комнату разменять на две невозможно. И еще одно: когда у нас родился Саша, Петрову на его производстве обещали двухкомнатную квартнру. Поэтому я каждый раз знала, что он погуляет н вернется, потому что, когда построят дом и встанет вопрос о желающнх, тут ему, одному, да еще разведенному, не дадут ннчего. А уж когда получим двухкомнатную квартиру — тогда и разменять ее можно, и развестись. Так что каждый раз Петров оставался со мной ждать двухкомнатной квартнры. А может быть, и не в этом было дело, н он возвращался ко мне не поэтому. Потому что я всегда чувствовала, если Петрову по-настоящему прнспичит, он не посмотрнт нн на квартиру, ни на что, а уйдет, как будто его и не было.

И когда кончался у него очередной роман, он начинал оставаться вечерами дома, прнглядывался ко мне, как я летаю из кухни в комнату, помогал мне с Сашей — даже брал его из детского сада и укладывал спать, когда у меня бывала вечерняя смена. И наконец, приносил бутылку полусладкого шампанского, зная, что я это внно люблю. Надо сказать, что я всегда такой момент предвидела н тоже со своей стороны готовилась к нему. Он говорил мне со вздохом: «Выпьешь со мной?» — и я доставала из кухонного буфета чешскне фужеры. Это было всегда волнующе, как первое свидание, с той только разн394цей, что мы оба знални, чем это сегодня кончнтся. Такие зигзаги в нашей жизни придавалн ей остроту. И Петров мне шептал, что я самая горячая, самая нежная, самая темпераментная.

А Ранса — она ведь в такнх вещах стенка стенкой. Нашн знакомые ребята, которые с ней имелн дело — нельзя сказать, что спалн, потому что все это обычно пронсходнло днем, когда Севкн не было дома, и достаточно было застать ее в комнате одну, чтобы очень легко всего добнться, — ребята говорилн, что с ней неннтересно и она ведет себя так, как будто ей не то что все равно, а даже противно. И она ни с кем не желала после этого разговаривать, как это обычно бывает, — ведь люди не только животные, но и мыслящие существа, им интересно знать, чем живет тот человек, который с ннм рядом, кто этот человек вообще. Мы нногда с Петровым разговарнвалн целымн ночами, особенно после его знгзагов, и не моглн наговориться. Он мне рассказывал о своих женщннах, сравннвал их со мной, а мне все было

мало — я выпытывала у него все новые и новые подробности. И мы вместе смеялись, правда очень по-доброму, над Раисой. Ведь все наши знакомые ребята, ну буквально все, даже с родины Петрова, приезжавшие к нам, все перебывали у Раисы. И все нам о ней рассказывали.

Вот, например, такой мальчик, Грант, земляк Петрова. Мы ему писали, что если он приедет и нас не будет дома — ключ хранится в соседней квартире у Раисы, она почти всегда на месте. Мы уже давно так сделали, чтобы ключ был у Раисы, — так удобней. И ее ключ был у нас. Чтобы не звонить лишний раз друг другу в квартиру, не вмешивать в это дело соседей.

Когда мы оба вернулись с работы — Грант уже сидит на Сашиной диван-кровати, красный, грустный, рассматривает монографию Сислея. А на детском секретере лежат Раисины ключи от нашей двери. Мы все сразу поняли, засмеялись. Я спрашиваю: «Что, Раиса раскололась?» А он смотрит на нас с испугом, потрясенный. Потом, когда мы ему все объяснили, он протрезвел и успокоился, рассказал во всех подробностях. Говорит, что когда она открыла ему дверь, то он даже спросил: «Что вы меня так испугались? Я же не кусаюсь». А она отскочила в угол. Она была в одном халате, она всегда так дома ходит. И он добавил, что у него было такое впечатление, что она сама на все идет, потому что она боится чего-то, просто теряет память от страха. И от этого потом остается отвратительный осадок на душе, как будто оскорбил кого-то, хотя она ничего не говорила и не сопротивлялась.

Но мы его успокоили, чтобы он не волновался. Это у нее со всеми так внешне выглядит. Это она с первого раза производит впечатление маленькой, черненькой, тихой девочки, и танцевать-то она не умеет, и когда к нам приходят гости, она тише воды сидит на Сашиной диван-кровати, и вытащить ее танцевать можно только с большим трудом, потому что она пугается многолюдия. И все наши ребята на это попадаются, у всех просыпается охотничий инстинкт, все тянут ее из угла за руку, а она прямо вся дрожит. И уходит домой.

Она на меня и с самого начала нашего знакомства произвела какое-то жалящее впечатление, как новорожденное животное, не маленькое, а именно новорожденное, которое не умиляет своей хорошенькостью, а прямо жалит в самое сердце. Никакая любовь не мешает этому жалению, это чистая жалость, от которой перехватывает дух.

Началось это с того, что она позвонила к нам в квартиру в четвертом часу ночи, не разбирая, что это чужие люди, что ночь. Я открыла, она стоит в своем халатике, щеки мокрые, слезы льются с подбородка, руки в карманах, вся дрожит — и просит сигаретку. Я провела ее на кухню, включила свет, нашла у Петрова в пальто начатую пачку сигарет. Покурили мы с ней, я ее спрашиваю: «А где ваш Сева?» А она опухшими губами отвечает: «В командировке». Просидели мы с ней долго, я ей кофе сварила, пока она не перестала дрожать. Потом я почувствовала, что Саша во сне раскрылся, пошла в комнату, закрыла его, возвращаюсь — оиа опять скрючилась иа табуретке — плачет. «Что вы? — спрашиваю. — Наверно, по мужу скучаете?» Оиа подняла голову и говорит: «Я боюсь атомной бомбы». Не смерти она боится, а бомбы, представляешь? И видно, что ни капельки она ие играет — вот чего в ней никогда не было, так это игры. Она все делала то, что приходилось делать, и никогда не притворялась. Вот что в ней было странного — у нее совершенно не было сопротивления, что ли. Что-то в ней было испорчено, какой-то инстинкт самосохранеиия. И это сразу чувствовалось.

Перед уходом, в дверях, оиа заплакала снова и так и ушла к себе. Я не стала ее удерживать — уже начиналось утро, мне к девяти было на работу. И потом, на работе, я всем своим девкам рассказала про свою соседку, такую девочку, совесть мира. Я даже гордиться ею иачала.

И мы ие могли дия друг без друга прожить. Или оии с Севкой у нас торчали, или мы у иих. Пойдешь за сигаретой — она просит: посиди, покурим. И на два часа. Я ей все рассказывала, вот как сейчас тебе. Я такой человек, мие легче от этого, когда я рассказываю. И вот мы два часа сидим, мировые проблемы обсуждаем — о жизии, о людях. Я-то спокойно сижу, разговариваю. Я хорошая хозяйка, у меня уже с утра все сделано, уже и обед готов, и сразу после обеда я в иислитут сматываюсь, когда у меня вторая смена. А оиа и не работает, и иичего у ней не сделаио — как будто оиа и не жеиа Севке. Ои и иа работу, и в магазин, и домой летит как сумасшедший, как будто у него там младенец кричит. Придет, все уберет — хотя от Раисы, кроме полной пепельницы, никакого мусора не оставалось. Тарелок она не пачкала, Севка ей в кастрюльке суп оставит, на сковороде второе — она даже и не заглянет, даже ложкой не поболтает.

Севка и к врачу ее водил, отпросился с работы и повел.

Врач нашел у нее полное истощение и даже чуть ли не дистрофию. Как будто человек в блокаде живет. Прописал ей колоть алоэ.

Она купила себе шприц — и вот вам развлечение, колет сама себе в ногу повыше колена. Все у нее по порядку — тампоны, спирт, бикс для стерильной ваты, сама кипятит иглу. Откуда-то она это знает. Потом сядет к окну, скажет: «Отвернитесь», — и такой тихий цедящий звук раздается, такое сипение. Я прямо внутренне содрогаюсь, смотрю на Севку — он белый стоит, о притолоку опирается. А она говорит: «Все, дураки», а сама еще шприц не вынула, еще следит, как последний осадок из шприца выходит.

Так мы дружили, она с моим Петровым из-за меня сколько раз схватывалась. Ругаться она не умела как следует, а только говорила: «Ты настоящая сука, понял?» Наверное, так в колонии ругались.

Петров тут недавно одной девушкой занялся, у нас же в институте работает, в лаборатории у Антоновой. Ты ее знаешь, такая полная, рыхлая, пустое место. И мой Петров заходит и заходит за мной на работу, хотя знает, допустим, что я во вторую смену и идти домой не могу. И все-таки спрашивает: «Идешь домой?» Отвечаю, что нет. «Тогда не буду тебя ждать», — и идет прямиком к той в лабораторию. И она, как ни странно, ко мне в картотеку стала заходить. А Петров уже тут как тут. Общий разговор, и уже я оглянуться не успела, как Петров ее приглашает к нам в гости. Он вообще очень любит, когда к нам гости приходят, просто жить без этого не может. Если вечер у нас пустой, он сидит мрачный, а потом вдруг сорвется и уйдет.

И как раз такое время наступило, что эта пустота обязательно должна была чем-нибудь заполниться. Я просто физически чувствовала приближение этого. Я смотрела по сторонам и отмечала про себя всех знакомых девчонок и спрашивала: эта или та? У нас в доме в это время бывало много народу. Сашу я почти переселила к маме на Нагорную, хотя у нее там была еще внучка. Каждый вечер гости — мы с Петровым жили лихорадочно, как на постоялом дворе, приходили к нам компании с гитарами, приносили вино. Я делала свои фирменные блюда — колбасу из печенья с орехами в целлофане и жареный лук с желтком и черными гренками. И у меня было такое впечатление, что все идет псу под хвост, все обваливается, все сейчас разлетится, потому что, несмотря на песни под гитару и танцы,

несмотря на магнитофон и красивых парней и девушек, было у нас в доме в эти вечера насильственно, скучно.

И я смотрела на всех этих молоденьких девушек, которые созревали целыми гроздьями в то время, как я рожала Сашу, растила его, ходила по магазинам, кормила и обстирывала Петрова, в то время как мы покупали магнитофон и детскую мебель для выросшего Саши. Девушки шли в наступление целыми ротами — красивые, модно причесанные, ловко оборачивающиеся со своими скудными стипендиями и зарплатами, готовые на все, агрессивные. Но я знала, что мне не их надо бояться. Все-таки я своего Петрова знала. И я смотрела на всех девушек и знала, что ему надо Раису, и не просто так, а на всю жизнь.

Но, как ни странно, отношения у них не только не наладились, но даже и ухудшились. Она его просто видеть не могла и все реже появлялась в его присутствии у нас дома. Она не могла ему простить того, что я валюсь с ног от неизвестности — ведь я ей все рассказала, кроме своего главного подозрения.

И потом вот он пригласил в гости эту полную, рыхлую Надежду из третьей лаборатории. У него есть эта странная привычка: каждую из своих девушек он обязательно приводит к нам в дом. Я не могу понять, что заставляет его так делать. Иногда я думаю, что он это делает ради меня, против меня, чтобы заставить меня еще больше мучиться и этим сделать свой зигзаг еще более для себя сладостным. Но вдруг я думаю, что я здесь ни при чем, что Петров приводит к нам свою очередную девушку ради собственного спокойствия, чтобы все было честно, без обмана и та девушка точно знала, на что идет, на что замахивается, — а сам Петров после этого как бы отстранялся от хлопот, уходил из мертвого пространства, разделявшего нас с этой второй женщиной, чтобы мы вели борьбу друг с другом, а не с ним. А может быть, Петров не способен на такой утонченный психологизм и просто вначале, когда у них еще дело не дошло до постели, заманивал ту вторую девушку двусмысленной, щекочущей ролью подруги семейной пары. Ведь сам Петров внешне довольно серый, и что в нем находят все эти женщины, я не знаю.

Короче говоря, в нашем доме посреди всего этого бедлама появилась эта девушка Надежда. Мне показалось даже, что Петрову она не очень интересна, что она только мой слабый постельный эквивалент и на этот раз зигзаг будет недолгий. Очень уж она была покорна, нетребовательна. В

ней не было ничего от дичи, которую надо бояться спугнуть. Она была как домашнее животное, которое можно было просто гнать хворостиной. Поэтому я ее пожалела. Мы немного с ней подружились. Мы вместе уходили из института, когда я работала в первую смену. И я постепенно выяснила, что она ничего в жизни не понимает, ни в чем не знает толка — ни в хорошем белье, ни в книгах, ни в еде. Она только слепо чувствовала, всей своей кожей, тепло и доброту и тогда, не меняя выражения лица и ни слова не говоря, шла на это тепло. На ее счету было в институте несколько ничем не окончившихся романов и даже беременность, в результате которой ребенок пришел на свет мертвым. Я помнила это происшествие и помнила, что бабы у нас говорили, что так для Надежды лучше.

Наша дружба втроем продолжалась довольно долго и ещё бы продолжалась, если бы не один случай. Выходя из комнаты за кофейником, я взглянула на себя в зеркало прихожей. Там отражалась часть комнаты и стол, за которым сидел Петров с Надеждой. И я увидела, что Петров осторожно, как ребенка, гладит согнутой ладонью Надежду по подбородку и что Надежда берет эту руку Петрова и кладет ее себе на грудь.

Я держала себя в руках, хотя мучилась только одним: как же так я могла проморгать? Почему я думала на Раису, когда реальная опасность — вот она, вспухла у меня под боком, и это тем страшней, что Надежда ничего из себя не представляет. Раиса все-таки — «совесть мира, такая девочка», а тут — пустое место.

Петров пошел провожать Надежду и вернулся в час ночи, истощенный и потерявший все силы, разбитый. Я его не тронула, не стала ничего ему говорить, потому что я знала: в таком состоянии Петров идет к одной цели — спать. Если бы я ему что-нибудь сказала и выгнала бы его, он бы мог спать на кухне, на лестнице, на подоконнике. Он мог бы уйти к Надежде и остаться у нее. Почему-то он пришел домой. Значит, еще не все потеряно. Значит, это у него еще не последняя стадия, а просто начало нового зигзага, который был не чем иным, как просто протестом Петрова против однообразия супружества. И ничто другое не заставляло Петрова так метаться. Просто ему в один прекрасный день становилось скучно. Иногда он откуда-то доставал и приносил какие-то безграмотно перепечатанные и переснятые лекции и медицинские советы — в сущности, чистейшую порнографию. Мы читали это вслух при Севке с Раи-

сой, но надо сказать, что на них это не производило должного впечатления. Они вежливо слушали, но им это было безразлично, как если бы мы вдруг взялись читать вслух советы больным атеросклерозом. Хотя нас с Петровым эти лекции ужасно, до красноты, смешили. И для нас начинался тоже некий зигзаг, но он бывал очень непродолжительным и совершенно лишенным того полного душевного умиротворения, которое наступало в тот вечер, когда Петров возвращался в лоно семьи.

Так вот я в расчете на то, что Петров сам собой вернется обратно и на этот раз, не обращала внимания ни на что — ни на поздние возвращения, ни на то, что Петров совсем забросил Сашу и перестал учить его читать. Но через некоторое время сосед по квартире сказал мне, что всю эту неделю, когда я работала в вечернюю смену, Петров приводил к нам какую-то полную девушку и уводил ее только перед моим приходом. В эти вечера и Саши не было дома — мама забирала его из детского сада и увозила к себе на Нагорную, так что комната была свободна.

Я тут же позвонила маме и попросила ее в виде исключения посидеть с Сашей этот вечер у нас дома, уложить его и подождать моего прихода. Мама не хотела, потому что у нее на Нагорной было много работы, мой старший брат буквально бросил ей на шею своего ребенка, Ниночку. Но я уговорила маму помочь мне — пускай брат обойдется в этот вечер без нее. Не помню, что я там наговаривала на своего брата, чтобы только улестить маму и заставить ее приехать ко мне. Мама ничего не знала о зигзагах Петрова, а если бы узнала, она бы немедленно развела нас. Поэтому я ей ничего не говорила, и у нее были довольно хорошие отношения с Петровым.

Как я и рассчитывала, в тот вечер Петров опять привел Надежду, и они наткнулись на мою маму. У них там что-то произошло, у мамы с Надеждой. Потому что, я повторяю, война шла не у нас с Петровым, а у нас с Надеждой. И это был мой расчет, что Надежда окажется слабой и при виде разъяренной тещи Петрова и при виде плачущего ребенка отступит.

Может быть, она и отступила. Но не Петров. Он вообще не пришел в эту ночь домой, и похоже стало, что в конце концов он так и не вернется. Несколько раз он приходил домой — за бритвой, за носками и рубашками, потом за магнитофоном. Он одичал, вытянулся и внезапно стал по-

хож на того милого мальчика, который до потери сознания любил меня когда-то.

Я ему ни слова не говорила, без звука отдала магнитофон и все, что он хотел, а он вел себя строптиво, как будто в уме заранее отвечал на незаданные вопросы. Но я молчала, хотя уже видно было, что никаким благородством его не вернешь.

И тут я поняла, что теряю все, весь мир. Только Раиса еще оставалась со мной по эту сторону, а весь мир был по другую. Мама, напуганная неожиданным результатом своего вмешательства, была рассержена на меня за эту подстроенную встречу. Саша? Я женщина трезвая. Я понимаю, что детская привязанность и любовь не направлена на родителей как на конкретных людей. Любое другое сочетание лица, фигуры, цвета волос, характера, ума он с такой же силой полюбил бы. Он любил бы меня, если бы я была убийцей, великой скрипачкой, продавцом магазина, проституткой, святой. Но это только до поры, пока он сосет из меня свою жизнь. Потом, все такой же безразличный ко мне как к человеку, он уйдет. Это сознание его близкой измены каждый раз обескураживало меня, когда я наклонялась обнять его, уже вымытого и лежащего в полутьме на своей диван-кровати. Может быть, этим своим чувством я была обязана Петрову, приучившему меня ожидать измены.

Мама тоже не любила меня. Да она никогда и не любила меня как человека, а только как свое порождение, свою плоть и кровь. Теперь, на старости лет, она была болезненно привязана к Саше и к другой своей внучке, Ниночке. А я, и Петров, и старший брат мой, и его жена были уже для нее безразличны — просто родные.

Я пошла к Раисе и рассказала ей все. У меня, как видно, есть уже опыт в таких рассказах. Я рассказываю своим девочкам в институте, рассказываю даже случайным знакомым женщинам вроде тех, с которыми вместе валяешься три дня в роддоме после аборта. Но Раисе я рассказала не так. Раиса действительно поняла, что она у меня на свете одна. Что здесь речь уже идет не о зигзаге, а о потере жилья для меня и для Саши, о потере надежды на двухкомнатную квартиру, о которой я так страстно мечтала и которая мне даже снилась. Сколько раз в наши ночные разговоры с Петровым обставляли ее мебелью. Петров хотел сам расписать стену в кухне, как Сикейрос, одной громадной фреской, хотел расписать даже белый эмалированный поддон от газовой плиты, хотел расписать холодильник. Это все были

мечты, хотя мой Петров неплохо рисует перышком, срисовывает из журналов знаменитых джазменов, вставляет их в черные багетики и вешает по стенам. Петров может вести партию фоно в джазе, несколько лет он выступал в самодеятельности в клубе «Победа», пока не почувствовал себя старым для всех этих смотров самодеятельности, для поездок в автобусах по подшефным клубам, для принудительного аккомпанирования участникам класса сольного пения. Петров освоил и перкаши и немного контрабас. И несколько раз он пел в сопровождении своего квартета — рояль, гитара, контрабас, ударник — английскую песню «Шейкёхэнд» — так она, кажется, произносилась. Но никто не оценил его простой, без хрипотцы и оттенков, голос, его безупречный английский выговор. Он пел не так, как говорил, в этом ведь тоже есть искусственность. Он пел просто, громко, деревянно, монотонно, но в этом было столько прямоты, столько мужской искренности, беззащитности. Он пел весь напрягшись, как струна, и немного вздрагивал в ритме песни. Я его слушала один только раз, когда Саше было два месяца. Мне было не до Петрова в тот вечер, молоко прямо-таки раздавливало мою грудь, стояло во всех долечках, и грудь чувствовалась как деревянная, граненая. Я нервничала, бесилась, чувствовала, что Саша хочет есть, а номер Петрова, как всегда, был в самом конце программы. И вот наконец он со своими ребятами вышел на сцену, они катили рояль, а он нес маленький микрофон, новинку. Долго ударник устанавливал свои перкаши, потом они сыграли Чемберлена, мягкий вальсок, потом наконец «Шейкёхэнд».

Петров пел, подрагивая в такт всем своим длинным телом, и я немного даже заслушалась его, но молоко вступило в грудь, и я поняла, что надо бежать к Саше, он сейчас кричит и требует свое. И я встала, хотя песня еще не кончилась, обернулась спиной к Петрову и побежала из зала. Мне было не до Петрова, как мне и сейчас не до него, потому что все во мне занял Саша, как тогда молоко заняло всю мою грудь, оставив только перегородки. И я до сих пор не знаю, как пережил Петров мое бегство из зрительного зала и хлопали ли ему так, как он этого заслуживал, — я его не спрашивала, он мне не рассказывал. Я ему так и не объяснила ничего, мы вообще в то время мало с ним разговаривали.

Не знаю, зачем я все это рассказывала Раисе. Я плакала перед ней, как будто она одна могла меня спасти. Я не

знала, чем мне вернуть Петрова. Не только квартира — мечта моя — рушилась, но и возникал грозный призрак Сашиной безотцовщины, а это самая худшая рана для меня, и, может быть, именно поэтому я так и цеплялась все время за Петрова. Я стану матерью-одиночкой, Саша будет тосковать по мужской руке и уйдет от меня, как только первый встречный товарищ поманит его. Он пойдет за любыми брюками, изголодавшись по мужскому слову и общению, он пойдет и в шайку и в колонию.

Я плакала перед Раисой, а она сидела как каменная, в своей позе на краю тахты. При слове «колония» она даже не вздрогнула.

Но наутро я уже просохла. Мне вдруг стало казаться, что у Петрова это очередной зигзаг, потому что он любит не Надежду и между нами не было ничего плохого, ни ссоры, ни разговора, — ведь это только моя мама с ним поссорилась, а моя мама — это же не я. И когда я шла на работу, у меня возникла вдруг шалая мысль пойти и поговорить с Надеждой. Но потом я это оставила. Ее можно стронуть с места только хорошим для нее, только заботой о ней и добротой, а что хорошего я могла ей предложить? Только-только она преклонила голову на моего Петрова — и чтобы она подобру ушла от него? Она меня даже не поймет.

Но главное было не это — главное было уговорить Петрова, чтобы он хотя бы фиктивно вернулся к нам. Пусть ходит где хочет, но чтобы Саша его видел. А как это предложить Петрову — ведь сам он на это не пойдет, и по моей просьбе тоже.

Я пошла к Раисе и попросила ее поговорить с Петровым по телефону. Так, мол, и так, что-то тебя давно не видно, зашел бы, поговорили — такой вариант разговора, простой и непритязательный, я ей предложила. Она согласилась. Но она согласилась как-то испуганно. Я, правда, на это не обратила внимания.

Вечером я зашла к Раисе. Она лежала на тахте и курила. Она сказала мне, что поговорила с Петровым. Что он завтра вернется. Вот и все, что она мне сказала, а потом вдруг, по своему обыкновению, начала плакать. Я принесла ей с кухни стакан воды и побежала за Сашей в детский сад.

Назавтра Петров вернулся с портфелем и магнитофоном. В портфеле у него лежали кóмом две рубашки и носки в газете. У нас было чисто, уютно, мы завтракали втроем. Саша тянулся к газете Петрова и спрашивал, где какая буковка.

Правда, конца зигзагу не было видно. Петров не замечал меня, мало бывал дома. Но это уже было лучше, чем полное отсутствие.

За делами я как-то не успевала заходить к Раисе. И необходимости такой у меня в этом не было. Все поглотил дом. У Петрова скоро должен был решаться вопрос с квартирой. Я бегала, записывалась на гарнитур, стояла в очереди.

Петров уже начал поглядывать на меня вопросительно, смотрел с явным удовольствием, как я летаю из кухни в комнату, как разговариваю с Сашей. Перед ужином Петров ушел, ни слова не говоря, и вернулся с бутылкой полусладкого шампанского.

Он сказал:

— Выпьешь со мной?

И я побежала на кухню за фужерами из чешского стекла.

Мы чокнулись. Я шутливо сказала:

— За Раису. За нашего доброго гения.

А Петров ухмыльнулся и как-то зло сказал, что правильно ребята говорили, она действительно стенка стенкой.

Тут только я обо всем догадалась и пожалела, что Раиса так меня предала.

И она перестала для меня существовать, как будто она умерла.

СЕТИ И ЛОВУШКИ

Вот что произошло со мной, когда мне было двадцать лет.

Собственно, мои двадцать лет не играют тут никакой роли — могло быть и семнадцать и тридцать: важно то, что я впервые выступила в такой роли, впервые оказалась в этой ситуации. Второй раз в той же ситуации я не оказывалась больше никогда; можно сказать, что я нюхом чувствовала возможность снова оказаться в той же роли — и тут же увиливала, ускользала из расставленных сетей. Впрочем, расставленных сетей никогда и не было, никто никогда — даже в тот первый и единственный раз — и не помышлял

меня загонять в какие-либо сети; честно говоря, никаких злых помыслов и ловушек с чьей-то стороны не было ни в первый, ни в последующие разы, не было даже простого, минимального интереса к моей особе; я была интересна и нужна в этой ситуации не сама лично, а как жена своего мужа, не больше.

Итак, не было совершенно никаких расставленных сетей в тот момент, когда мой муж, будущий аспирант, находился все еще по месту своей работы, а я, его жена, пребывающая в интересном положении, приехала к его маме в другой город. Вскоре и мой муж также должен был приехать вслед за мной, с тем чтобы устроить меня на новом месте, расписаться со мной, отпраздновать наконец нашу свадьбу, сдать экзамены в аспирантуру и зажить новой жизнью.

Таким образом, ближайшее будущее было ясным и безоблачным, остальное должно было уладиться в дальнейшем, и так оно и случилось.

То положение, в котором я находилась, было абсолютно простым, чистым и ясным; то есть оно было бы простым, чистым и ясным, если бы у меня на руках был документ, подтверждающий, что я жена Георгия. Во всем остальном все было нормально: я жена Георгия, еду пока что одна к его маме рожать, поскольку ему самому пока невозможно вырваться; он хочет, чтобы я родила ребенка в его доме, потому что рожать ребенка надо в спокойной обстановке, а не в атмосфере того угла, где мы жили с Георгием. Мне можно было, правда, ехать рожать к моим родителям, которые находились довольно далеко; однако мне хотелось как можно тесней связать свою судьбу с судьбой Георгия, его семьи, его мамы, которой я никогда еще не видела и которая знала о моем существовании только из писем сына.

Таким образом, все выглядело совершенно нормально, если не считать того факта, что я еще не была женой Георгия. А не была я женой Георгия по той простой причине, что он до меня уже был женат, имел ребенка пяти лет и его первая жена жила как раз в том же городе, где жила мама Георгия и где сам он провел большую часть своей жизни. Георгий разошелся с женой уже давно, и это не было просто результатом затянувшейся разлуки, когда муж работает в одном городе, а жена с ребенком живет в другом и постепенно связи распадаются, все друг от друга отвыкают и больше не ездят друг к другу, хотя прямых поводов ни к формальному разводу, ни к решительному объяснению нет. В случае Георгия все было гораздо убедительней: он платил своей жене алименты на сына, разошлись они, еще когда

жили в одном городе, жена Георгия забрала ребенка и ушла к своим родителям, а Георгия спустя некоторое время распределили в другой город, куда и я приехала учиться с Дальнего Востока.

Вот вам и история нашего знакомства с Георгием и одновременно история того, почему я спустя три года после начала своей учебы жарким летом ехала к маме своего мужа в чужой город с чемоданом, плащом и сумкой, в которой лежало письмо Георгия к матери.

Если говорить правду, Георгий не слишком был рад, что я еду рожать к его матери. Однако мне удалось настоять на своем, вернее, я просто сделала все по-своему, поскольку у меня были свойственные моему положению страхи: если я уеду на Дальний Восток к моим родителям, а Георгий поедет в аспирантуру, мы не сможем скоро соединиться и зажить своей семьей. На Дальнем Востоке я буду хорошо устроена, мой ребенок получит прекрасный уход, я пойду вскоре работать или учиться, и весь уклад моей жизни уже будет таков, что все устроится и без Георгия. Именно этого я и боялась больше всего: покоя и устроенности без Георгия, потому что знала его совестливую, благородную натуру, которая не позволила бы ему оставить меня с ребенком в непрочном положении. Я знала, что в такой ситуации, если она сложится, он придет мне на помощь. Это означало, что он просто приедет и все устроит как надо.

Неустроенность должна была автоматически повлечь за собой стремление к устроенности, в то время как любая устроенность — на Дальнем Востоке у мамы или в том городе, где мы с Георгием жили и где я могла бы, в случае чего, просить места в студенческом общежитии, — любая устроенность такого рода повлекла бы за собой задержку настоящей устроенности, поскольку душа Георгия с самого начала была бы спокойной за меня и ребенка, и он с легким сердцем начал бы новую жизнь в институте, и заставить его что-нибудь сделать — подать на развод, забрать меня с ребенком к себе — было бы практически невозможно.

Однако все вышеизложенное никак не объясняет тогдашнего состояния слепой восторженности, с которым я кинулась в объятия чужой семьи, а именно матери Георгия, Нины Николаевны. Она жила в старом, большом, благоустроенном доме, и каким наслаждением для меня было после пыльной летней улицы войти в ванную комнату, где раковина была старинной, фаянсовой, с синим узором и трещиной, а в ванне эмаль на дне уже протерлась до чугуна!

Наша первая встреча прошла тем не менее без излишних восторгов. Надо сказать, что Нина Николаевна не скрывала своих сомнений. Она внимательно прочла письмо, а я в это время наготове стояла в прихожей, решившись, если что, сразу же уйти. Чемодан я оставила в камере хранения и даже полдня (я приехала утром) потратила на то, чтобы найти себе где-нибудь возле вокзала койку переночевать.

Здесь надо сказать, что я рассчитывала на то, что со мной не слишком будут считаться в доме Георгия. Я все предусмотрела в этом смысле, потому что Георгий, который был старше меня на десять лет и многое в жизни видел, ясно обрисовал мне обстановку своего дома и свою мать. Он сказал мне о том, что все будет зависеть от меня и только от меня, от того, насколько я окажусь умной и самостоятельной, именно самостоятельной. Он повторял это слово на разные лады, объясняя мне его значение: самостоятельный — это тот, кто стоит сам, ни на кого не опираясь, не требуя ни от кого ничего. Только такой человек, учил Георгий, мог рассчитывать на успех у его мамы, только такой, а никак не слабый, радующийся любому сочувствию, готовый всем уступить, помочь, чтобы показать свою доброту и порядочность. Георгий потому так учил меня, что ему не нравилась во мне жажда всем угодить, всем понравиться, сразу и безоговорочно войти ко всем в доверие, не нравилось стремление открыть свою душу навстречу любой другой душе, с тем чтобы встретить понимание. Георгий хотел от меня большей твердости и внутренне весь каменел, когда я пыталась принимать гостей в нашей комнатке, где мы с ним жили после моего ухода из общежития. Георгию не нравилось мое угодничество, готовность смеяться любой шутке и принимать любые знаки внимания за чистую монету, за стремление к дружбе и только к дружбе. Когда друзья Георгия уходили, Георгий по нескольку дней мог не разговаривать со мной, недовольный тем, что все его воспитание идет насмарку, что из меня не получается тот стойкий, самостоятельный человек, который только и мог достойным образом реагировать на грубые шутки и поверхностные разговоры. И даже в том, как я относилась к этому молчанию Георгия, как я плакала и добивалась его расположения, — даже в этом он чувствовал явное отступление от нормы, от нормы поведения гордого, самостоятельного человека. «А ты будь хоть на минуту гордой», — говорил мне в результате Георгий и снова замолкал.

Последний месяц нашей совместной жизни вообще нельзя было добиться от Георгия толку: он где-то пропадал, ничего не говорил о своих планах, не говорил также о том, каким образом идет у него подготовка к экзаменам, как будто я стремилась у него что-то выведать и о таком пустяковом факте, как подготовка к экзаменам, как будто мне были нужны эти подробности. Однако он защищал их от моего вторжения так, как если бы эти сведения были мне нужны и я не могла жить без того, чтобы не нападать на него с вопросами, как прошел день и что сегодня было. Он рьяно оберегал от меня свои тетради, книги, свою папку, свои мелкие покупки.

Вместе с тем он с величайшей простотой сел и написал своей матери письмо, когда я сказала, что поеду рожать к ней, потому что на Дальний Восток ехать нет денег. Он написал это письмо не только потому, что я встала перед ним на колени, но и потому, как мне показалось, что ему самому было нужно, чтобы я поскорей уехала, куда угодно, как угодно, но чтобы уехала. И в этом смысле я, конечно, поспешила со своим ползанием на коленях, с этими поклонами, поскольку таким способом ни одного человека еще не заставили ничего сделать, как сказал мне Георгий, принимаясь опять за нравоучения. Он начал мне выговаривать, что я не понимаю настроения момента и вообще не вижу дальше своего носа, что я — человек без самостоятельности и что моя поездка к его матери все равно ничего не даст, поскольку я несамостоятельный человек. Тут он прочел мне свою обычную лекцию на тему о том, какой бы он хотел меня видеть, и это было редкостное событие, явление номер один в последний месяц, поскольку он вообще почти перестал обращать на меня внимание и только оберегал свой внутренний мир, ограничивал мое вторжение в него как мог и постепенно расширял границы запретной зоны, так что я почти все время сидела на кухне. Было лето, а я сидела и сидела на кухне, поскольку не хотела проворонить тот момент, когда Георгий уедет сдавать экзамены. При всем прочем он просто самым обыденным образом мог не оставить мне ключа, и пришлось бы ехать к хозяйке за город, а хозяйка не очень-то меня приветствовала, поскольку быстро распознала особенности моего положения и частенько говаривала, что сдавала комнату одинокому инженеру, а живет в ней целое кодло.

Итак, Георгий сел и написал письмо, и я не сказала ему в ответ ничего, просто взяла этот листок и ушла к себе на

кухню. Это я начала приводить в действие решение о кардинальной перестройке наших взаимоотношений, о воспитании в себе гордости. Итак, я, ни слова не говоря, взяла письмо, дождалась, пока Георгий ушел, тихо собрала вещи и уехала, не оставив даже записки.

Я размышляла над тем, почему Георгий так беспрекос ловно отпустил меня к своей матери, и так и не пришла ни к какому выводу. Я знала, что отношения у него с матерью сложные, что первая жена не сошлась характером прежде всего именно с матерью и уж потом с Георгием. Однако почему-то меня это не пугало, я подумала-подумала об этом и перестала, а поезд шел и шел и в конце концов доставил меня после суток пути на вокзал в город, где была родина Георгия, где жила его законная жена с сыном, где стоял дом, в котором он провел детство и так далее, — все эти соображения меня чрезвычайно взволновали, и я не сразу по приезде начала осуществлять задуманное, то есть искать себе ночлег.

Таким образом, если прием, оказанный мне матерью Георгия, был и не слишком любезным, то ведь я и не рассчитывала ни на что. Нина Николаевна прочла письмо в прихожей, не впуская меня в квартиру. Выглядела я, правда, вполне прилично, я умылась у той хозяйки, у которой сняла койку на ночь. Там же я пришила к платью белый воротничок, поскольку прелесть беременных состоит прежде всего в чистоте и опрятности, в особом обаянии гигиены, а вовсе не в следовании моде.

Прочтя письмо, Нина Николаевна не стала вести себя более сердечно, но пригласила меня войти.

Ее комната была огромной, темноватой, с красивой старинной мебелью, с почти черным паркетом. Я сразу всем сердцем полюбила эту комнату, моя душа наполнилась безотчетным восторгом и жаждой тут остаться жить навсегда.

Однако на вопрос, где я остановилась, я ответила, что остановилась у знакомых и с этим все в порядке. На вопрос, есть ли деньги, я ответила, что есть и что я, собственно, пришла просто познакомиться, раз уж я приехала сюда. На вопрос, зачем я сюда приехала, я ответила, что буду здесь ждать Георгия вместе с ребенком. «А скоро ли будет ребенок?» — спросила Нина Николаевна, и я ответила, что точно не знаю, так как врачи говорят одно, а я знаю другое. Нина Николаевна спросила, что я знаю по этому поводу, я ответила, что считать надо с ноябрьских праздников. Затем

Нина Николаевна спросила, от Георгия ли этот ребенок, и я ответила, что да, и заплакала.

Я не могла удержать этот страшный плач, в который у меня, очевидно, выливались все переживания прошедших месяцев, когда я не плакала, а, скорее, смеялась в ответ на Георгиевы замечания о моей несамостоятельности. Этот идиотский беспричинный смех, кстати сказать, больше всего выводил из себя Георгия, но я ничего не могла поделать с этим смехом, он вырывался у меня непроизвольно, так же как совершенно непроизвольно я начала плакать после вопроса Нины Николаевны о том, от Георгия ли этот ребенок.

Мой плач произвел впечатление на Нину Николаевну. Похоже было, что она поняла, с кем имеет дело, поскольку в дальнейшем она обращалась со мной так, что все ее действия вызывали у меня чувство чудовищной, ни с чем не сравнимой благодарности и такого счастья, как если бы я попала в желанный, родной дом — с той только разницей, что я не желала бы попасть в мой родной дом. В том-то и был весь ужас, что никуда, ни в один дом на свете, даже впоследствии в нашу с Георгием новую квартиру, меня не тянуло так, как в дом к Нине Николаевне, в этот прекрасный, милый дом, где ничего не было для меня предназначенного, где каждая вещь существовала как бы выше меня уровнем, была благородней, прекрасней меня — и в то же время все это для меня было полно надеждой на счастье. С каким благоговением я рассматривала картины в тяжелых рамах, прекрасные подушки на диване, ковер на полу, столовые часы в углу!

Больше того, у меня вызывали умиление даже всякие безвкусные вещицы, какие-то шкатулки и башмачки, облепленные ракушками, сорокалетней давности, какие-то пустые флаконы из-под духов. Я бы с любовью все это обтерла тряпочкой и расставила под зеркалом. В дальнейшем я и пыталась это делать, но каждый раз такие попытки Нина Николаевна пресекала в корне, не разрешая даже притрагиваться до чего бы то ни было в ее комнате.

В сущности, не такой уж красивой была эта комната, и не так уж тщательно она была убрана. Однако особое обаяние прожитой здесь долгой жизни, обаяние прочных, старых вещей сообщилось мне сразу же, бросилось в глаза, как всегда голодному бросается в глаза еда, а бродяге — тихая пристань.

Я повторяю, что никаких сетей, расставленных с надеждой поймать и уничтожить меня, не было. Более того, я

сама слепо шла вперед безо всякой надежды на то, что когда-нибудь какие-нибудь сети на меня будут расставлены. Ведь нельзя же было считать ловушкой ту растроганность и материнское (не материнское — лучше, выше) покровительство, которое я чувствовала в Нине Николаевне! Я неверно выразилась — не материнское, лучше, выше, потому что мать не оказывает покровительства. Вместе с тем я так была размягчена, что однажды из комнаты крикнула Нине Николаевне в ванную, что хотела бы для краткости называть ее мамой. Она не расслышала, переспросила, но шум воды перекрыл все мои слова, и я больше не пыталась делать таких далеко идущих предложений.

Я была как в раю. Если первое время я еще порывалась сходить к той привокзальной тетке и на всякий случай договориться с ней о койке на будущее, то впоследствии я даже не заикалась об этом Нине Николаевне (я очень быстро раскрыла ей свои секреты относительно снятой заблаговременно койки).

Нина Николаевна никуда меня не отпустила в первый же день и с каждым днем привязывалась ко мне все больше. Она буквально не давала пылинке на меня упасть, до работы успевала сходить на базар за овощами и терла мне на утро морковь.

Нина Николаевна, как я уже говорила, не разрешала мне ни до чего дотрагиваться — она сама варила еду на целый день, мне оставалось только разогреть обед. Вечером я не ужинала, ждала ее, сидя у окна. Она приходила, мы ели и шли гулять перед сном. Спала я на широчайшем диване, на полотняных простынях.

То и дело Нина Николаевна дарила мне подарки: мы сходили с ней в магазин и купили два ситцевых платья с запасом на будущую полноту; она купила мне также ночные рубашки, босоножки на мои распухающие с каждым днем ноги и так далее.

Решительно никогда — ни до, ни после — я не чувствовала себя такой счастливой. Полное единение душ еще довершалось тем, что она любила анекдоты, и я тоже любила посмеяться, и мы всегда искренне и долго хохотали, радуясь любому поводу для этого.

Нина Николаевна признавалась, что без меня ей было бы скучно, что мой звонкий голосок оживляет ее тихую одинокую жизнь. Иногда мы с ней пели на два голоса, вечер обычно заканчивался просмотром телевизионной програм-

мы, а затем я растягивалась на полотняных простынях, под шелковым зеленым одеялом.

От Георгия между тем не было никаких вестей, мы не знали, как идет у него подготовка к экзаменам и где он вообще. Я написала ему в присутствии Нины Николаевны несколько писем, но не получила ни ответа, ни своих писем обратно с припиской «адресат выбыл».

Не имея никаких новых данных, мы с Ниной Николаевной проводили целые часы в пережевывании старых сведений о Георгии — мы рассказывали друг другу о его детстве, причем я знала не меньше, если не больше. Я рассказывала Нине Николаевне то, чего она не знала, — о падении Георгия с крыши в десятилетнем возрасте (он тогда это скрыл), о его первой любви, затем о более поздних временах, о работе Георгия, о его друзьях, о привычках его, о взаимоотношениях с начальством. Нина Николаевна очень клевала на такие разговоры, быстро загоралась, требовала все новых и новых подробностей о нашей совместной жизни, о распределении обязанностей внутри нашей семьи, о том, как принял Георгий известие о будущем ребенке. Я рассказывала Нине Николаевне, как мы познакомились с Георгием на вечере в нашем институте, причем провожали меня двое — он и мой знакомый («Какой это знакомый?») до самого общежития («А где этот знакомый теперь?»). Я все понимала, я понимала, что она сопоставляет даты — она требовала дат, — и имена и события, чтобы удостовериться, что я действительно ношу под сердцем сына Георгия, ее внука, а не ребенка какого-нибудь другого моего поклонника, который также провожал меня темной ночкой, а потом исчез, и расхлебывать придется Георгию. Меня, вправду сказать, даже умиляли такие бесхитростные допросы, такие ничем не прикрытые сомнения — ведь это еще яснее показывало мне тогда, насколько она боится обмануться в своих надеждах, как она лелеет и бережет мечту о своем будущем внуке!

К тому, первому своему внуку Нина Николаевна раз в неделю ходила с гостинцами, ездила к нему на дачу, и мне нравился этот обычай, это незабывание, это соблюдение долга перед ребенком, который ни в чем не виноват. Я даже несколько раз просилась поехать вместе с ней, но она становилась непривычно суровой и в единый миг ставила меня на место какими-то простыми, но беспощадными словами: видно было, что у нее есть тоже свой, особый мир, отличный от мира взаимоотношений со мною, — опять свой мир, как у Георгия; этот свой мир, в который я не имела доступа,

постепенно, незаметно, но и неуклонно образовался у нее, и она начала его ревностно оберегать от моего вторжения, а я опять-таки, выложившись вся, осталась ни с чем. Она вела с кем-то междугородные телефонные разговоры и не говорила, с кем. Она теперь уходила на целые вечера, не оставив мне ключа. Наши вечерние разговоры теперь были неравноправными, теперь я спрашивала, я рассказывала, я хвалила фигуру Нины Николаевны, я подливала ей сметану, а она говорила: «Я хозяйка, я варила, я сама возьму, а вот ты угощайся».

Каким образом произошла эта метаморфоза, мне неизвестно. У меня внезапно создалось впечатление, что она вознеслась высоко надо мною, что она нависает надо мной, как гора, утяжеляя все мои движения. Я теперь с трудом двигалась в ее комнате, с трудом говорила с ней. Все ее раздражало, иногда она даже не отвечала мне на вопросы.

Однако эта ситуация, уже однажды испытанная мной, была для меня уже знакомой ловушкой, известной сетью — хотя, повторяю, она не была ни ловушкой, ни сетью, но это была неизменно погибельная для меня ситуация, погибельная в данном случае еще больше, нежели прежде, поскольку в истории с Георгием мне еще светила впереди надежда на его мать, на ее благородство, в случае, если я окажусь в безвыходном положении.

Я продолжала влачить свое двусмысленное существование в доме Нины Николаевны, поскольку идти мне было некуда. Привокзальная тетка, к которой я наведалась, посоветовала мне держаться за то, что есть, поскольку комнату мне с ребенком никто не сдаст.

Я стала ходить на так называемую «биржу» — туда, где собирались квартировладельцы и наниматели. Лето клонилось к осени, Георгий давно уже приехал, это я чувствовала, физически чувствовала, что он здесь, хотя он не показывался у своей матери, и она все более ожесточалась. Вдруг, словно сняв с себя какие бы то ни было обязательства, она стала говорить о какой-то подруге с дочерьми, которые приедут погостить, а потом она к ним поедет, и квартира будет заперта — соседей в городе нет, они ей доверили квартиру, и никто не допустит, чтобы в квартире жил посторонний человек, ни к чему не причастный.

Я предложила ей поговорить как следует, откровенно. Она сказала, что все и так достаточно, до противности откровенно и что не следует чужого ребенка приписывать человеку, который неповинен в том ни телом, ни духом, раз были всякие хождения на танцы и провожания до ворот.

Я начала смеяться, и на этом разговор завершился. Мои вещи были вынесены в коридор, Нина Николаевна заперлась у себя в комнате, и я провела ночь на кухне. Утром Нина Николаевна вынесла мои вещи на лестницу.

Так закончилось мое приключение. Далее уже все неинтересно — далее я жила у привокзальной тетки и ходила на «биржу», прикрывая располневшую талию плащом, в конце концов какой-то шалый мужик, завербовавшийся на Север, сдал мне свою комнату буквально за гроши. Можно не упоминать, что в комнате была совершенно голая кровать с панцирной сеткой, и я спала свою первую ночь на новом месте, постелив на сетку свой плащ, счастливая и безмятежная, пока не пришла пора наутро идти в родильный дом.

На этом заканчивается тот период моей жизни, период, который никогда больше не повторится благодаря усвоенным мною нехитрым приемам. Никогда не повторится тот период моей жизни, когда я так верила в счастье, так сильно любила и так всем безоговорочно отдавала в руки всю себя, до самых последних потрохов, как нечто не имеющее никакой цены. Никогда не повторится этот период, дальше пошли совершенно другие периоды и другие люди, дальше уже идет жизнь моей дочери, нашей дочери, которую мы с Георгием воспитываем кое-как и которую Георгий любит так преданно, как никогда не любил меня. Но меня это мало заботит, ведь идет другой период моей жизни, совсем иной, совсем иной.

ЧЕРЕЗ ПОЛЯ

Я не встречала его больше никогда, когда-то мы с ним один-единственный раз в жизни ехали вместе к кому-то на далекую дачу, в рабочий поселок; идти надо было километра четыре по лесу, а потом по голому полю, которое, может, и красиво в любое время года, но в тот день оно было ужасно, мы стояли на краю леса и не решались выйти на открытое пространство, такая гроза. Молнии били в глинистую почву дороги, поле было какое-то совершенно голое; помню те же глинистые увалы, голая, абсолютно голая разбитая земля, ливень и молнии. Может быть, на этом поле было

что-то посажено, но к тому моменту не выросло пока что ничего, ноги разъезжались, ломались, корежились в этом вздыбленном голом поле, поскольку мы решили выбрать более короткий путь и идти напрямик. Дорога шла в гору, а мы жутко хохотали, почему-то пригибаясь. Он обычно молчал, сколько я его помнила до этого по общим такого рода мероприятиям, всяким дням рождения, поездкам и так далее. Тогда я еще не знала цену молчанию, не ценила молчание и всячески пыталась вызвать Вовика на откровенность, тем более что мы одни ехали полтора часа в поезде, одни среди чужих, и молчать было неудобно и как-то стыдно. Он посматривал на меня своими небольшими добрыми глазками, усмехался и почти ничего не отвечал. Но это все было ничего, можно было бы пережить, если бы не ливень, который встретил нас на станции! Моя голова, чисто вымытые и завитые волосы, накрашенные ресницы — все пошло прахом, все, мое легкое платье и сумочка, которая впоследствии съежилась и посерела, — вообще все. Вовик глуповато улыбался, втягивал голову в плечи, поднял воротник беленькой рубашки, на его худом носу сразу повисла капля, но делать было нечего, мы почему-то побрели под дождем по глине, он знал дорогу, а я нет, он сказал, что напрямик близко, и вот мы вышли на это проклятое поле, по которому гуляли молнии, выскакивая то рядом, то подальше, и попрыгали по валам глинистой земли, причем не сняли туфли, видимо, стеснялись друг друга, не знаю. Я стеснялась тогда всяких проявлений естества и больше всего своих босых ног, которые мне казались воплощением безобразия на земле. Впоследствии я встречала женщин, убежденных в том же самом, никогда не ходивших босыми, особенно при любимом человеке. Одна даже настолько мучилась, выйдя замуж, что заслужила замечание мужа: какие некрасивые, оказывается, у тебя ноги! Другие же не мучились ничем, ни кривым, ни волосатым, ни длинным, ни лысым — ничем. Они-то и оказались правы, а тогда, в тот день, мы шли на проклятых подошвах, оскальзываясь, на волоске от смерти, и веселились. Нам было по двадцать лет. Он как-то робко, добродушно взглядывал, шел на расстоянии от меня, метрах в полутора: впоследствии я узнала, что молния может убить двоих, если они идут вместе. Но он не подал мне руку не из робости, в тот день на даче его ждала невеста, и он не подал мне руку от юношеского усердия служить своей любви и только ей. Но смеялись мы страшно, качались на этих земляных валах, облепленные глиной, как-то спелись. Че-

тыре километра по глине, под дождем удивительно долго тянулись: есть такие часы в жизни, которые очень трудно переживать и которые тянутся бесконечно долго, например, каторжная работа, внезапное одиночество или бег на большие дистанции. Мы пережили эти четыре километра вместе. Под конец, у крыльца, он даже помог мне взобраться на ступеньку, и мы, хохоча, под удивленный смех собравшихся и под сдавленный возглас невесты вошли в теплый дом. Все пошло к черту — его и мой костюмы, наши туфли, волосы, у него под носом так и висела капля, но родней человека, чем он, у меня не было никого. Туманно я догадывалась, что мне повезло встретить на жизненном пути очень хорошего и верного человека, сокровища его души вкупе с каплей под носом трогали меня до слез, я была растеряна, не знала, что делать. Нас развели по комнатам этого пустого летнего домика, пыльного, еще не обжитого дачниками, меня переодели, его тоже, нас вывели и дали по полстакана водки — чудо! За столом он изредка взглядывал в мою сторону, глуповато улыбаясь, шмыгая носом, грел руки о кружку с чаем. Я знала, что все это не мое и никогда не будет мое, это чудо доброты, чистоты и чего угодно, вплоть до красоты. Им завладел его друг, они принялись играть в шахматы, его ждала и невеста, а я не ждала, а грелась душой после долгого и трудного жизненного пути, сознавая, что завтра и даже сегодня меня оторвут от тепла и света и швырнут опять одну идти по глинистому полю, под дождем, и это и есть жизнь, и надо укрепиться, поскольку всем приходится так же, как мне, и Вовику в том числе, и бедной Вовиковой невесте, потому что человек светит только одному человеку один раз в жизни, и это все.

СВОЙ КРУГ

Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных, румяных губах, всегда ко всем с насмешкой. Например, мы сидим у Мариши. У Мариши по пятницам сбор гостей, все приходят как один, а кто не приходит, то того, значит, либо не пускают домашние или домашние обстоятельства, либо просто не пускают сюда, к Марише, сама же Мариша или все разъяренное общество: как не пускали

долгое время Андрея, который в пьяном виде заехал в глаз нашему Сержу, а Серж у нас неприкосновенность, он наша гордость и величина, он, например, давно вычислил принцип полета летающих тарелок. Вычислил тут же на обороте тетради для рисования, в которой рисует его гениальная дочь. Я видела эти вычисления, потом посмотрела совершенно нахально, на глазах у всех. Ничего не поняла, белиберда какая-то, искусственные построения, формально взятая мировая точка. Не для моего, короче говоря, понимания, а я очень умная. То, что не понимаю, того не существует вообще. Стало быть, ошибся Серж со своей искусственно взятой мировой точкой, причем он же давно не читает литературу, надеется на интуицию, а литературу читать надо. Открыл тут новый принцип работы паровоза с КПД в 70 процентов, опять небывалые вещи. С этим принципом начали его вывозить в свет, туда-сюда, на капичник, к академику Фраму, академику Ливановичу, Ливанович первый опомнился, указал первоисточник, принцип открыт сто лет назад и популярно описан в учебнике на такой-то странице мелким шрифтом для высших заведений, КПД тут же оказался снижен до 36 процентов, результат фук. Тут все равно ажиотаж, образовали отдел у Ливановича, нашего Сержа ставят замом, причем без степени. В наших кругах понимающее ликование, Серж серьезно задумался над своей жизнью, те ли ему ценности нужны, решил, что не те. Решил, что лучше останется у себя в Мировом океане, все опять в шоке: бросил карьеру ради воли и свободы, в Мировом океане он простой рядовой младший научный сотрудник, ему там полная свобода и атлантическая экспедиция вот-вот, давно намечающаяся, с заходами в Ванкувер, Бостон, Гонконг и Монреаль. Полгода моря и солнца. Хорошо, выбрал свободу, там, в его кровном детище с КПД 36 процентов отделе, уже набрали штат, взяли заведующим бездаря кандидата наук, все забито, они начали трудиться не спеша и вразвалочку, то в буфет, то в командировку, то курят. За Сержем ездят консультироваться, вернее, сначала ездили, два раза, Мариша смеялась, что в Мировом океане не знают уже, кого за кого принимать, какого-то Сержа, мэнээса, все время у них из-под носа утаскивают на консультации. Но потом это быстро прекратилось, те вошли в колею, дело ведь непростое, дело не в принципе, а в иной технологии, ради которой ломать существующее производство, не нужно электричество, все возвращается в век пара, все псу под хвост. Таким образом, вначале вместо прогресса летит к черту вообще все, как всегда. А все это

пробивает один отдельчик в пять душ, там у нас устроилась лаборанткой одна знакомая, Ленка Марчукайте, приходит, приносит утешительные новости, что кандидат наук вот-вот рожает ребенка на стороне, на него готовится письмо тех родителей, на работе он в полной отключке, орет по телефону, а комната одна, и ни о какой энергетике нет слов. Пока готовят проект решения по передаче им опытно-испытательного верстака в подвале института на три часа ночного времени. Но Сержу эта воля и свобода обернулась гораздо хуже, пришло время оформляться с анкетами в экспедицию, он в анкете написал, что беспартийный, а в год поступления в Мировой океан написал в анкете же, что член ВЛКСМ. Обе записи сравнили, выяснилось, что он самостоятельно выбыл из рядов комсомола, даже не встал в Мировом океане на учет в комсомольскую организацию, итого не заплатил членских взносов за много лет, и выяснилось, что это не поправишь ни взносами, ничем, и в океан его не пропустила комиссия. Все это, придя, рассказал тот же Андрей-отщепенец, и его оставили со всеми пить водку, и он в порыве сказал, чтобы ему никто ничего не говорил, он за включение в экспедицию стал стукачом, но стучать обязан только на корабле, на суше он не нанимался. И действительно, Андрей ушел в океан, а пришел оттуда — привез из Японии маленький пластиковый мужской член. Почему же такой маленький, а потому, что не хватило долларов. А я сказала, что это Андрей привез для дочери. А Серж сидел печальный, хоть ему и дана была полная свобода, весь институт ходил в океан, а он с небольшим составом лаборантов осуществлял отправку, переписку и прием экспедиции в Ленинград. Однако это было давно и неправда, кончились те дни, когда Серж и Мариша совместно тосковали о Серже и стойко держались, кончились все дни понимания, а наступило черт знает что, но каждую пятницу мы регулярно приходим, как намагниченные, в домик на улице Стулиной и пьем всю ночь. Мы — это Серж с Маришей, хозяева дома, две комнаты, за стеной под звуки магнитофона и взрывы хохота спит стойко воспитанное дитя, дочь Соня, талантливая, своеобразная девочка-красавица, теперь она моя родственница, можете себе представить, но об этом впереди. Моя родственница теперь также и Мариша, и сам Серж, хоть это смешной результат нашей жизни и простое кровосмешение, как выразилась Таня, когда присутствовала на бракосочетании моего мужа Коли с женой Сержа Маришей, — но об этом после.

Значит, вначале было так: Серж с Маришей, их дочь за

стеной, я тут сбоку припека, мой муж Коля — верный, преданный друг Сержа; Андрей-стукач сначала с женой, Анютой, потом с разными другими женщинами, потом с постоянной Надей; дальше Жора — еврей наполовину по матери, о чем никто никогда не заикался, как о каком-то его пороке, кроме меня: однажды Мариша, наше божество, решила похвалить невзрачного Жору и сказала, что у Жоры большие глаза — какого же цвета? Все говорили кто желтые, кто светло-карие, а я сказала еврейские, и все почему-то смутились, и Андрей, мой вечный недруг, крякнул. А Коля похлопал Жору по плечу. А чего, собственно, я сказала? Я сказала правду. Дальше: с нами всегда была Таня, валькирия метр восемьдесят росту, с длинными белокурыми волосами, очень белыми зубами, которые она маниакально чистила три раза в день по двадцать минут (час — и ваши зубы будут белоснежными), а также с очень большими серо-голубыми глазами, красавица, любимица Сержа, который ее иногда гладил по волосам, очень сильно напившись пьяным, и никто ничего не понимал; а рядом сидела Мариша как ни в чем не бывало, а я сидела тут же и говорила Ленке Марчукайте: «Почему ты не танцуешь, потанцуй с моим мужем Колей», — на что в ответ все грубо хохотали, но это уже был самый закат нашей общей жизни.

Тут же была Ленка Марчукайте, девка очень красивая, бюст пятого размера, волосы длинные русые, экспортный вариант, двадцать лет. Ленка вначале вела себя как аферистка, каковой она и была, работая в магазине грампластинок. Она втерлась Марише в доверие, рассказав ей о своей тяжелой жизни, потом хапнула у нее большую сумму и ходила с этим долгом как ни в чем не бывало, потом исчезла, вернулась без четырех передних зубов, отдала деньги Марише («Вот видите?» — победно сказала Мариша) и сказала, что лежала в больнице, где ее приговорили, что у нее не может быть детей. Мариша еще более ее полюбила, Ленка у нее только что не ночевала, но без зубов это уже было другое, не экспортное исполнение. Ленка с помощью Сержа устроилась лаборанткой в его 36-процентном отделе, вставила себе зубы, вышла замуж за еврейского мальчика-диссидента Олега, который оказался сыном известной косметички Мэри Лазаревны, и в этой богатейшей семье Ленка была некоторое время как бы нашим лазутчиком, со смехом рассказывала, какая у Мэри спальня, какие шкафы, за каждый из которых можно прожить жизнь в долларах, и что Мэри подарила ей еще. Мэри баловала Ленку и говорила,

что ее кожа — это естественное богатство. Кожа у Ленки была действительно редкой природной тонкости, белый жир и красная кровь давали небывалое сочетание даже в разное время дня, все равно как закат или восход, а губы у нее вообще были красные как кровь. Такая же кожа бывает сплошь у всех детей, у моего Алешки, например. Но Ленка обращалась с собою пренебрежительно, бегала по разным притонам как вертихвостка, себя не ценила и наконец объявила, что ее Олег уезжает со всеми своими через Вену в Америку, а она не поедет — и не поехала, разошлась с Олегом, стала отличаться тем, что, придя в дом, тут же садилась к кому-нибудь из мужчин на колени и прекрасно себя чувствовала, а бедные наши мальчики, хоть мой Коля, хоть стукач Андрей, криво при этом ухмылялись. Только Сержу она не рисковала садиться на колени, Серж был неприкосновенным, да еще тут же находилась Мариша, обожаемая Ленкой, и над Маришей смеяться Ленка не могла, как она смеялась над всеми нами и над молодой женой Андрея-стукача, которая вспыхнула и ушла на кухню, когда Ленка плюхнулась на колени к Андрею, ничего при этом не подразумевая. Эта жена Надя была еще моложе Ленки, ей вообще было восемнадцать лет, а дать ей можно было пятнадцать, худая, тонкая, рыжая, испорченная по виду школьница, на это только и мог клюнуть Андрей, который давно был известен благодаря болтливости своей казенной жены Анюты как полный импотент, которому ничего не нужно. Испорченная-то Надя испорченная, но вышла замуж и стала баба бабой, откроет пасть эта нимфетка и поет; то-то она сварила, так-то Андрей пил и она его не пускала больше пить, то-то они купили. Единственное, что при ней осталось от ее испорченности и извращенности, — это выпадающий глаз, который при каких-то неловких движениях выскальзывал из орбиты и вываливался на щеку, как яйцо всмятку Страшное, должно быть, зрелище, но Андрей с этим носился, возил Надю, держащую глаз на ладони, в больницу, там им этот глаз вправляли, и вот в эту ночь Андрей, я думаю, бывал на высоте. И с предыдущей, Анютой, Андрей жил ради волнующих моментов ее припадков, когда он возил ее, закутанную в одеяло, в «скорых помощах» из больницы в больницу, пока не выяснилось, что у нее так называемая ядовитая матка. Эта ядовитость Анютиной матки имела хождение в нашем кругу, и на Анюте и Андрее лежала печать обреченности. У всех у нас уже были дети, у Жоры трое, у меня Алеша, и стоило мне не появить-

ся в доме Сержа и Мариши недели две, как по рядам проходила весть, что я рожаю в роддоме: так они шутили над моим телосложением. У Тани был сын, известный тем, что во младенчестве ползал по матери и сосал то одну грудь, то другую, и так они и развлекались. У Андрея же и у Анюты детей быть не могло, и их было жалко, поскольку без детей как-то нелепо жить, и не принято было жить, самый-то эффект заключается в том, чтобы жить с детьми, возиться с кашами, детскими садами, а в ночь на субботу почувствовать себя людьми и загулять на полную мощность, даже вплоть до вызова милиции той, другой стороной улицы Стулиной. У Анюты же и у Андрея была обреченность, пока однажды Анюта вдруг не родила дочь, ни с того ни с сего, почти не изменившись! Ликование было полным, Андрей в ночь родов принес Сержу две бутылки водки, вызвали моего Колю и всю ночь пили, и Андрей сказал, что назовет свою дочь Маришей в честь Мариши, и Мариша была неприятно задета этой честью. Но делать нечего, не запретить, и прихлебала Андрей назвал дочь Маришей. Но на этом праздник, а также семейная романтика закончились, и Андрей, надо думать, надолго забросил свои супружеские обязанности, а Анюта, наоборот, почувствовала свою обыкновенность, стала как все женщины, безо всяких припадков, и в связи с этим стала приглашать в течение года продолжавшегося декретного отпуска все новых и новых друзей, и тут Андрей ушел на ролях стукача в плавание, а вернувшись, нашел у себя дома целый рой знакомых, привлеченных, по-видимому, холостым состоянием Анютиной прежде ядовитой матки. Андрей нашел новую романтику в своем положении брошенного мужа, стал романтически приводить к Сержу и Марише отборных девушек, а Ленка Марчукайте нагло садилась ему на колени, как бы припечатывая его уже истощившиеся, сделавшие свое дело детородные органы. Это у нее была такая шутка и издевательство.

Она села как-то на колени и к моему Коле, Коля, худой и добрый, был буквально раздавлен весом Ленки и физически и морально, он не ожидал такого поворота событий и только держал руки подальше и бросал взоры на Маришу, но Мариша резко отвернулась и занялась разговором с Жорой, и вот тут я начала что-то понимать. Я тут начала понимать, что Ленка маху дала, и сказала:

— Лена, ты дала маху. Мариша ревнует тебя к моему мужу.

Ленка же беззаботно скрючила рожу и осталась сидеть

на Коле, который совершенно завял, как сорванный стебелек. Тут, я думаю, началось охлаждение Мариши к Лене, которое и привело к постепенному исчезновению Ленки Марчукайте, особенно когда та в конце концов родила мертвого ребенка, но это уже было потом. А в тот момент все в ответ как-то преувеличенно захлопотали, Таня чокнулась с Сержем, Жора наливал, подал навьюченному Коле и холодной Марише, Андрей галантно заговорил со своей дурой Надюшей, которая победоносно смотрела на меня, жену придавленного мужа.

К Жоре Ленка Марчукайте, однако, садиться не рисковала никогда, это было небезопасно, поскольку Жора демонстрировал, как многие маленькие мужчины, постоянное сексуальное возбуждение и любил всех — Маришу, Таню и даже Ленку. Ленка, существо совершенно холодное, рисковала вызвать у Жоры покушение на изнасилование при всех, как это уже было с одной дамой Андрюши, притворившейся в танце с Жорой жутко темпераментной, а с Жорой этого допускать было нельзя, и Жора, когда кончилась музыка, прямо схватил свою рослую даму под мышки и поволок в соседнюю комнату как бы в беспамятстве, а в соседней комнате, это было хорошо известно, в эту ночь никто не спал, дочь Мариши и Сержа находилась у бабушки. Жора успел свалить ополоумевшую даму на маленькую кровать Сонечки, но пришли невольно усмехающиеся Серж и Андрей и оттащили Жору, и переполошенная дама одернула задравшееся в ходе борьбы платье. Событие вызвало жуткий смех на всю ночь, но, кроме того, все, кроме посторонней дамы, знали, что тут есть игра, что Жора всегда играет со студенческих лет в бонвивана и распутника, а на самом деле он ночами пишет кандидатскую диссертацию для своей жены и встает к своим троим детям, и только по пятницам он набрасывает на себя львиную шкуру и ухаживает за дамами, пока ночь.

Но осторожная Ленка Марчукайте, которая тоже играла в сексуальные игры с большим хладнокровием, не рисковала вызвать Жору на его привычную роль, это уже было бы слишком, два спектакля, это обязывало к какому-то завершению: Ленка сядет, Жора немедленно начнет лапать и так далее, а этого Ленка не любила, как, в сущности, не любил этого и Жора. Впрочем, Ленка Марчукайте была и прошла, как того захотела Мариша, была и исчезла, и когда я вспоминаю ее вслух и при всех, это звучит как очередная бестактность.

* * *

У меня все как-то перепуталось в памяти в связи с последними событиями в моей жизни, а именно в связи с тем, что я начала слепнуть. Десять ли лет прошло в этих пятницах, пятнадцать ли, прокатились чешские, польские, китайские, румынские или югославские события, прошли такие-то процессы, затем процессы над теми, кто протестовал в связи с результатами первых процессов, затем процессы над теми, кто собирал деньги в пользу семей сидящих в лагерях, — все это пролетело мимо. Иногда залетали залетные пташки из других, смежных областей человеческой деятельности, как-то повадился ходить на пятницы участковый милиционер Валера, человек, знающий самбо, застенчивый и упрямый. Дверь в квартиру не закрывалась по пятницам, прямо с тротуара три ступеньки и дверь; он пришел в первый раз, спросил у всех документы в связи с жалобой жильцов противоположного дома на улице Стулиной — на превышение шума после одиннадцати часов вечера и вплоть до пяти утра. Валера тщательно проверил у всех документы, вернее, проверил их наличие, потому что ни у кого из мальчиков паспортов не оказалось. У девочек он не проверял, это в дальнейшем навело на мысль, что Валера кого-то искал, всю последующую неделю все оживленно и нервно перезванивались, все были жутко смущены, испуганы и горели огнем. Действительно, в нашу тихую обитель, в которой шумел только магнитофон, ворвалась какая-то опасность, мы оказались в центре событий из-за Валеры и проверки документов. К следующей пятнице все уже точно предполагали, что Валера ищет американского русского Левку, который уже год живет с закончившейся визой, скитаясь по частным квартирам и притонам, причем живет не из желания не возвращаться в Штаты, а просто прогулял срок, за что, ему сказали, по нашим законам полагается отсидка, и тогда он стал скрываться, и его все привечали с шумом и смехом, а у Мариши я его ни разу не видела, у соседей же Маришиных по дому, подозрительной компании, состоящей из двух вечных студенток без постоянной московской прописки и их разноплеменных сожителей, Левка-американец иногда ночевал на полу и один раз по случайности, как рассказывали студентки, придя за рублем, сломал целку дочери министра Нинке со второго курса факультета журналистики, так что Нинка проснулась вся в крови и потащила в панике отстирывать матрац на кухню,

поскольку ванны в квартире не имелось. Левки же американца простыл и след, а Нина не имела претензий и теперь, говорят, в свою очередь, скиталась по всем притонам в поисках Левки, которому она отдала все, по русскому понятию. С тех пор, говорят, Левка не ночевал на улице Стулиной, и, таким образом, Валера даром приходил.

Однако Валера пришел опять в пять минут двенадцатого, пришел, чтобы выключить магнитофон, магнитофон выключили и сидели, пили в тишине, и Валера сидел с непонятными намерениями, то ли он решил все-таки дождаться Левку, то ли ему просто нужно было извести под корень нашу безобидную компанию, и он просто сидел и не уходил. Мариша, горячо убедившая всех, что все люди интересны, у нее вечно ночевали какие-то подобранные с вокзалов, месяц жила женщина с годовалой парализованной девочкой, приехавшая в Институт педиатрии на консультацию без права госпитализации, — Мариша первой нашла ключ и стала вести себя так, что Валера — это несчастный и одинокий человек, в этом доме ведь никому незнакомому не отказывали в приеме, только редко кто решался навязываться. Мариша, а за ней и Серж стали возбужденно разговаривать с Валерой на разные темы, дали ему стакан сухого вина, пододвинули черный хлеб и сыр, единственное, что было на столе, и Валера не увильнул ни от одного вопроса и ни разу не почувствовал никаких уколов самолюбия. Так, например, Серж спросил:

— Ты что, ради прописки в милицию пошел?

— У меня прописка еще раньше, — ответил Валера.

— Ну а чего ты служишь?

— Трудный участок, — ответил Валера, — я знаю самбо, самбист, но из-за травмы плеча не получил второго разряда еще в армии. В самбо, если тебя скрутят, то надо подать звуковой сигнал.

— Какой звуковой? — спросила я.

— Хотя бы, извиняюсь за выражение, кашлянуть или перднуть, чтобы не сломали руку.

Я тут же спросила, как это можно перднуть по заказу.

Валера ответил, что он не успел подать звуковой сигнал и что ему вынесли руку из предплечья, а так он имеет полный третий разряд. Потом, не переводя дыхания, Валера изложил свою точку зрения на существующий порядок вещей и на то, что скоро все изменится и все будет как при Сталине, и при Сталине вот был порядок.

Короче говоря, весь вечер у нас прошел в социологиче-

ских исследованиях образа Валеры, и в конце концов то ли он все-таки оказался находчивей, то ли наша общая роль была пассивной, но вместо обычного анкетирования, как это у нас уже не раз бывало с залетными пташками типа проституток, приводимых Андреем, или с теми, кто, заинтересовавшись музыкой, останавливались под окном на тихой улице Стулиной и завязывали с нами через подоконник разговор и в конце концов влезали в комнату тем же путем и были затем вынуждены отвечать на целый ряд вопросов, — на сей раз дело повернулось иначе, и Валера, конкретно не касаясь своих служебных обязанностей, битый час громко поучал нас, как было при Сталине, и никто особенно ему не противоречил, все боялись, видимо, провокации, боялись высказать перед представителем власти свои взгляды, да и вообще это было у нас не принято — выражать свои взгляды, какое-то мальчишество, орать о своих взглядах, а тем более перед идиотом Валерой, ускользающим, непознанным, с неизвестными намерениями пришедшим и сидящим за бедным круглым столом в бедняцкой комнате Мариши и Сержа.

В двенадцать все, как оплеванные, поднялись и пошли, но не Валера. Валере то ли было негде провести ночь дежурства, то ли у него было четкое задание, но он сидел у Мариши и Сержа до утра, и Серж высказался, и это было потом передано массам через Маришу по телефону, что это самый интересный человек, какого он встречал за последние четыре года, но это у него была защитная формулировка, и не более того. Серж целиком принял на себя Валеру, так как Мариша ушла спать на пол в комнату Сонечки, а вот Серж остался, как мужчина, и пил с Валерой чай из зверобоя, целый чайник мочегонного, причем Валера ни разу не отошел в уборную и убрался, только когда кончилось его дежурство по участку. Валера, видимо, не хотел оставить свой НП ни на секунду и совершил мочезадержательный подвиг. Со своей стороны, Серж тоже не отходил, опасаясь в свое отсутствие обыска.

Как бы там ни было, та пятница была пятницей пыток, и мы все сидели не в своей тарелке. Ни Ленка Марчукайте ни разу не уселась на колени ни к кому, тем более к Валере, ни Жора ни разу не крикнул в форточку прохожим школьницам «девственницы», только я все спрашивала, как это самбисты научаются пердеть, усилием воли или специально питаясь. Мне хватило этой темы на целый вечер, поскольку Валера единственно чего избегал — это именно

этой темы. Он как-то морщился, уклонялся от темы, ни разу больше не произнес слова «перднуть» и невзлюбил меня, как все, с первого взгляда и навеки. Но крыть ему было нечем, это слово, видимо, не значится в неопубликованном списке тех слов, за произнесение которых в публичном месте сажают на пятнадцать суток, тем более что Валера сам первый его произнес! И я одна встревала в тот умственный разговор, который с помощью наводящих вопросов затеял Серж, надеясь все-таки вознестись на позиции насмешливого наблюдателя жизненных явлений, за каковое жизненное явление мог бы сойти Валера, но Валера плевать хотел на отеческие вопросы Сержа, а пер напролом и говорил опасные для своего служебного положения вещи насчет того, что в армии многое понимают и недолго всем вам тут гулять и что хозяин придет.

— Но все-таки, — встревала я, — это в армии учат пердеть? Но вы не научились, я вижу, потому что не смогли вовремя перднуть и не получили разряда.

— В армии такие ребята, такой техсостав, — продолжал Валера, — у них в руках техника, у них в руках все, знающие ребята, и у них есть в голове.

Серж же спрашивал, к примеру, часто ли приходится дежурить ночью и где дали комнату. Мариша спрашивала, женат ли Валера и есть ли дети, тоном своей обычной доброты и участливости. Таня, наша валькирия и красавица, только тихо ржала и комментировала вполголоса, нагнувшись над стаканом, особенно яркие реплики Валеры, и адресовалась все время к Жоре, как бы поддерживая его в этой трудной ситуации, где он, полуеврей, но чистый еврей по виду, предъявил Валере паспорт (у него единственного был паспорт на этот раз), который Валера вслух зачитал: Георгий Александрович Перевощиков, русский!

Да, в этот свой второй визит Валера опять спрашивал паспорта, и опять проверил паспорт у Сержа, и опять не получил паспорт ни у Андрея, ни у моего Коли, ни у случайно забредшего на эту опасную вечеринку постороннего — редко бывавшего в Москве христианина Зильбермана, который был жутко напуган и предъявил вместо паспорта свой старый студенческий билет, по каковому студенческому он вечно получал железнодорожные билеты со скидкой. Валера отобрал у Зильбермана билет, просто положил в карман, и Зильберман смылся, спросив громко, где тут туалет. Валера, хоть и угрожал вначале отвести Зильбермана вплоть до выяснения личности, ни сделал вслед ни шагу, а

мы все сидели и мучились, как же теперь бедный Зильберман будет бояться и трястись, и к его положению прибавится еще положение находящегося на крючке. Но, видимо, Зильберман не был нужен Валере.

Мне было интересно, как поведет себя стукач Андрей, но Андрей тоже повел себя осторожно и сдержанно. Как только выключили магнитофон, Андрей потерял возможность танцевать с кем ему хотелось, а танцевал он капризно, иногда вообще не танцевал, а его жена Надя, обабившись до последней степени, несмотря на свой вид испорченного подростка, сидела в это время тоже как истукан и задним числом ревновала, так вот, Андрей сел со своей Надей. А у Нади отец был полковник на взлете, и все речи Валеры, как младшего состава, Надя воспринимала только сквозь призму того, что на вопрос Сержа, какой ему присвоили все-таки чин, Валера ответил, что многие бы хотели, чтобы не присвоили, а ему присвоили сразу лейтенанта. Надя сразу освоилась одна среди всех, стала ходить взад-вперед, повела Андрея звонить какой-то Ирочке и потом вообще увела Андрея, и Валера никак не отреагировал. Возможно, если бы мы все ушли, он бы все равно остался, здесь была его «точка», а возможно, и нет.

Мы с Колей на сей раз не потратились на такси, а успели после метро на автобус и приехали домой как люди и обнаружили, что Алешка не спит в полвторого ночи, а сидит осоловевший перед телевизором, экран которого горит впустую. Это было наше первое ночное возвращение с пятницы — не утреннее — и мы увидели, что Алешка тоже по-своему празднует эту ночь, а он, когда его я укладывала, сказал, что боится спать один и боится гасить свет. Действительно, свет горел везде, а ведь раньше Алешка не боялся, но раньше ведь был дед, а недавно дед умер, мой отец, а моя мать умерла три месяца перед тем, за одну зиму я потеряла родителей, причем мать умерла от той болезни почек, какая с некоторых пор намечалась и у меня и которая начинается со слепоты. Как бы там ни было, я обнаружила, что Алешка боится спать, когда никого нет дома. Видимо, тени бабушки и дедушки вставали перед ним, мои отец с матерью воспитывали его, баловали его и вообще растили, а теперь Алешка остается один вообще, если учесть, что и я должна буду вскоре умереть, а мой добрый, тихий на людях Коля, который дома скучал или неприлично начинал орать на Алешку, когда тот ел вместе с нами, —

Коля, видимо, собирался уйти от меня, причем уйти он собирался не к кому другому, как к Марише.

Я уже говорила что над нашим мирным пятничным гнездом пролетели многие годы, Андрей из златоволосого юного Париса успел стать отцом, брошенным мужем, стукачом на экспедиционном корабле, опять законным мужем и обладателем хорошей кооперативной квартиры, купленной полковником для Надюши, и, наконец, алкоголиком; он все еще любил одну Маришу всю свою жизнь, начиная со студенческих лет, и Мариша это знала и ценила, а все другие дамы на его жизненном пути были просто замещением. И коронным номером Андреевой программы были танцы с Маришей, один-два священных танца в год.

Жора также вырос из охальника-студента в скромного, нищего старшего научного сотрудника в самой дешевой рубашке и брюках темно-серого цвета, отца троих детей, этакого будущего академика и лауреата без притязаний, но в нем всегда было и сидело в самом его нутре одно: любовь к Марише, которая любила всегда только Сержа и больше никого.

Далее, мой Коля тоже боготворил и любил Маришу, они все как с цепи сорвались еще на первом курсе института по поводу Мариши, и эта игра все длилась до сих пор, пока не дошла до того, что Серж, которому досталась прекрасная Мариша, жил-жил с ней и вдруг нашел себе любимую женщину, еще со школьной скамьи, и однажды в праздник Нового года, когда все напились и играли в шарады, он сказал: «Пойду позвоню любимой женщине» — и все как громом были поражены, ибо если мужчины любили Маришу и считали Сержа единственным человеком, то мы все любили Маришу и Сержа в первую голову, Серж всегда был у всех на устах, хотя сам мало говорил, это его так вознесла Мариша, которая любила его коленопреклоненно, то ли как сподвижница, благоговела перед каждым его словом и жестом, потому что когда-то в свое время, еще на первом курсе, когда Серж ее полюбил в числе прочих и предлагал ей жениться и спал с ней, она ушла от него, сняла комнату с неким Жаном, поддалась эротическому влечению, отказалась от первой и чистой любви Сержа, а потом Жан ее бросил, и она сама, своей властью пришла к Сержу, теперь уже навеки отказавшись от идеи эротической любви на стороне, сама предложила ему жениться, они женились, и Мариша иногда со священным восторгом проговаривалась, что Серж это хрустальный стакан. Я бы сказала ей теперь,

чтобы она не спала с хрустальным стаканом, все равно не выйдет, а выйдет, так порежешься. Но тогда мы все жили какими-то походами, кострами, пили сухое вино, очень иронизировали надо всем и не касались сферы пола, так как были слишком молоды и не знали, что нас ждет впереди; из сферы пола весь народ волновало только то, что у меня был белый купальник, сквозь который все просвечивало, и народ потешался надо мной, как мог; это происходило, когда мы все жили в палатках где-нибудь на берегу моря, и сфера пола проступала также и в том, что Жора жаловался, что нет уборной и что в море дерьмо никак не отплывает. В остальном тот же Жора кричал про отдыхающих женского пола, что им нужен хороший абортарий, а Андрей романтически ходил на танцы за шесть километров в город Симеиз к туберкулезным девушкам, а Серж упорно ловил рыбу с помощью подводной охоты и так осуществлял свою мужественность, а ночами я все слушала, как из их палатки несется мерное постукивание, но Мариша была всю свою жизнь беспокойным существом с огнем в глазах, а это не говорило ничего хорошего о способностях Сержа, а мальчики все были на стреме по поводу Мариши и, казалось, хотели бы коллективно возместить пробел, да не могли пробиться. В сущности, этот сексуальный огонь, который пожирал Маришу, жрицу любви, в сочетании с ее же недоступностью позволял столь долгое время держаться общей компании, поскольку чужая любовь заразительна, это уже проверено. Мы, девочки, любили Сержа и любили вместе с тем и Маришу, переживали за нее и так же, как она, раздираемы были на части, но по-своему — с одной стороны, любить Сержа и мечтать заменить Маришу, с другой стороны, не мочь этого сделать из-за сочувствия Марише, из-за любви и жалости к ней. Короче говоря, все было полно нераздельной любовью Мариши и Сержа, неосуществимостью их любви, и на это клевали все, а Серж бесился, единственный, у кого были все права. Однажды эта язва прорвалась, хоть и не совсем, когда среди безобидных сексуальных разговоров за столом — это были разговоры чистых людей, способных поэтому говорить о чем угодно, — когда речь зашла о книге польского автора «Сексопатология». Это было нечто новое для всего нашего общества, в котором до сих пор каждый жил, как будто его случай единственный, ни самому посмотреть, ни другим показать. Новая волна просвещения коснулась, однако, и нашего кружка, и я сказала:

— Мне рассказывали про книжку «Сексопатология», и

там половой акт разделяется на стадии, супруги возбуждают друг друга, Серж, надо сначала, оказывается, гладить мочку уха партнера! Это эрогенная зона, оказывается!

Все замерли, а Серж сказал тут же, что относится ко мне резко отрицательно, начал брызгать слюной и кричать, а мне что, я сидела как каменная, попавши в точку.

Но это было еще до того, как Серж нашел себе любимую женщину на своей же улице детства, встретил свою юношескую эротическую мечту, теперь полную брюнетку, как донесли некоторые осведомленные лица, и до того, как в квартиру на улице Стулиной стал регулярно приходить милиционер Валера и так бороться за тишину после одиннадцати часов вплоть до семи утра, и также это произошло до того, как я стала постепенно обнаруживать, что слепну, и уже тем более до того, как я нашла, что Мариша ревнует моего Колю к Ленке Марчукайте.

Значит, во мгновенье ока развязались все узлы: Серж перестал ночевать дома, отпали все пятницы и начались такие же пятницы в безопасном месте, в комнате валькирии Тани, хотя и при участии ее сына-подростка, ревновавшего мать абсолютно ко всем. Далее подростка изолировали, отправляя его по пятницам вместе с девочкой Сонечкой на улицу Стулиной, по поводу чего я заметила, что детям полезно спать друг с другом, но на меня не обратили внимания, как всегда, а я говорила правду.

Вообще накатила какая-то волна бурной жизни в промежутках между пятницами: у Мариши погиб отец, как-то посетивший ее на улице Стулиной и на этой же улице в тот же вечер попавший под автомобиль в неположенном месте, да еще, как показало вскрытие, в нетрезвом состоянии, поскольку отец Мариши сильно выпил с Сержем перед уходом домой. Все сплелось в этом страшном несчастном случае, то, что отец Мариши хотел по-мужски побеседовать с Сержем, зачем он бросает Маришу, и то, что разговор этот происходил вечером, когда Сонечка еще не спала, а Мариша и Серж скрывали от Сонечки, что Серж не ночует дома, Серж нежно укладывал Сонечку спать и тогда только уходил к другой, а утром так и так Соня всегда просыпалась в школу, когда Серж уже был в дороге на работу, а после работы, с шести до девяти, Серж отбывал вахту при дочери, занимался с ней музыкой, сочинял с ней сказки, и вот в этот-то елейный промежуток и внедрился расстроенный Маришин отец, который, кстати, сам давно уже жил с другой семьей, имел большой печальный опыт и имел нового

сына двадцати лет. Маришин отец выпил, безрезультатно наговорил бог знает чего и безрезультатно погиб под машиной тут же у порога дочернего дома на самой улице Стулиной, в тихое вечернее время в полдесятого.

У меня в тот же период тихо догорела мать, растаяла с восьмидесяти килограмм до двадцати семи, причем умирала мужественно, всех подбадривала и меня тоже, и врачи под самый конец взялись найти у нее несуществующий гнойник, вскрыли ее, случайно пришили кишку к брюшине и оставили умирать с незакрывающейся язвой величиной в кулак, и когда нам ее выкатили умершую, вспоротую и кое-как зашитую до подбородка и с этой дырой в животе, я не представляла себе, что такое вообще может произойти с человеком, и начала думать, что это не моя мама, а моя-то мама где-то в другом месте. Коля не принимал участия во всех этих процедурах, мы ведь были с ним формально разведены уже лет пять назад, только оба не платили за развод, помирившись на просто совместном проживании как у мужа и жены и без претензий, жили вместе, как живут все, а тут он, оказывается, взял и заплатил за развод и после похорон так трезво мне предложил, чтобы и я заплатила, и я заплатила. Потом скончался мой насмерть убитый горем отец, скончался от инфаркта, легко и счастливо, во сне, так что я ночью, встав к Алешке прикрыть его одеялом, увидела, что папа не дышит. Я легла снова, долежала до утра, проводила Алешу в школу, а потом папу в больничный морг.

Но все это было между пятницами, и несколько пятниц я пропустила, а через месяц была Пасха, и я пригласила всех приехать, снова, как каждый год, к нам с Колей. Раз в год на Пасху мы все собирались у нас с Колей, я готовила вместе с мамой и папой много еды, потом мама и папа брали Алешку и отправлялись к нам на садовый участок за полтора часа езды, чтобы сжечь палую листву, прибраться в домике и что-то посадить, — и там, в неотапливаемом домике, они и ночевали, давая моим гостям возможность всю ночь есть, пить и гулять. И на этот раз все было так же, и чтобы все было так же, я сказала Алешке, что он поедет один на все тот же садовый участок и переночует там, другого выхода не было, он был уже взрослый, семь лет, дорогу знал прекрасно, и я еще предупредила его, чтобы он ни в коем случае не возвращался и не звонил в дверь. И он отправился, одинокий странник, а мы как раз утром в это воскресенье были с ним на могиле дедушки с бабушкой, он

впервые был на кладбище и таскал воду мне в ведре, мы посадили на могилах маргаритки. Он должен был начинать с этих пор новую жизнь, мы пообедали наскоро хлебом с колбасой, сыром и чаем — из того, что предполагалось на праздничный стол, и Алеша отправился без отдыха дальше на садовый участок, а я стала делать тесто для пирогов с капустой, больших средств у меня теперь не было. Пирог с капустой, пирог с маминым вареньем, салат картофельный, яйца с луком, свекла тертая с майонезом, немного сыра и колбасы — сожрут и так. И бутылка водки. В сущности, я зарабатывала немного, от Коли ждать не приходилось, он чуть ли не вообще переехал жить к своим родителям, а в редкие моменты посещений кричал на Алешу, что тот не так ест, не так икает, не так сидит и роняет крошки на пол, и в заключение орал, что тот все время смотрит телевизор и вырастет черт-те чем, не читает ничего, сам не рисует. Этот бессильный крик был криком зависти в адрес Сонечки, которая пела, сочиняла музыку, была в Гнесинской музыкальной школе, куда конкурс один к тремстам, много читала с двух лет и сама писала стихи и сказки. В конечном итоге Коля любил Алешу, но он бы его любил гораздо больше, если бы ребенок был талантливый и красивый, блестящий в учебе и сильный в отношениях с товарищами. Тогда бы Коля любил его гораздо больше, а так он видел в нем себя самого и бесился, особенно бесился, когда Алеша ел. У Алеши были плоховатые зубы, в семь лет еще не выросшие как следует впереди, Алеша еще не освоился со своим сиротством после дедушки и бабушки и ел рассеянно, большими кусками и не жуя, роняя на штаны капли и крошки, беспрестанно все проливал и в довершение начал мочиться в постель. Коля, я думаю, вылетел как пробка из нашего семейного гнезда, чтобы не видеть своего облитого мочой сына, на тонких ногах дрожащего в мокрых трусах. Когда Коля в первый раз застал, проснувшись от Алешиного плача, это безобразие, он саданул Алешу прямо по щеке ладонью, и Алеша покатился обратно на свою мокрую, кислую постель, но он не очень плакал, поскольку чувствовал даже облегчение, что вот его наказали. Я только усмехнулась и вышла вон и пошла на работу, оставив их расхлебывать. В этот день у меня было исследование глазного дна, которое показало начинающуюся наследственную болезнь, от которой умерла мама. Вернее, доктор не сказала окончательного диагноза, но капли прописала те самые, мамины, и назначила те же самые анализы. Все начиналось теперь у

меня, такие были дела, до того ли мне было, что Алеша мочится в постель и что Коля его ударил? Предо мной открылись новые горизонты, не скажу какие, и я начала принимать свои меры. Коля ушел, я вернулась домой и не застала Колиных носильных вещей, остальное все он благородно оставил, надо ему отдать справедливость, и вот наступила Пасха, я испекла пироги, раздвинула стол, застелила его скатертью, расставила тарелки, рюмки, салаты, колбасу и сыр, хлеб, было даже немного яблок, материна подруга подарила, принесла кулек редких по весеннему времени яблок и крашеных яиц, и я отнесла часть на кладбище, покрошила птицам на дощечку, и мы с Алешей тоже поели. Помню, что кругом в оградах стояли люди, возбужденно разговаривали, пили на воздухе, закусывали, у нас еще сохранились эти традиции пасхальных пикников на кладбищах, когда кажется, что все обошлось в конце концов хорошо, покойники лежат хорошо, за них пьют, убраны могилки, воздух свежий, птицы, никто не забыт и ничто не забыто, и у всех так же будет, все пройдет и закончится так же мирно и благополучно, с бумажными цветами, фотографиями на керамике, птичками в воздухе и крашеными яйцами прямо в земле. Алеша, мне кажется, поборол свой страх, сажал со мной рассаду маргариток все смелей и смелей в этой земле, почва у нас в Люблине чистая и песчаная, родителей я сожгла, только кубки с пеплом стояли в глубине, ничего страшного, все позади, и Алеша бегал и поливал, а потом мы сходили помыли руки и ели яйца, хлеб и яблоки, а остатки разложили и покрошили, как это делали на других, соседних могилах многочисленные посетители. И когда мы ехали домой, в автобусе и метро все хоть и были под банкой, но какие-то дружные, благостные, словно заглянули в загробный мир и увидели там свежий воздух и пластмассовые цветы и дружно выпили за это дело.

Так что вечером этого дня, одна и свободная, я дождалась слегка смущенных своих ежегодных гостей, которые явились все как один, потому что Мариша не могла не прийти, она очень смелая женщина и благородных кровей, а остальные пришли благодаря ей, и Серж был тут же, и мой бывший теперь уже муж Коля точно с такими же, как у Алеши, разрушенными зубами, Коля пришел и отправился на кухню разгружать все, что они принесли, а принесли они уже сваренную картошку с укропом и огурцы, а также много вина с перспективой на всю ночь. А почему бы им было и не погулять, когда пустая чужая квартира и есть еще ще-

котливое обстоятельство, то есть как я восприму приход моих новобрачных родственников Коли и Мариши, поскольку они только что вчера расписались, так все и было, и тут же был Серж, немножко более нетерпеливый, чем обычно, к выпивке, они с Жорой тут же пошли обмывать все происшедшее, Ленки Марчукайте давно не было и в помине, говорят, она ходила где-то с затянутой теплым платком грудью, кто-то ее видел в метро после рождения мертвого ребенка, она не жаловалась, только пожаловалась, что молоко пришло. Так вот, Андрей-стукач поставил пластинку, Надя, его малолетняя, стала изображать из себя опять семейную бабу и рассказала мне, сколько алиментов платит Андрей и что ему бесполезно даже писать диссертацию, так все и уйдет на алименты, а когда они кончатся? Через четырнадцать лет, когда Наде стукнет тридцать три года, и только тогда можно будет родить ребенка уже своего. Вошла Таня-валькирия, радостно сверкая зубами и глазами, и я ее спросила, вместе ли положили Сонечку и ее мальчика, вместе им будет удобнее, а Таня в ответ на это, как всегда, тихо заржала, показав еще больше свои большие-пребольшие зубы, а Мариша, наоборот, не в пример прошлым годам обозлилась, когда я спросила:

— А чем они там занимаются?

— Вот тем и занимаются, — ответила радостная Таня.

— Тебе хорошо, у тебя мальчик, а Марише хуже, Мариша, ты уже научила Сонечку предохраняться?

— Не беспокойся, научила, — ответила Мариша и присоединилась к тихому ржанию Тани, хотя я, по своему обыкновению, сказала истинную правду.

— А что такое? — спросила Надя, у которой один глаз вот-вот готов был выскочить из орбиты.

— Надя, — сказала я, — это правда, что у тебя один глаз вставной?

— Она всегда такая, — сказала сияющая Таня бедной Наде, а тут вставил свое слово Андрей-стукач:

— Я к тебе отношусь резко отрицательно! — заявил он, вспомнив формулировку Сержа, но я не обратила внимания на Андрея-стукача.

Пришли из кухни Серж с Жорой, уже поддатые, а мой Коля явился из бывшей нашей спальни, не знаю, что уж он там делал.

— Коля, ты уже отобрал себе простыни получше? — спросила я и поняла, что попала в самую точку. Коля покачал головой и покрутил пальцем у виска, благодаря чему в

это свое посещение он не взял ни одной штуки постельного белья, спасибо моей проницательности.

— Мариша, тебе есть на чем спать с моим мужем? Ты ведь часть простынь выделила Сержу, я понимаю. А у меня все простыни застиранные, прошлый раз Коля первый раз в жизни собрался стирать белье и бросил его в кипяток, и все пятна на простынях, весь белок заварил, теперь они проступают в виде облаков.

Тут все они засмеялись дружным, довольным смехом и сели за стол. Моя роль была сыграна, дальше сыграл свою роль Серж, который косноязычно, туманно и гнусаво стал спорить с Жорой об общей теории поля некоего Рябикина, причем Серж яростно нападал на Рябикина, а Жора его снисходительно защищал, а потом якобы неохотно сдался и согласился, и в Серже впервые проступил неудачливый, непроявившийся ученый, а в затырканном Жоре впервые проявилось восходящее светило науки, ибо ничто так не выдает личного успеха, как снисходительность к собратьям.

— Ты, Жора, когда докторскую защищаешь? — спросила я его наугад, а Жора клюнул и немедленно ответил, что во вторник предзащита, а защита — когда подойдет очередь.

Все на мгновенье приумолкли, а потом стали пить. Пили все до полного затмения. Андрей-стукач вдруг стал жаловаться на райисполком, который не разрешает им трехкомнатную на двоих, а Надин папа стал генералом и бушует, валит Наде подарок за подарком, и машина ей уже на мази, и трехкомнатный кооператив, только бы Наде поступить учиться, а не рожать ребенка.

— А я хочу рожать, — сказала Надя упрямо, но никто не поддержал темы.

Короче говоря, разговор за столом не склеился. Коля с Маришей тихо переговаривались я знаю о чем, о том, чтобы он забрал прямо сейчас свои остальные вещи и куда надо будет эти вещи сложить, пока идет обмен Маришиной квартиры на комнату для Сержа и малогабаритную двухкомнатную квартиру, чтобы Сонечке было где отдельно заниматься музыкой на скрипке, а Сержу было бы где жить с брюнеткой, а моему мужу было бы где жить с Маришей. А может быть, они шептались о том, что лучше отдать мне их двухкомнатную, а самим поселиться в моей трехкомнатной квартире и начать размен.

— Мариша, тебе понравилось в моей квартире? — спро-

сила я. — Может быть, вы поселитесь здесь, а мы с Алешей будем жить где скажете? Нам с Алешей много не нужно, и вещи берите.

— Дура, — сказал Андрей громко, — набитая дура! Мариша только и думает, чтобы ничего у нее не забирать, дура!

— Но почему же, берите! — сказала я. — Мне одной много не надо, а Алеша ведь идет в детский дом, я уже устраиваю и хлопочу. В город Боровск.

— Прям, — сказал Коля, — еще чего.

— Пошли-ка отсюда, этот спектакль выдерживать... — сказал Андрей-стукач и даже стал решительно подниматься вкупе со своей Надей, но остальные не шелохнулись, им важно было довершить суд до конца.

— Я устраиваю в детдом, вот анкета, — сказала я и, не вставая, достала из-за стекла книжной полки анкету и заполненные бланки.

Коля их взял посмотреть и порвал.

— Наглая же дура, — сказал Андрей.

Я откинулась на стуле:

— Пейте, ешьте, сейчас принесу пироги с вареньем и капустой.

— Ладно, — сказал Серж, и они стали снова пить, Андрей поставил пластинку, а Серж подошел к своей чужой жене Марише и пригласил ее танцевать. Мариша вспыхнула, как приятно было видеть ее вороватый взгляд, направленный в мою сторону, почему-то именно в мою! Вот я уже стала мерилом совести, бормотала я, ставя на стол пирог с капустой.

Тут все завертелось, осуществился праздник их любви, все дружно орали песни, как им было весело, а Коля, оставшись не у дел, подошел ко мне и спросил: где Алеша?

— Не знаю, гуляет, — сказала я.

— Так уже первый час ночи! — сказал Коля и пошел в прихожую.

Я ему не мешала, но он не стал одеваться, а по дороге завернул в уборную и там надолго затих, а в это время Марише стало плохо, она перепила и не нашла ничего лучшего, как вывеситься в окно кухни и сблевать свеклой прямо на стену, как это выяснилось на следующий же день из слов пришедшего техника-смотрителя дома.

Пироги, окурки, разграбленные салаты, огрызки и половинки яблок, бутылки под диваном, Надя, которая навзрыд плакала и держалась за глаз, и Андрей, который держал на

руках Маришу и таицевал с ней — это был тот самый зиаменитый один акт в год, который они совершали после того, как Мариша выдала меню на мой дом, а Надя видела это первый раз в жизни и была этим делом испугана до потери глаза.

Потом Андрей собрался и строго собрал Надю, дело шло к закрытию метро, Серж и Жора дружно одевались, Коля вышел из уборной и, плохо соображая, лег на диван, но его поднял Жора и повел, сзади шествовала радостная Таня, и я наконец открыла дверь им всем, и они все увидели Алешу, который спал, сидя иа ступеньках.

Я выскочила, подияла его и с диким криком «Ты что, ты где!» ударила по лицу, так что у ребенка полилась кровь, и он, еще ие проснувшись, стал захлебываться. Я начала бить его по чему попало, на меня иабросились, скрутили, воткнули в дверь и захлопнули, и кто-то еще долго держал дверь, пока я колотилась, и были слышны чьи-то рыдаиия и крик Нади:

— Да я ее своими руками! Господи! Гадина!

И кричал, спускаясь по лестнице, Коля:

— Алешка! Алешка! Все! Я забираю! Все! К едреней матери куда угодно! Только не здесь! Мразь такая!

Я заперлась иа засов. Мой расчет был верным. Оии все, как один, не могли видеть детской крови, они могли спокойно разрезать друг друга на части, но ребенок, дети для них святое дело.

Я пробралась на кухию и выгляиула в окно, поверх полузатертой Маришиной блевотиины. Мие недолго было ждать. Вся компания вывалилась из парадиого. Коля нес Алешу! Это было триумфальное всеобщее шествие. Все возбужденио переговаривались и ждали еще кого-то. Последним вышел Андрей, стало быть, это он держал дверь. Когда он вышел, последиий прикрывавший флаиги, Надя выкрикнула ему навстречу: «Лишение материнства, вот что!» Все были в ударе. Мариша хлопотала с иосовым платком над Алешей. Пьяные голоса разносились далеко по округе. Они даже поймали такси! Коля с Алешей и поддерживающая их Мариша, спотыкаясь, влезли иа задиее сиденье, спереди сел Жора. Жора, видимо, будет платить, подумала я, как всегда, точио, и Жоре это по дороге, он так и так всегда ездит на такси. Ничего, доберутся.

В суд они не подадут, не такие люди. Алешку будут прятать от меня. Его окружат виимаиием. Дольше всех ромаитически будут любить Алешку Андрей-стукач и его

бездетная жена. Таня будет брать Алешку на лето к морю. Коля, взявший Алешку на руки, уже не тот Коля, который ударил семилетнего ребенка плашмя по лицу только за то, что тот обмочился. Мариша тоже будет любить и жалеть маленького, гнилозубого Алешу, не проявляющего талантов даже в малой степени. И богатый в будущем Жора подкинет от своих щедрот и средств и, глядишь, устроит Алешу в институт. Другое дело Серж, человек в целом мало романтический, человек сухой, циничный и недоверчивый, — но этот кончит сожительством с единственным по-настоящему любимым им существом, с Сонечкой, сумасшедшая любовь к которой ведет его по жизни углами, закоулками и темными подвалами, пока он не осознает ее полностью, не бросит всех женщин и не будет жить ради одной-единственной, которую сам породил. Такие случаи также бывали и бывают. Вот это будет закавыка и занятие для маленькой толпы моих друзей, но это будет не скоро, через восемь лет, а Алеша за эти годы успеет набрать сил, ума и всего, что необходимо. Я же устроила его судьбу очень дешевой ценой. Так бы он после моей смерти пошел по интернатам и был бы с трудом принимаемым гостем в своем родном отцовском доме. Но я просто, отправив его на садовый участок, не дала ему ключ от садового домика, и он вынужден был вернуться, а стучать в дверь я ему запретила, я его уже научила в его годы понимать запреты. И вот вся дешево доставшаяся сцена с избиением младенцев дала толчок длинной новой романтической традиции в жизни моего сироты Алеши, с его благородными новыми приемными родителями, которые свои интересы забудут, а его интересы будут блюсти. Так я все рассчитала, и так оно и будет. И еще хорошо, что вся эта групповая семья будет жить у Алеши в квартире, у него в доме, а не он у них, это тоже замечательно, поскольку очень скоро я отправляюсь по дороге предков. Алеша, я думаю, придет ко мне в первый день Пасхи, я с ним так мысленно договорилась, показала ему дорожку и день, я думаю, он догадается, он очень сообразительный мальчик, и там, среди крашеных яиц, среди пластмассовых венков и помятой, пьяной и доброй толпы, он меня простит, что я не дала ему попрощаться, а ударила его по лицу вместо благословения. Но так лучше — для всех. Я умная, я понимаю.

ДЯДЯ ГРИША

В то лето я, одинокий человек, сняла себе дачу — вернее, часть сарая. В другой части его была у хозяев кладовая, а в третьей, подальше, жили куры. Иногда ночью куры поднимали шум, и раза два я бегала к хозяевам, чтобы они посмотрели, что с курами. Тетя Сима, моя хозяйка, говорила, что это орудует ласка.

В моей части сарайчика было два окна, обои, печка, стол, продавленный топчан, и к этому топчану я возвращалась из Москвы даже ночью, от электрички бегом. Множество опасностей подстерегало одинокую женщину на пути от станции до дому, по улице без фонарей. Позднее именно в нашем закоулке и погиб мой хозяин, дядя Гриша, но я всегда странным образом верила в безопасность и в то, что никогда и никто в конечном счете меня не тронет. Полнейшая ночная темнота служила мне укрытием не хуже, чем любому человеку и преступнику. Но свет в доме я все-таки включала, хотя и представляла себе, что в полном ночном мраке на пространстве от станции и до конца улицы светится мой сарай, как мишень. Однако я включала свет, пела, ставила чайник на плитку и вела себя как ни в чем не бывало. Самое главное, что к середине лета бобы разрослись по веревочкам, и весь мой сарай прикрылся листьями, так что заглянуть в окно, не привлекая моего внимания, не представляло ни малейшего труда. У хозяев моих не было собаки, это в конце концов и сыграло свою роль, поскольку дядю Гришу убили около самой его калитки, и будь тут собака, не так-то просто это бы произошло.

Любой человек в этом океане мрака, окружавшем мой сарайчик, мог спокойно подойти к окну, а то, что я жила в сарайчике далеко от жилья и одна, это в поселке было известно ближайшим улицам, да и за линией тоже было известно многим. Дядю Гришу убили зимой, а я уехала от них в октябре, и когда приехала их навестить, первый же человек, встретившийся мне, совершенно незнакомый мне человек, сказал, что дядю Гришу зарезали. Этот незнакомый человек потом свернул за линию. Стало быть, живя за линией, он меня все-таки знал.

Однако я, несмотря на то, что боялась поздно ночью возвращаться в свой сарайчик и несмотря на то, что боялась зажигать свет, все-таки делала это каждый день, как бы не

веря ни во что плохое. Иногда меня преследовали страшные видения в духе фильмов о гангстерах, как трое входят в мой сарайчик, как бы смазав задвижку маслом, так бесшумно, и все остальное и прочее. Но при всем этом я не испытывала ужаса, какой испытывала бы даже от кинокартины, — все это воображаемое действо шло поверх страха, не вызывая никаких чувств, — просто как один из возможных вариантов, как если моешь окно и воображаешь себе, что стул покосился и ты вылетаешь наружу и что будет.

Мне ничего не казалось страшным, даже когда хозяйский сын Владик повадился пьяный ночевать за стеной в кладовой и нарочно стучал и гремел там, давая знать, что он здесь, — это мне не только не казалось страшным, но и казалось смешным, как будто бы Владик таким образом, таясь и скрываясь, за мной ухаживал, гремя за стеной. Владик, это понятно, нисколько не ухаживал, просто он был наслышан, что одинокие дачницы все потаскухи, и шел навстречу опасности сам. Тетя Сима не придавала значения тому, что Владик ночует в кладовой, может быть, она считала, что Владику давно пора разговеться, но и этому она тоже не придавала значения, поскольку на следующий день вид у нее был самый обыденный и она разговаривала как всегда, — впрочем, видимо, так же она разговаривала бы со мной в любом другом случае. Я иногда ходила в хозяйский дом смотреть телевизор и видела их простой, неприхотливый народный быт: что тетя Сима глава в доме, Владик любимый сын, Зина старшая дочь, а Иришка внученька, а дядя Гриша тихий человек, который дай да подай, да не ходи по мытому полу, — тихий человек, слесарь на заводе, пятьдесят пять лет. Я очень полюбила их всех, мне они нравились все, всей семьей воедино, нравилось, что к ним без конца ходят гости и забегают соседи, нравилась суровая, но нестрашная тетя Сима, нравился Владик, который так слушал мать, и толстая Зина, которая в минуты отдыха обязательно ела белый хлеб. У Зины был муж Вася, он пил и редко приезжал к теще в дом, приезжала одна Зина навестить дочку Иришку, а также на воскресенье, помыть полы и постирать. Вася если являлся, то все больше молчал, заранее недовольный тем, что о нем наговорила тут Зина, о его поведении, о его матери, об их жизни. Однако и Василий тоже на поверку оказывался любящим мужем, он, напившись, клал голову на плечо Зины.

Так идиллически шла жизнь, иногда хозяева врывались в мое существование, как тогда, когда тетя Сима послала на

крышу моего сарая дядю Гришу — подтянуть провисший провод. Я тоже вместе с тетей Симой смотрела со двора, как дядя Гриша топчется на крыше и никак не может сообразить, как ему дотянуться до провода, а тем более его натянуть. Тетя Сима беспокоилась о сарае, как бы окончательно провисший провод не поджег крышу. Я же, глядя на то, как топчется наверху дядя Гриша, почему-то думала о том, что дядя Гриша сейчас погибнет, дотронувшись до провода, — но мысли эти текли так же поверху, как мысли о гангстерах и о липком пластыре, которым они заклеивают рот жертвы. Дядя Гриша не дотянулся до провода, а тетя Сима беспокоилась, чтобы он как следует слез оттуда, и одновременно говорила, что придется звать монтера и давать ему на бутылку, а то сарай спалится.

Но мне хорошо запомнился дядя Гриша наверху сарая, вздымающий руки в десяти сантиметрах от смерти, и тетя Сима внизу, неспокойная за дом, как все хозяйки.

С дядей Гришей за все лето я говорила только один раз — когда попросила его взять с собой по грибы. Я так и не съездила ни разу в лес, вообще не выходила никуда за все лето, а виной тому был дядя Гриша. Я просила его, чтобы он меня разбудил в пять утра, он меня разбудил, постучал, я одевалась, пила чай, а он появлялся на участке по своим делам и несколько раз, озабоченный, прошел под моим окном. Но, когда я вышла, дяди Гриши нигде не было, и сонная Зинка, выйдя на стук, сказала, что папа давно ушел на поезд пять сорок.

Господи, как я бежала на станцию! Но поезд пять сорок отошел от платформы буквально мне навстречу, и, может быть, дядя Гриша видел в окно, как я стою у рельсов внизу. Хотя вряд ли дядя Гриша когда-либо стал бы смотреть в окно — он был очень тихий человек и ничем никогда себя не развлекал, так я думаю.

Воскресенье это прошло у меня через пень-колоду, я легла опять спать и спала до полудня, а потом болела голова и было страшно жарко. Дядя Гриша вернулся так же незаметно, как и уехал, и домашние сделали ему замечание, что же он не дождался, дачница приходила.

А я-то поняла, что дядя Гриша толокся у меня под окнами, но постеснялся сказать, что пора уходить, вообще постеснялся что-либо сказать. И странное дело — та жалость, которую я испытывала, когда дядя Гриша тянулся к оголенному проводу, стоя на сарае, еще более возросла. Мне было жалко дядю Гришу теперь и из-за того, что он настолько не

может сказать слово, так беззащитен, что, даже договорившись с кем-нибудь, не способен напомнить о деле и решает лучше уж не поднимать шума. Мне виделся в нем какой-то маленький, робкий работник, вечный труженик, о котором никто не подумает и который сам меньше всех о себе думает, — хотя, может быть, ему просто неудобно было брать меня с собой по грибы, а отказать мне он постеснялся: с чего бы это отказывать? И то, что он ушел один, был у него не жест отчаяния, а просто решительность человека, который в конце концов плюнул на приличия и поступил как удобней ему самому. Однако тогда я восприняла его уход как именно застенчивость.

Мне редко приходится испытывать настоящее чувство жалости — ни нищих, ни калек, ни толпу родных у гроба, ни одиноких стариков мне не жаль, не знаю почему. Мне все кажется, что у них где-то там есть своя жизнь, и, мелькнув своим ужасным обликом, они удаляются в свою другую жизнь, расходятся по домам, садятся к батареям или согреваются супом, то есть живут как все, с небольшими поправками. Мне редко кого-нибудь бывает жаль. Но мне до сих пор не избавиться от дяди Гриши, от этой безумной жалости к нему, хотя мне жаль его не потому, что его убили ножом в живот и он потом мучился: я также на ложе смерти буду мучиться, мы все будем мучиться, и это наше личное дело. Мне все вспоминается, как он топтался, ходил взад-вперед по участку, а потом взмахнул руками и пошел один, побежал на станцию, а я побежала за ним спустя восемь минут, но он уже торжественно отъезжал, отбывал одиноденешенек в электричке.

А убили его подростки, когда он не дал им папирос да еще и сказал: «Сопли надо утереть». Видно, что-то взыграло в этом кротком человеке, или он не был кротким.

Семья его после его смерти распалась. Василий бросил Зину, а старуха сошла с ума и выкапывала мужа из могилы с целью доказать, что у него были покусаны руки. Но этого никто ей не засвидетельствовал, труп уже разложился, и ничего не осталось от дяди Гриши, и только Владик все еще живет с матерью и все так же робок и надеется на счастье.

БЕДНОЕ СЕРДЦЕ ПАНИ

Я родила своего ребенка довольно-таки поздно, перед этим долго лежала в так называемой патологии, среди женщин, которым предстояли какие-то затруднения, и, кстати, я оказалась не самой старородящей, там была уже совсем пожилая женщина сорока семи лет, ее все звали баба Паня и слегка над ней потешались, над ее манерой говорить понаучному «пойду выделю мочу». Баба Паня была почти неграмотной чернорабочей, морщинистой, с узенькими хитрыми глазками женщиной, и все время ходила по нашему короткому коридорчику вдоль палат, и ждала и ждала своего часа, как мы все его ждали. Но она ждала, как оказалось, совсем не того, что все мы, брюхатые, стонущие бабы, из которых многие пролежали по семь месяцев неподвижно, только чтобы родить ребенка. Под окнами браво кричали навещающие, мы лежали на втором этаже и при открытой форточке лежали и слушали, как кричат. У одной женщины моего возраста опять ничего не получилось, в какой уже раз, ее увели, все думали, что вдруг обойдется, но под окнами вечером раздался пьяный крик: «Сволочь, сука... паразитка... Ты мне загубила жизнь, ах ты сука, что я с тобой связался...» Это кричал ее несчастный муж, который узнал, узнали и мы, что она опять родила мертвого.

Ну так вот, а баба Паня была вылеплена совсем из другого теста и ждала совсем не того, что мы. Она ходила со своим отвислым животом и ждала, как обнаружилось в дальнейшем, что ей по ее медицинским показаниям, в ее уже огромные сроки сделают аборт, для этого она здесь и находилась — уже довольно долго. Она объясняла, что муж у нее лежит уже полгода с радикулитом, он плотник на строительстве, что-то поднял. У них трое детей, и у нее самой был год назад инфаркт: дали большую инвалидность — второй группы. Что же ты тянула, воскликнули бы все, но никто не воскликнул, потому что знали, что ей сначала поставили другой диагноз — опухоль, и опухоль все росла и росла, пока не начала шевелиться и дрыгать ножками, тогда-то баба Паня, проплутав по районному и областному горздраву, направилась с пачкой бумажек искать правду в министерство в Москву и добилась своего, упорная душа, потому что действительно она могла при своем сердце умереть от родов и оставить троих детей сиротами. Она долго ходила по разным инстанциям, а живот все

рос, уже набиралось что-то шесть месяцев или около того, и наконец ее положили в тот научно-исследовательский институт, где пребывали все мы в ожидании решения своей судьбы. Баба Паня попала к хорошему врачу Володе, который только что спас жизнь одному задохнувшемуся в лоне матери ребенку, девочке. Он высосал ртом слизь, забившую все дыхательные пути, и ребенок через две минуты после рождения закричал — такие легенды ходили о Володе, и везде его бегала-искала по коридорам мать этой девочки, чтобы вручить ему дорогую зажигалку, но не добилась ничего и с тем выписалась. И еще ходила легенда, что его собственная мать умерла родами, и Володя поклялся, что будет врачом-акушером, и стал им по призванию. И тем больше было у всех недоумение и ненависть в адрес ни в чем не повинной бабы Пани, что Володя не торопился делать ей аборт, а все ходил к ней в палату, мерял давление, проверял анализы, а баба Паня все ждала, и уже человека, что ли, собирались убивать все эти врачи, человека на седьмом месяце, но баба Паня твердо ждала и знать ничего не хотела; у нее было направление министерства, а дома ее ждали дети и неходячий муж в домике-засыпушке на далеком строительстве ГРЭС. Баба Паня строила ГРЭС, оказывается, вернее, была сторожихой и инвалидом, и на какие деньги все эти люди жили, неизвестно.

Шло время, проходили недели, я наконец убралась из отделения патологии и перекочевала в палату родильниц, мне наконец принесли мое дитя, и все муки как будто кончились, как вдруг у меня началась горячка и вскочил нарыв на локте. Тут же меня препроводили через двор в инфекционное отделение, я переправлялась по зимней погоде в чьих-то резиновых сапогах на босу ногу, в трех байковых халатах поверх рубашки и в полотенце на голове, как каторжница, а сзади несли завернутого в казенное одеяло ребенка, которого тоже выселили, ибо и он заболел. Я шла, обливаясь бессильными слезами, меня вели с температурой в какой-то чумной барак и разъединяли с ребенком, которого я уже начала кормить, а ведь известно, что если мать хоть один раз покормила ребенка, то все, она уже навеки связана по рукам и ногам и отобрать у нее дитя нельзя, она может умереть. Такие связи связывали меня, идущую в казенных сапогах на босу ногу, и моего ребенка, которого несли за моей спиной в сером одеяле, накрыв с головой, а он молчал под покрышкой и не шевелился, словно замерев. В чумном бараке его унесли очень быстро, а мои мучения

продолжались теперь в палате, где лежали инфекционные больные то ли с нарывами, то ли с температурой, и где лежала уже и тетя Паня, опроставшаяся, пустая, и принимала огромное количество лекарств и от сердца, и от заражения крови, поскольку ей уже сделали аборт, разрезали живот, но шов загноился: все в том научно-исследовательском институте, видимо, было заражено. Но тетя Паня, убийца, сама теперь была на грани смерти и теперь выкарабкивалась с трудом, а родильный дом закрывали на ремонт из-за страшной стафилококковой инфекции. Больные говорили, что сжечь его надо, сжечь, да что толку в разговорах.

Я плакала все дни, мне нужно было сцеживать молоко, чтобы оно не пропало, но руки были заразные, а ходить нас не выпускали в коридор, умываться я не могла. Я боялась заразить молоко и просила хотя бы спирту протереть руки, раза три сестра мне приносила ватки, а потом бросила, спирту на руки не напасешься. Тетя Паня молчаливо слушала, как я рыдаю со своими грязными руками, у нее были собственные дела для размышлений, у нее была высокая температура, которая не снижалась, и наконец пришел доктор Володя, убийца. Он положил руку на лоб тети Пани, осмотрел ее шов и вдруг велел принести лед: у тети Пани пришло молоко для ее убитого ребенка, в этом и была причина температуры.

Наконец настало время, мои муки кончились, и после долгих переговоров мне принесли ребенка, который за неделю разлуки разучился сосать. Жалкий, худой, прозрачный, он ничего не мог поделать, раскрывал и закрывал рот, а я плакала над ним, пока он кричал.

А убийца тетя Паня начала вставать и ходить, держась за стенку, потому что у нее речь шла о выписке. Она объяснила, что тренируется, от станции до стройки пешком двенадцать километров, но ее выписали через два дня, не вникая в подробности, и она ушла своим ходом, как могла, на вокзал.

А мой ребенок окреп, начал бойко сосать, и через два дня мы должны были выходить на божий свет из чумного барака, как вдруг случилось происшествие. В палату привели новую пациентку — высокая температура, неизвестный диагноз. Привели и положили в опустевшую палату, где торчала одна только я, ожидая очередного кормления. Моя новая соседка сильно кашляла, на вопросы не отвечала, и я тут же энергично отправилась к дежурной детской сестре и

заявила, что туда, где больной человек, нельзя приносить ребенка и т. д. Хорошо, приносить перестали, но теперь я уже знала, где он лежит, где его детская, и стояла под дверью, а он кричал криком. Он был один в детской, как я была одна в своей палате, каждой палате соответствовала своя детская, и я теперь знала, что этот одинокий визг есть визг моего голодного ребенка, и стояла под дверью.

И вдруг добрая медсестра сжалилась надо мной, дала мне белый халат, шапочку и марлевую маску и ввела в детскую кормить. Я села в угол кормить моего дорогого ребенка, он тут же успокоился, а я стала разглядывать детскую. Это была белая, чистая комнатка с четырьмя отделениями, в каждом из которых стояло по кроватке, по числу коек во взрослой палате.

Все кроватки пустовали — у новой пришелицы с температурой еще никто не родился, и только под стеной стоял инкубатор, мощное сооружение, накрытое прозрачным колпаком, и в инкубаторе лежало маленькое дитя, тихо спало, смеживши глазки, совсем как большое. Я кормила своего, любила своего, но дикая жалость к чужому существу вдруг пронзила меня.

Это явно была девочка, аккуратные ушки, спокойное, милое лицо величиной с некрупное яблоко — мальчишки рождаются аляповатыми, я уже нагляделась, и только девочки появляются на свет в таком аккуратном, изящном виде.

У вошедшей сестры я спросила: «Девочка?» — и она кивнула и с любовью сказала: «Она у нас уже из пипетки пьет».

Я вернулась в палату, пошли часы кормлений, на следующий день мы с ребенком вымелись из этой больницы прочь, на волю, а меня все мучает вопрос: а не дочь ли тети Пани лежала там, в инкубаторе? Ведь это была детская нашей палаты, и доктор Володя почему так тянул с тетей Паней — уж не хотел ли этот мученик науки дорастить ребенка хотя бы до семи месяцев, до правильного развития?

Все эти вопросы терзают меня, забивают мне голову, и жалкая тетя Паня в который раз на моих глазах пробирается по стеночке, тренируется, чтобы идти домой, и все видится мне доктор Володя, положивший ей руку на лоб, но как не вяжется тетя Паня с тем существом, которое так мирно спало тогда под крышкой инкубатора, завернутое в розовую пеленку, так тихо дышало, закрыв глаза, и так пронизывало все сердца, кроме бедного сердца тети Пани, сторожихи и инвалида.

— Будьте любезны, Равшан, ну что я с ней буду делать?

— Я обещал, еще пять минут.

— Свалилась мне на голову. Вам-то она зачем?

— Пять минут, пожалуйста, ждем.

— Аферистка какая-то. Журналистка, наверное.

Наконец она явилась, действительно журналистка, как потом оказалось, портки широкие, короткие, «чистый хлопок», как она потом скромно уточнила, этот ее чистый хлопок был в сиреневый цветочек по серому полю, немыслимая какая-то портянка, штанины едва до щиколоток, потом белые тапочки как из гроба — но апломб! Скакала как козочка на цыпочках, выходя из гостиницы «Интурист» навстречу своей судьбе и смерти, то есть навстречу нам с Равшаном.

— Я вот говорю Равшану, — говорю я, — какого черта вы нам свалились на голову? Вы кто, журналистка?

— Какой у вас глаз! — теряется она. — Как это вы с ходу?

Полный восторг с ее стороны. Я:

— Откуда вы, из какой газеты?

— Не из газеты, из журнала, «Ваше мнение». Устраивает?

— Знаю, улица Полевая.

— Ну, у вас глаз! Сразу все определили.

— Журналистов сразу видно. Какой отдел?

— Да иностранный.

— Понятно, — сказала я, подумав, что не знаю никого в таком отделе и что же это за отдел такой, но понять можно, она берет интервью и сопровождает гостей, отсюда иностранный вид, то есть тот вид, который напускают на себя бабы-иностранки, сорвавшись с цепи за границу за железный занавес, где они изображают собой золотую молодежь, громко хохочут, болтают, не носят лифчиков и с негодованием относятся к фарцовщикам, когда те ловят их вечером у гостиниц и спрашивают развратными, глухими голосами и в сторону, но спрашивают совсем не то, что можно ожидать, спрашивают:

— Джинсы е? Е джинсы?

— Ноу, нон, найн.

— Ништ, — повторяют фарцовщики. — Джинсы е?

Вот точно такая она была. На руках, во-первых, по де-

сятку браслетиков с эмалью. Рыжие, кое-где очень светло-рыжие (явно седина под хной) волосы, заплетенные очень слабо в косички, разболтанные, перевязанные одна красным шнуром, другая каким-то еще. Очки с радужным переливом, с диоптриями, крошечные глазки под громадными стеклами, и лицо, когда поворачивает голову, все у шеи складывается в складки. Однако же густо усыпана детскими веснушками. Такое противоречие.

— У рыжих, — говорит она, что-то там такое, она говорит, есть у рыжих, — это всегда так, вы разве не заметили с вашим острым глазом?

— Откуда я знаю, что вы рыжая.

Она как-то сдавленно хихикает, видимо пронзенная, что догадались, что она крашеная.

Вся-то ты, голубка, на виду, вся на глазах.

— И что это вы так вырядились?

— Это чистый хлопок, — объясняет она, — не наша вещь. Вообще ношу не наше.

Разумеется, где-нибудь в уцененке подхватила.

Пауза.

— Моя мечта — найти портниху! — восклицает она. — Девочку, чтобы все делала, как я скажу.

Смехотворная журналистка, очки в пол-лица, веснушки, косы, рыжая, в сиреневых подштанниках, белые тапочки, дать можно лет двадцать пять — тридцать, но морщины! Крайняя усталость, изношенность, есть такая болезнь — атрофия мышц, видно, это тот случай. Что же поделать! Кто-то мне уже говорил про такую атрофию, про мужика, который глубокий старец в сорок лет, в цветущем мужском возрасте. Как во сне, вспоминаю, что вроде бы то ли видела этого мужика, то ли действительно во сне. Продолжаем, я учу ее:

— Ну, это все будет нефирменно, какая-то портниха. Будет самострок.

— Что?

— Ну, собственное шитье, сейчас не носят.

— О, я бы придумала, я бы носила. Я вообще люблю мало вещей, у меня есть приятельница, она хоть дорого продает, но ведь и Диор дорого продает.

— У вас есть от Диора?

— У меня несколько есть вещей от Диора.

Врет. Такое впечатление, что вообще все врет. Нет у нее Диора, это несовместимо с такими портками.

Равшан пока молчит. Равшан вступит, когда мы войдем

под своды древнего города Казы, на мостовую из драгоценных камней, дети кричат, от стены до стены рукой подать, всюду тянутся трубы, пришла поверх всего цивилизация в виде газа.

Но Равшан включен в беседу ловкой бестией, она щебечет:

— Ну вот вы, вот вы, вы бы сразу убили свою жену, если бы она изменила?

— Я? Убил! — твердо говорит Равшан, и я ему верю. Он не врет вообще и никогда, не тот человек, видно по нему сразу.

Мы тут с ним провели вместе четыре часа, его приставили ко мне провожать в гостиницу после лекции. Он нес мои цветы по городу, и все знакомые кричали в ответ на его традиционное: «Как здоровье, как мама».

Они кричали:

— Поздравляем!

Имея в виду меня, что он меня ведет с цветами. И громко смеялись. Равшан отшучивался, он был очень тактичен.

Он меня доставил в гостиницу, чтобы поводить затем по городу, и тут, в вестибюле, к нам пристряла эта журналистка, звать ее Лионелла, не как-нибудь, тоже, наверное, врет. На нее было тогда посмотреть — ну типичная иностранка, что-то на ней было другое, не эти портки, сейчас трудно вспомнить, и не белые тапочки, разумеется. Джинсы, что ли. И на мне джинсы, привет. Она так приветливо нам с Равшаном подмаргивала и поддакивала, когда мы обсуждали, как же мне завтра уехать в Ключ.

— Ключ? Это я в Ключ. Сафи, да? Город Сафи?

— Сафи, Сафи, — говорю я приветливо, имея ее за иностранную гостью, легитимно относясь к ней, то есть как-то не так, как к своим, подобострастно. При этом я как можно меньше сама говорю, это уже автоматически, я этому научилась по гостиницам в скитаниях — чем меньше говоришь, тем больше шансов на легитимное к себе отношение, на то, что примут за иностранку. Тогда и официанты обслужат утром, до одиннадцати, вместе с иностранцами, тогда и попутный водитель сочтет за честь подбросить без денег, и дыню на базаре дадут взрезать их ножом.

— Сафи, — стало быть, говорю я, не разжимая губ уже машинально.

Она же безумно радуется, клюнуло, нашла вроде себе иностранку в попутчицы, тут же освобожденно по-русски (раз я иностранка) объясняет, какой самолет ходит, когда

вставать, тут же Равшан обещает достать в шесть утра машину ехать в аэропорт. Короче говоря, не сказала я и двух слов, она уже прицепилась ко мне ехать в Сафи. Через Клыч. Ладно. Равшан остается нас ждать, я уже спешу в номер, в туалет, в душ, переодеться — и, спустившись, нахожу Равшана, который уперся как осел и хочет ждать эту Аделаиду еще пять минут.

— Будьте любезны, Равшан, ну что я с ней буду делать? — говорю я. — Свалилась мне на шею. Я от нее прямо больная. Как ее зовут, Изумруда? Таких людей я не выношу больше чем пять минут.

— Еще пять минут, — твердо улыбаясь, говорит Равшан. — Я же обещал.

— Журналистка проклятая! Вот увидите, она журналистка.

Равшан качает головой. У него непроницаемая улыбка на устах. Он твердо ждет. Я жду тоже, она выпархивает, сменила обувь и за неимением каблуков идет на цыпочках, что-то собой изображает. Видимо, долго думала, что надеть, и остановилась на этом несусветном чистом хлопке. Происходит уже известный разговор о моей наблюдательности, о ее, Ираидином, иностранном отделе. Идем в город, сумерки опускаются над глиняными кубами, куполами, стенами, над каменной мостовой, под которой чувствуется многометровая пустота. Разговор заходит о том, как хоронят мусульман. Объясняет Равшан, все подробно говорит о вое родных, о том, как заворачивают труп, как опускают его в могилу и подсовывают в специально открытую у дна яму, сбоку, как бы пещерку, где у покойника есть свободное пространство над головой. Все рассказав, Равшан слегка осуждает вой старух, говорит, что невозможно вынести, когда кричат в доме. Я вдруг вспоминаю, что у Равшана два года назад умер отец, он говорил, а отец для них — это самое святое. Отец и дети. Особенно мальчики.

— Но все-таки, Равшан, вы бы не убили, если бы знали, что вам за убийство жены дадут много лет или расстрел?

— Мне? Нет, я убил бы, — говорит Равшан, еще неженатый, но уже знающий свою невесту и свою дальнейшую жизнь. — Я, — заявляет Равшан, — прихожу домой и как проваливаюсь. Засыпаю сразу.

Это он резко меняет тему, хочет рассказать о себе, раз его так нежат и балуют вниманием. Почувствовал доверительность.

— И даже не ужинаете? — спрашиваю я.

— Нет, я поужинаю, а потом как проваливаюсь.

— Даже не раздеваетесь?

— Нет, я поужинаю, разденусь и как проваливаюсь.

— Ну и что такого?

— Я быстро очень проваливаюсь. Быстро засыпаю. Не вижу снов, ничего не вижу. Это очень плохо. Целый день хожу не устаю, а потом проваливаюсь — и без снов.

— Надо попросить кого-нибудь посмотреть, — говорю я, — двигались ли у вас во сне глазные яблоки. Если двигались, невроза нет, вы просто не помните снов.

— Да, верно, — говорит Равшан, сотрудник общества «Знание».

Все. Тема у нас исчерпана. Аделаида со своей слабой кожей так и светится в ночной тьме Равшану, желает вспорхнуть или танцевать. Ходит по парапету над каналом.

— А я всегда хотела стать балериной, — говорит она, танцуя на парапете. Равшан уже там, держит ее за руку. — Я, — сообщает она, — была бы балериной, танцевала бы в гареме танец живота. Равшан, как, в гареме сошла бы я?

Равшан хочет сказать что-то, но говорю я:

— Я тут читала про одну молодую женщину двадцати четырех лет, что у нее ай кью, коэффициент интеллекта. самый высокий в мире, что-то сто восемьдесят шесть. У Эйнштейна сто семьдесят пять. У нее сто восемьдесят шесть. Она доктор физических и философских наук, бросила все и пошла в кабак танцевать танец живота.

— Да, это я, — говорит эта Семирамида, а Равшан очень крепко держит ее за руку. Затем он ведет нас куда-то вглубь от канала, мы влезаем на крышу мечети Чор-Минор, четыре минарета, освещаем себе дорогу, поджигая газеты, лезем по темной лестнице, развлекаемся, как дети. Равшан поддерживает нас, то одну, то другую, со мной он сопровождающее лицо, с Аделиной нештатный кавалер, он уже хватает и меня за локоть, он разошелся, глаза его блестят, он покупает нам дыню на базаре, где уже все укладываются спать, мы как побратимы. Продавцы укладываются на прилавках, над базаром стоит башня смерти, наполовину освещенная лампочкой из-за угла, а дальше темнота, свет звезд и темный силуэт уходящего ввысь конца башни. Душа холодеет.

— У меня замирает сердце, — говорит эта аминокислота, поглощая все это, принадлежащее мне. — Я это или не я, не понимаю. Какая теплая ночь!

— Проклятая вы журналистка, трепло, — говорю я.

Они смеются, размягченные.

Тут наша Соломонида дает полный концерт, у нее тонкие ручки, белые тапочки, расшлепанные бедра, она вся полет и вдохновение. Равшан вдохновлен, смеется, болтает, он совсем забыл обо мне, он теперь пристает к Соломее с вопросами о том, а не побывать ли нам в ночном баре при гостинице. А она вдруг так по-деловому отвечает:

— Была бы у вас валюта, тогда другое дело. Там же все на валюту.

И Равшан трезвеет, не все возможно, он понимает.

Это мы уже движемся обратно домой.

— Пошли, пошли, поднимемся на верхний этаж, на крышу, поглядим на огни ночного Казы, — говорит она нам. Я с ними не пойду, их там хватит и без меня, у нее отдельный номер, она платит за двоих, чтобы иметь отдельный номер. Вот там пусть они и устраиваются.

Она кто? Она точно не работает ни в каком журнале, это ясно. Не тот коленкор. Бабы там совсем не такие, не такие аферистки. Это скорей нештатная собачка на побегушках, здесь она только и живет как та интуристка, которая дома копит, копит, а потом как шарахнется за границу и удивит народы своими трусами и майкой без лифчика, посещая в них публичные места.

Она все врет, она просто пробавляется вот такими Равшанами по дороге, у нее дома пусто, вообще ничего, шаром покати, ни шмоток, ни детей, ни мужика, она собрала все вещи в два больших чемодана да и устроила себе от тоски римские каникулы. Какие-то у нее там сроки, она говорила, к восемнадцатому чтобы быть дома, кому она нужна? Говорила, что собралась ехать не одна, отсюда два чемодана, кто-то ее обманул, не поехал. Такую не обмануть просто грех, она набивается на это сама. Легкая добыча, слабая висящая кожа, слабая кость, глаза так и раскрыты на все, все приемлет и говорит: «Пока есть на свете брюнеты, мне можно жить». На самом деле она не так проста, это она здесь играет в это. Единственно, что в ней подлинное, — это ее болезнь. Где она это подцепила, свою слабость, атрофию? Ей лет тридцать, не больше, да и то тридцать из-за слабости кожи, а так двадцать пять, не больше. Страшно, такая болезнь. Тот раз она так изящно склонила головку, шея вся сложилась в мелкие складки. Полное истощение, а она еще прыгает.

— Я не могу не спать ночь, я такая разбитая, Равшан проявил такие чувства, — говорила она затем уже в Ключе, куда мы прилетели не проспавшись, уже без Равшана, и

стояли посреди главной площади, не зная как быть, гостиницу нам не дали. Здесь у меня уже не было никаких выступлений и никаких сопровождающих, в Сафи я отправилась просто так, быть в Казы и не заехать в Сафи! Мы вдвоем пытались устроиться в гостиницу через администраторшу, причем моя Ираида внушала ей, пока я стояла в коридоре: «КГБ, КГБ», а администраторша сразу криком ей отвечала, чтобы она вышла из служебного помещения, потому что у нее тридцать туристов не поселены.

— Не так вы действуете, — замечаю я ей, Ираиде. — Администраторы сами ничего не решают. Надо действовать через начальство.

— Я звонила начальству, там обед. Погуляемте еще, подождем.

Мы ходим по улицам холодного Клыча и на просторе обсуждаем вопрос, кто такая моя Аделина. Я ее вывожу на чистую воду, она увиливает.

— Это все какое-то темное место. Вы не работаете в журнале.

— Я нештатно. Я просто назвала вам журнал, где меня печатают больше. И все.

Так оно и есть. Пойдем дальше.

— А что у вас в КГБ? Вы сотрудница?

— Надо уметь связываться с людьми. Друг моего друга тут кагэбэвец.

— Кагэбэшник?

— Тут кагэбэвец. Они меня передают из рук в руки, по местным отделениям. Из Касманда в Казы, из Казы сюда.

— Но почему КГБ?

— Я же говорю, надо уметь дружить с самыми разными людьми. У меня нет постоянной работы. Я знаю языки, язык. Я журналист еще молодой.

— Послушайте, а квартира есть у вас?

— Квартиру мы только построили, кооператив. Но маленькая, двадцать семь метров.

— Вы там одна?

— Нет, с мужем.

Покорно переносит допрос, почему — неизвестно. Никакого сопротивления.

— Ну что же, на двоих немало.

— Но ведь у людей уже книги, вещи. И потом, а если мы захотим завести бэби?

— Тогда конечно.

Она меня оставляет у здания местной газеты и возвра-

щается, уже устроив гостиницу, правда жалкий филиал, похожий на очень высокую конюшню. Каждое стойло на сорок метров, пахнет глиной от простыней, простыни все в мусоре и мятые.

Она спрашивает:

— Простыни-то грязные?

— Чистая, — отвечает ей старушка с ключом, горничная.

— Да грязные, видите? Смените, смените.

— После обеда, кастелян придет.

А ничего, эта царица Савская что-то хоть устраивает, хотя все это мыльный пузырь, и не буду я здесь жить, в этом номере.

Дальше мы с ней ловим попутку на Сафи. Она цепляет еще черные окуляры поверх радужных, выступает ногой на дорогу, на шоссе, щелкает пальцами под носом у машин.

Ноль внимания.

— Странно, — говорит она.

Машины мимо — ширк, ширк. Я в роли наблюдателя. Только. Водители нас и не видят, в нашу сторону и не глядят. Такое зрелище, рыжие косы, очки, а они не глядят. Глядите! Она тянет ручонку, щелкает.

— Странно.

В конце концов нас довозят до Сафи. Пока мы валандались с гостиницей, пока что, в Сафи доехали уже к трем. Сафи совсем уже пустое, автобусов нет у ворот крепости, улочки путаные, с чего начинать, неизвестно. Я хочу на базар, меня интересуют тарелки, бадии, ляганы и что там еще. Она меня поучает:

— Я же предпочитаю духовное материальному. Понимаете, ду-хов-но-е. Я всегда так живу. Идемте хоть в музей.

Идти с ней сплошная мука. Надо одной, одной смотреть, тогда все принадлежит тебе, ты с этим разговариваешь, задумываешься, улетаешь душой, а с ней идти — не хочется смотреть по сторонам, все типичное не то, она важно объясняет строение мечети и медресе. Пользуется многими терминами, а меня от терминов тошнит, от специалистов тошнит, это все им принадлежит, а мне принадлежит совсем другое. Я собственница. Я ревную все ко всему. Всех ко всем.

Ну вот, и мы тащимся с ней в музей, смотрим, модель кельи в натуральную величину, в келье сидит ученик медресе из папье-маше, в модели лавки — таковая же модель продавца, но с помятым лбом.

Все, с меня хватит.

— Детский сад какой-то, — говорю я и тихо так, тихо убираюсь вон. Бегу по Сафи, заворачиваю раз за угол, другой раз за угол. Больше я эту Гретхен не видела. В Сафи быстро темнело, тучи висели низко, я выбралась из крепости и вышла на шоссе, тут же подъехал таксист и распахнул дверцу. И предложил ехать бесплатно. Я села в его заплеванное такси, мы тронулись, и от него вышло новое предложение — свернуть в сторону на часок. Погулять, как он выразился. Потом в Ключ бесплатно. «Я у вас бывал, женщины такие хорошие, открытые, — сладко говорил он, а такси ехало по пустынному шоссе. — Все они делают. Погуляем?»

Я ему ответила, что дешево же он, за шесть рублей, хочет погулять, и велела ему остановиться. Он выключил счетчик, денег брать не стал, и я выскочила на шоссе.

Потом подвернулся автобус, я была одна и свободна, весь автобус по дороге бурно общался между собой, все пять человек. Там были две цыганки-красавицы, такие цыганки из пустыни, нищие, в стеклянных браслетах, имеющих магические свойства, с привязанными косами из черных ниток, и они через русскую женщину ответили мне, сколько у них детей, дали мне, опять-таки через развеселившуюся переводчицу, всего двадцать пять лет, как в лучшие былые годы. Только волосы стриженые показали, что надо отрастить, — короче, время прошло без Гретхен довольно весело. Душа моя была открыта пустыне, цыганскому крошке-младенцу, его матери, красивой, как Софи Лорен в молодости, такой спокойной, небесно-смуглой цыганке, которая без устали жевала лепешку, откусывая, как ребенок, не из щепоти, а из горсти, откуда-то от запястья. Мне было хорошо, как Миклухо-Маклаю, когда он был один с туземцами. Я его понимала. Мои цыганки были очень бедные, они ехали у шофера бесплатно, насобирав в Сафи лепешек, они набрали полный платок сухих уже лепешек, огрызков. Та, что помоложе, молча ела, а другая нам по-доброму и снисходительно улыбалась, открывая темные зубы и десны, и иногда отвечала. Какой рай! Меня все любили и уважали, я всех любила и уважала каждую былинку.

Я прибыла в Ключ в наш караван-сарай, уже когда было совсем темно, а ее не было, сказали, что она не приходила. Я долго укладывала вещи, собираясь на ночной самолет, увязывала и упаковывала медные кувшины, глиняные блюда, книги и всякую дребедень, какие-то изразцы, ико-

му не нужные. Вещей оказалось страшно много, пока я собиралась, настала ночь. Ее все не было. На улице не горели фонари, по счастью, какой-то прохожий помог мне добраться до автобуса и сказал, чтобы я не садилась ни в такси, ни тем более к частнику. Очень страшно. Люди пропадают.

А кругом стояла глубокая, тихая ночь. Я все надеялась, что Аида меня догонит как-то, но вряд ли ей было меня догнать, я повидала все-таки ее паспорт. Его по ошибке отдал мне дежурный в гостинице вместо моего. Я повидала ее паспорт и вздрогнула, столько ей оказалось лет, даже больше, чем мне, так что ее слабая кожа была от возраста, и поездка, видно, была от возраста, и два чемодана тяжелейших, видимо, все имущество, она таскала с собой не просто так и не просто так говорила о бэби, о будущем ребенке, которого уже у нее быть не могло. И все ее номера, и фортели, и бессонная ночь с Равшаном, после которой даже встречные шофера от нее отшатывались, — все это было от возраста, а может, и не от возраста, мало ли почему может человек вот так таскаться по белу свету, ко всем привязываться, привыкать, ото всех ждать дружбы и любви, на что-то надеяться. Но: пока живы брюнеты, будет жить и моя Гретхен, я в это верю, не могла же она так погибнуть от пустяка, оттого, что я ее бросила одну в том страшном городке. Она должна была найти выход, правда, ее восторженная душа аферистки и явной наркоманки могла ее подвести, а в особенности ее слабые кости. Так что я могла свободно оказаться тем последним камнем на ее дороге, от которого она отплыла в вечность, да что я, каждый, буквально каждый...

Мне позвонили, и женский голос сказал:

— Извините за беспокойство, но тут после мамы, — она помолчала, — после мамы остались рукописи. Я думала, может, вы прочтете. Она была поэт. Конечно, я понимаю, вы заняты. Много работы? Понимаю. Ну тогда извините.

Через две недели пришла в конверте рукопись, пыльная папка со множеством исписанных листов, школьных тетрадей, даже бланков телеграмм. Подзаголовок «Записки на краю стола». Ни обратного адреса, ни фамилии.

ВРЕМЯ НОЧЬ

Он не ведает, что в гостях нельзя жадно кидаться к подзеркальнику и цапать все, вазочки, статуэтки, флакончики и особенно коробочки с бижутерией. Нельзя за столом просить дать еще. Он, придя в чужой дом, шарит всюду, дитя голода, находит где-то на полу заехавший под кровать автомобильчик и считает, что это его находка, счастлив, прижимает к груди, сияет и сообщает хозяйке, что вот он что себе нашел, а где — заехал под кровать! А моя приятельница Маша, это ее внук закатил под кровать ее же подарок, американскую машинку, и забыл, она, Маша, по тревоге выкатывается из кухни, у ее внука Дениски и моего Тимочки дикий конфликт. Хорошая послевоенная квартира, мы пришли подзанять до пенсии, они все уже выплывали из кухни с маслеными ртами, облизываясь, и Маше пришлось вернуться ради нас на ту же кухню и раздумывать, что без ущерба нам дать. Значит так, Денис вырывает автомобильчик, но этот вцепился пальчиками в несчастную игрушку, а у Дениса этих автомобилей просто выставка, вереницы, ему девять лет, здоровая каланча. Я отрываю Тиму от Дениса с его машинкой, Тимочка озлоблен, но ведь нас сюда больше не пустят, Маша и так размышляла, увидев меня в дверной глазок! В результате веду его в ванную умываться ослабевшего от слез, истерика в чужом доме! Нас не любят поэтому, из-за Тимочки. Я-то веду себя как английская королева, ото всего отказываюсь, от чего ото всего: чай с сухариками и с сахаром! Я пью их чай только со

своим принесенным хлебом, отщипываю из пакета невольно, ибо муки голода за чужим столом невыносимы, Тима же налег на сухарики и спрашивает, а можно с маслицем (на столе забыта масленка). «А тебе?» — спрашивает Маша, но мне важно накормить Тимофея: нет, спасибо, помажь потолще Тимочке, хочешь, Тима, еще? Ловлю косые взгляды Дениски, стоящего в дверях, не говоря уже об ушедшем на лестницу курить зяте Владимире и его жене Оксане, которая приходит тут же на кухню, прекрасно зная мою боль, и прямо при Тиме говорит (а сама прекрасно выглядит), говорит:

— А что, тетя Аня (это я), ходит к вам Алена? Тимочка, твоя мама тебя навещает?

— Что ты, Дунечка (это у нее детское прозвище), Дуняша, разве я тебе не говорила. Алена болеет, у нее постоянно грудница.

— Грудница??? (И чуть было не типа того, что от кого ж это у нее грудница, от чьего такого молока?)

И я быстро, прихватив несколько еще сухарей, хорошие сливочные сухари, веду вон из кухни Тиму смотреть телевизор в большую комнату, идем-идем, скоро «Спокойной ночи», хотя по меньшей мере осталось полчаса до этого.

Но она идет за нами и говорит, что можно заявить на работу Алены, что мать бросила ребенка на произвол судьбы. Это я, что ли, произвол судьбы? Интересно.

— На какую работу, что ты, Оксаночка, она же сидит с грудным ребенком!

Наконец-то она спрашивает, это, что ли, от того, о котором Алена когда-то ей рассказывала по телефону, что не знала, что так бывает и что так не бывает, и она плачет, проснется и плачет от счастья? От того? Когда Алена просила взаймы на кооператив, но у нас не было, мы меняли машину и ремонт на даче? От этого? Да? Я отвечаю, что не в курсе.

Все эти вопросы задаются с целью, чтобы мы больше к ним не ходили. А ведь они дружили, Дуня и Алена, в детстве, мы отдыхали рядом в Прибалтике, я, молодая, загорелая, с мужем и детьми, и Маша с Дуней, причем Маша оправлялась после жестокой беготни за одним человеком, сделала от него аборт, а он остался с семьей, не отказавшись ни от чего, ни от манекенщицы Томика, ни от ленинградской Туси, они все были известны Маше, а я подлила масла в огонь: поскольку была знакома и с еще одной женщиной из ВГИКа, которая славна была широкими бедрами и тем,

что потом вышла замуж, но ей на дом пришла повестка из кожно-венерологического диспансера, что она пропустила очередное вливание по поводу гонореи, и вот с этой-то женщиной он порывал из окна своей «Волги», а она, тогда еще студентка, бежала следом за машиной и плакала, тогда он из окна ей кинул конверт, а в конверте (она остановилась поднять) были доллары, но немного. Он был профессор по ленинской теме. А Маша осталась при Дуне, и мы с моим мужем ее развлекали, она томно ходила с нами в кабак, увешанный сетями, на станции Майори, и мы за нее платили, однова живем, несмотря на ее серьги с сапфирами. А она на мой пластмассовый браслетик простой современной формы 1 рубль 20 копеек чешский сказала: «Это кольцо для салфетки?» — «Да», — сказала я и надела его на руку.

А время прошло, я тут не говорю о том, как меня уволили, а говорю о том, что мы на разных уровнях были и будем с этой Машей, и вот ее зять Владимир сидит и смотрит телевизор, вот почему они так агрессивны каждый вечер, потому что сейчас у Дениски будет с отцом борьба за то, чтобы переключить на «Спокойной ночи». Мой же Тимочка видит эту передачу раз в год и говорит Владимиру: «Ну пожалуйста! Ну я вас умоляю!» — и складывает ручки и чуть ли не на колени становится, это он копирует меня, увы. Увы.

Владимир имеет нечто против Тимы, а Денис ему вообще надоел как собака, зять, скажу я вам по секрету, явно на исходе, уже тает, отсюда Оксанина ядовитость. Зять тоже аспирант по ленинской теме, эта тема липнет к данной семье, хотя сама Маша издает все что угодно, редактор редакции календарей, где и мне давала подзаработать томно и высокомерно, хотя это я ее выручила, быстро намарав статью о двухсотлетии Минского тракторного завода, но она мне выписала гонорар даже неожиданно маленький, видимо, я незаметно для себя выступила с кем-нибудь в соавторстве, с главным технологом завода, так у них полагается, потому что нужна компетентность. Ну а потом было так тяжело, что она мне сказала ближайшие пять лет там не появляться, была какая-то реплика, что какое же может быть двухсотлетие тракторного, в тысяча семьсот каком же году был выпущен (сошел с конвейера) первый русский трактор?

Что касается зятя Владимира, то в описываемый момент Владимир смотрит телевизор с красными ушами, на этот раз какой-то важный матч. Типичный анекдот! Денис пла-

чет, разинул рот, сел на пол. Тимка лезет его выручать к телевизору и, неумелый, куда-то вслепую тычет пальцем, телевизор гаснет, зять вскакивает с воплем, но я тут как тут на все готовая, Владимир прется на кухню за женой и тещей, сам не пресек, слава Богу, спасибо, опомнился, не тронул брошенного ребенка. Но уже Денис отогнал всполошенного Тиму, включил что где надо, и уже они сидят, мирно смотрят мультфильм, причем Тима хохочет с особенным желанием.

Но все не так просто в этом мире, и Владимир настучал женщинам основательно, требуя крови и угрожая уходом (я так думаю!), и Маша входит с печалью на лице как человек, сделавший доброе дело и совершенно напрасно. За ней идет Владимир с физиономией гориллы. Хорошее мужское лицо, что-то от Чарльза Дарвина, но не в такой момент. Что-то низменное в нем проявлено, что-то презренное.

Дальше можно не смотреть этот кинофильм, они орут на Дениса, две бабы, а Тимочка что, он этих криков наслушался... Только начинает кривить рот. Нервный тик такой. Крича на Дениса, кричат, конечно, на нас. Сирота ты, сирота, вот такое лирическое отступление. Еще лучше было в одном доме, куда мы зашли с Тимой к очень далеким знакомым, нет телефона. Пришли, вошли, они сидят за столом. Тима: «Мама, я хочу тоже есть!» Ох, ох, долго гуляли, ребенок проголодался, идем домой, Тимочка, я только ведь спросить, нет ли весточки от Алены (семья ее бывшей сослуживицы, с которой они как будто перезваниваются). Бывшая сослуживица встает от стола как во сне, наливает нам по тарелке жирного мясного борща, ах, ох. Мы такого не ожидали. От Алены нет ничего. — Жива ли? — Не заходила, телефона дома нет, а на работу она не звонит. Да и на работе человек то туда, то сюда... То взносы собираю. То что. — Ах что вы, хлеба... Спасибо. Нет, второго мы не будем, я вижу, вы устали, с работы. Ну разве только Тимофейке. Тима, будешь мясо? Только ему, только ему (неожиданно я плачу, это моя слабость). Неожиданно же из-под кровати выметывается сука овчарки и кусает Тиму за локоть. Тима дико орет с полным мяса ртом. Отец семейства, тоже чем-то отдаленно напоминающий Чарльза Дарвина, вываливается из-за стола с криком и угрозами, конечно, делает вид, что в адрес собаки. Все, больше нам сюда дороги нет, этот дом я держала про большой запас, на совсем уже крайний случай. Теперь все, теперь в крайнем случае надо искать будет другие каналы.

Ау, Алена, моя далекая дочь. Я считаю, что самое главное в жизни — это любовь. Но за что мне все это, я же безумно ее любила! Безумно любила Андрюшу! Бесконечно.

А сейчас все, жизнь моя кончена, хотя мне мой возраст ничего не дает, один даже ошибся со спины: девушка, ой, говорит, простите, женщина, как нам найти тут такой-то заулок? Сам грязный, потный, денег, видимо, много, и смотрит ласково, а то, говорит, гостиницы все заняты. Мы вас знаем! Мы вас знаем! Да! Бесплатно хочет переночевать за полкило гранатов. И еще какие-то там мелкие услуги, а чайник ставь, простыни расходуй, крючок на дверь накидывай, чтобы не клянчил, — у меня все просчитано в уме при первом же взгляде. Как у шахматистки. Я поэт. Некоторые любят слово «поэтесса», но смотрите, что нам говорит Марина или та же Анна, с которой мы почти что мистические тезки, несколько букв разницы: она Анна Андреевна, я тоже, но Андриановна. Когда я изредка выступаю, я прошу объявить так: поэт Анна — и фамилия мужа. Они меня слушают, эти дети, и как слушают! Я знаю детские сердца. И он всюду со мной, Тимофей, я на сцену, и он садится за тот же столик, ни в коем случае не в зрительном зале. Сидит и причем кривит рот, горе мое, нервный тик. Я шучу, глажу Тиму по головке: «Мы с Тамарой ходим парой», — и некоторые идиоты организаторы начинают: «Пусть Тамарочка посидит в зале», не знают, что это цитата из известного стихотворения Агнии Барто.

Конечно, Тима в ответ — я не Тамарочка, и замыкается в себе, даже не говорит спасибо за конфету, упрямо лезет на сцену и садится со мной за столик, скоро вообще меня никто не будет приглашать выступать из-за тебя, ты понимаешь? Замкнутый ребенок до слез, тяжелое выпало детство. Молчаливый, тихий ребенок временами, моя звезда, моя ясочка. Ясненький мальчик, от него пахнет цветами. Когда я его крошечного выносила горшочек, всегда говорила себе, что его моча пахнет ромашковым лугом. Голова его, когда долго не мытая, его кудри пахнут флоксами. Когда мытый, весь ребенок пахнет невыразимо, свежим ребенком. Шелковые ножки, шелковые волосы. Не знаю ничего прекрасней ребенка! Одна дура Галина у нас на бывшей работе сказала: вот бы сумку (дура) из детских щек, восторженная идиотка, мечтавшая, правда, о кожаной сумке, а ведь безумно тоже любит своего сына и говорила в свое время, давно тому

назад, что у него попка так устроена, глаз не оторвать. Теперь эта попка исправно служит в армии, дело уже кончено.

Как быстро все отцветает, как беспомощно смотреть на себя в зеркало! Ты-то ведь та же, а уже все, Тима: баба, пошли говорит мне сразу же по приходе на выступление, не выносит и ревнует к моему успеху. Чтобы все знали, кто я: его бабушка. Но что делать, маленький, твоя Анна должна денежку зарабатывать (я себя ему называю Анна). Для тебя же, сволочь неотвязная, и еще для бабы Симы, слава Богу, Алена пользуется алиментами, но Андрею-то надо подкинуть ради его пяты (потом расскажу), ради его искалеченной в тюрьме жизни. Да. Выступление одиннадцать рублей. Когда и семь. Хотя бы два раза в месяц, спасибо Надечке опять, низкий поклон этому дивному существу. Как-то Андрей по моему поручению съездил к ней, отвез путевки и, подлец, занял-таки у бедной десять рублей! При ее больной безногой матери! Как я потом била хвостом и извивалась в муках! Я сама, шептала я ей при полной комнате сотрудников и таких же бессрочных поэтов, как я, я сама знаю... У самой матушка в больнице, уже какой год...

Какой год? Семь лет. Раз в неделю мука навещать, все, что приношу, съедает тут же жадно при мне, плачет и жалуется на соседок, что у нее все съедают. Ее соседки, однако же, не встают, как мне сообщила старшая сестра, откуда такие жалобы? Лучше вы не ходите, не баламутьте тут воду нам больных. Так она точно выразилась. Недавно опять сказала, я пришла с перерывом в месяц по болезни Тимы: твердо не ходите. Твердо.

И Андрей ко мне приходит, требует свое. Он у жены, так и живи, спрашивается. Требует на что? На что, спрашиваю, ты тянешь у матери, отрываешь от бабушки Симы и малышки? На что, на что, отвечает, давай я сдам мою комнату и буду иметь без тебя столько-то рублей. Каку твою комнату, изумляюсь я в который раз, каку твою, мы прописаны: баба Сима, я, Алена с двумя детьми и только лишь потом ты, плюс ты живешь у жены. Тебе тут полагается пять метров. Он точно считает вслух: раз комната пятнадцать метров стоит столько-то рублей, откуда-то он настаивает именно на этой сумасшедшей цифре, поделить на три, будет такая-то сумма тридцать три копейки. Ну хорошо, соглашается он, за квартиру ты платишь, подели на шесть и

отними. Итого ты мне должна ровно миллион рублей в месяц. Теперь так, Андрюша, в таком случае, говорю я ему, я на тебя подам на алименты, годится? В таком случае, говорит он, я сообщу, что ты уже получаешь алименты с Тимкиного папаши. Бедный! Он не знает, что я ничего не получаю, а ежели бы узнал, ежели бы узнал... Мгновенно пошел бы на Аленушкину работу орать и подавать заявку на не знаю на что. Алена знает этот мой аргумент и держится подальше, подальше, подальше от греха, а я молчу. Живет где-то, снимает с ребенком. На что? Я могу подсчитать: алименты это столько-то рублей. Как матери-одиночке это столько-то рублей. Как кормящей матери до года от предприятия еще сколько-то рублей. Как она живет, не приложу разума. Может быть, отец ее малыша платит за квартиру? Она сама, кстати, скрывает факт, с кем живет и живет ли, только плачет, приходя ровным счетом два раза со времен родов. Вот это было свидание Анны Карениной с сыном, а это я была в роли Каренина. Это было свидание, происшедшее по той причине, что я поговорила с девочками на почте (одна девочка моего возраста), чтобы они поговорили с такой-то, пусть оставит в покое эти Тимочкины деньги, и дочь в день алиментов возникла на пороге разъяренная, впереди толкает коляску красного цвета (значит, у нас девочка, мельком подумала я), сама опять пятнистая, как в былые времена, когда кормила Тимку, грудастая крикливая тетка, и вопит: «Собирай Тимку, я его забираю к ...ней матери». Тимочка завыл тонким голосом, как кутенок, я стала очень спокойно говорить, что ее следует лишить права на материнство, как же можно так бросить ребенка на старуху и так далее. Эт сетера. Она: «Тимка, едем, совсем у этой стал больной», Тимка перешел на визг, я только усмехаюсь, потом говорю, что она ради полсотни ребенка сдаст в психбольницу, она: это ты мать сдала в психбольницу, а я: «Ради тебя и сдала, по твоей причине», кивок в сторону Тимки, а Тимка визжит как поросенок, глаза полны слез и не идет ни ко мне, ни к своей «...ней матери», а стоит, качается. Никогда не забуду, как он стоял, еле держась на ногах, малый ребенок, шатаясь от горя. И эта в коляске, ее приблудная, тоже проснулась и зашлась в крике, а моя грудастая, плечистая дочь тоже кричит: ты даже на внучку родную не хочешь посмотреть, а это ей, это ей! И, крича, выложила все суммы, на которые живет. Вы здесь типа того проживаете, а ей негде, ей негде! А я спокойно, улыбаясь, ответила и по существу, что пусть ей тот платит, тот уй,

который это ей заделал и смылся, как видно, уже второй раз никто тебя не выдерживает. Она, моя дочь-мамаша, хвать со стола скатерть и бросила на два метра вперед в меня, но скатерть не такая вещь, чтобы ею можно было убить когонибудь, я отвела скатерть от лица — и все. А на скатерти у нас ничего не лежит, полиэтиленовая скатерть, ни тебе крошки, хорошо, ни стекла, ни тебе утюга.

Это было время пик, время перед моей пенсией, я получаю двумя днями позже ее алиментов. А дочь усмехнулась и сказала, что мне нельзя давать эти алименты, ибо они пойдут не на Тиму, а на других — на каких других, возопила я, поднявши руки к небу, посмотри, что у нас в доме, полбуханки черняшки и суп из минтая! Погляди, вопила я, соображая, не пронюхала ли чего моя дочь о том, что я на свои деньги покупала таблетки для одного человека, кодовое название Друг, подходит ко мне вечером у порога Центральной аптеки скорбный, красивый, немолодой, только лицо какое-то одутловатое и темное во тьме: «Помоги, сестра, умирает конь». Конь. Какой такой конь? Выяснилось, что из жокеев, у него любимый конь умирает. При этих словах он заскрипел зубами и тяжело ухватился за мое плечо, и тяжесть его руки пригвоздила меня к месту. Тяжесть мужской длани. Согнет или посадит или положит — как ему будет угодно. Но в аптеке по лошадиному рецепту лошадиную дозу не дают, посылают в ветеринарную аптеку, а она вообще закрыта. А конь умирает. Надо хотя бы пирамидон, в аптеке он есть, но дают мизерную дозу. Нужно помочь. И я как идиотка как под гипнозом вознеслась обратно на второй этаж и там убедила молоденькую продавщицу дать мне тридцать таблеток (трое деточек, внуки, лежат дома, вечер, врач только завтра, завтра амидопирина может и не быть и т.д.) и купила на свои. Пустяк, деньги небольшие, но и их мне Друг не отдал, а записал мой адрес, я жду его со дня на день. Что было в его глазах, какие слезы стояли, не проливаясь, когда он нагнулся поцеловать мне мою пахнущую постным маслом руку: я потом специально ее поцеловала, действительно, постное масло — но что делать, иначе цыпки, шершавая кожа!

Ужас, наступает момент, когда надо хорошо выглядеть, а тут постное масло, полуфабрикат исчезнувших и недоступных кремов! Тут и будь красавицей!

Итак, прочь коня, тем более что когда я отдала в жадную, цепкую, разбухшую больную руку три листочка с таблетками, откуда-то выдвинулся упырь с большими уша-

ми, тихий, скорбный, повесивший заранее голову, он неверным шагом подошел и замаячил сзади, мешая нашему разговору и записи адреса на спичечном коробке моей же ручкой. Друг только отмахнулся от упыря, тщательно записывая адрес, а упырь подплясывал сзади, и, после еще одного поцелуя в постное масло, Друг вынужден был удалиться в пользу далекого коня, но одну-то упаковку, десяток, они тут же поделили и, нагнувшись, начали выкусывать таблетки из бумажки. Странные люди, можно ли употреблять такие лошадиные дозы даже при наличии лихорадки! А что оба были больны, в этом у меня не осталось сомнений! И коню ли предназначались эти жалкие таблетки, выуженные у меня? Не обман ли сие? Но это выяснится, когда Друг позвонит у моей двери.

Итак, я возопила: погляди, на кого мне расходовать, — а она внезапно отвечает залившись слезами, что на Андрея, как всегда. Ревниво плачет по-настоящему, как в детстве, ну что? Поешь с нами? Поем. Я ее посадила, Тимка сел, мы пообедали последним, после чего моя дочь раскошелилась и выдала нам малую толику денег. Ура. Причем Тимка не подошел к коляске ни разу, а дочь ушла с девочкой в мою комнату и там, среди рукописей и книг, видимо, развернула приблудную и покормила. Я смотрела в щелку, совершенно некрасивый ребенок, не наш, лысенькая, глазки заплывшие, жирненькая и плачет по-иному, непривычно. Тима стоял за мной и дергал меня за руку уйти.

Девочка, видимо, типичный их замдиректора, с которым и была прижита, как я узнала из отрывков ее дневника. Нашла причем, куда его прятать, на шкаф под коробку! Я же все равно протираю от пыли, но она так ловко спрятала, что только поиски моих старых тетрадей заставили меня кардинально перелопатить все. Сколько лет оно пролежало! Она сама-то в каждый свой приход все беспокоилась и лазила по книжным полкам, и я волновалась, не унесет ли она для продажи и мои книги, но нет. Десяток листочков самых плохих для меня новостей!

«Прошу вас, никто не читайте этот дневник даже после моей смерти.

О Господи, какая грязь, в какую грязь я окунулась, Господи, прости меня. Я низко пала. Вчера я пала так страшно, я плакала все утро. Как страшно, когда наступает утро, как тяжко вставать в первый раз в жизни с чужой постели, одеваться во вчерашнее белье, трусы я

свернула в комочек, просто натянула колготки и пошла в ванную. Он даже сказал «чего ты стесняешься». Чего я стесняюсь. То, что вчера казалось родным, его резкий запах, его шелковая кожа, его мышцы, его вздувшиеся жилы, его шерсть, покрытая капельками росы, его тело зверя, павиана, коня, — все это утром стало чужим и отталкивающим после того, как он сказал, что извиняется, но в десять утра он будет занят, надо уезжать. Я тоже сказала, что мне надо быть в одиннадцать в одном месте, о позор, позор, я заплакала и убежала в ванную и там плакала. Плакала под струей душа, стирая трусики, обмывая свое тело, которое стало чужим, как будто я его наблюдала на порнографической картинке, мое чужое тело, внутри которого шли какие-то химические реакции, бурлила какая-то слизь, все разбухло, болело и горело, что-то происходило такое, что нужно было пресечь, закончить, задавить, иначе я бы умерла.

(Мое примечание: что происходило, мы увидим девять месяцев спустя.)

Я стояла под душем с совершенно пустой головой и думала: все! Я ему больше не нужна. Куда деваться? Вся моя прошлая жизнь была перечеркнута. Я больше не смогу жить без него, но я ему не нужна. Оставалось только бросить себя куда-нибудь под поезд. (Нашла из-за чего — А.А.). *Зачем я здесь? Он уже уходит. Хорошо, что еще вчера вечером, как только я к нему пришла, я позвонила от него м.* (Это я.— А.А.) *и сказала, что буду у Ленки и останусь у нее ночевать, а мама прокричала мне что-то ободряющее типа «знаю, у какого Ленки, и можешь вообще домой не приходить»* (что я сказала, так это вот что: «ты что, девочка моя, ребенок же болен, ты же мать, как можно» и т.д., но она уже повесила трубку в спешке, сказав «ну хорошо, пока» и не услышав «что тут хорошего» — А.А.). *Я положила трубку, сделав любезное лицо, чтобы он ни о чем не догадался, а он разливал вино и весь как-то застыл над столиком, стал о чем-то думать, а потом, видимо, решил нечто, но я все это заметила. Может быть, я слишком прямо сказала, что останусь у него на ночь, может быть, этого нельзя было говорить, но я именно это сказала с каким-то самоотверженным чувством, что отдаю ему всю себя, дура!* (именно — А.А.). *Он мрачно стоял с бутылкой в руке, а мне уже было совершенно все равно. Я не то что потеряла контроль над собой, я с самого начала знала, что пойду за этим человеком и сде-*

лаю для него все. Я знала, что он замдиректора по науке, видела его на собраниях, и все. Мне в голову не могло ничего такого прийти, тем более я была потрясена, когда в буфете он сел за столик рядом со мной не глядя, но поздоровавшись, большой человек и старше меня намного, с ним сел его друг, баюн и краснобай, говорун с очень хорошей шевелюрой и редкой растительностью на лице, слабенькой и светлой, растил-выращивал усы и в них был похож на какого-то киноартиста типа милиционера, но сам был почти женщина, про которого лаборантки говорили, что он чудной и посреди событий вдруг может отбежать в угол и крикнуть «не смотри сюда». А что это значит, они не объясняли, сами не знали. Этот говорун сразу же стал со мной заговаривать, а тот, кто сидел рядом со мной, он молчал и вдруг наступил мне на ногу... (Примечание: Господи, кого я вырастила! Голова седеет на глазах! В тот вечер, я помню, Тимочка стал как-то странно кашлять, я проснулась, а он просто лаял: хав! хав! и не мог вдохнуть воздух, это было страшно, он все выдыхал, выдыхал, съеживался в комок, становился сереньким, воздух выходил из него с этим лаем, он посинел и не мог вздохнуть, а все только лаял и лаял и от испуга начал плакать. Мы это знаем, мы это проходили, ничего, это отек гортани и ложный круп, острый фарингит, я это пережила с детьми, и первое: надо усадить и успокоить, ноги в горячую воду с горчицей и вызвать «Скорую помощь», но все сразу не сделаешь, в «Скорую» не дозвонишься, нужен второй человек, а второй человек в это время смотрите что пишет.) *Тот, кто сидел рядом со мной, вдруг наступил мне на ногу. Он наступил еще раз не глядя, а уткнувшись в чашку кофе, но с улыбкой. Вся кровь бросилась мне в голову, стало душно. Со времени развода с Сашкой прошло два года, не так много, но ведь никто не знает, что Сашка со мной не жил! Мы спали в одной кровати, но он меня не трогал!* (Мои комментарии: это все чушь, а вот я справилась с ситуацией, усадила малыша, стала гладить его ручки, уговаривать дышать носиком, ну, помаленечку, ну-ну носиком вот так, не плачь, эх, если бы был рядом второй человек нагреть воды! Я понесла его в ванную, пустила там буквально кипяток, стали дышать, мы с ним взмокли в этих парах, и он помаленьку начал успокаиваться. Солнышко! Всегда и всюду я была с тобой одна и останусь! Женщина слаба и нерешительна, когда дело касается ее лично, но она зверь, когда речь идет о детях! А что тут пишет твоя мать? — А.А.). *Мы*

спали в одной кровати, но он меня не трогал! Я ничего тогда не знала. (Комментарий: негодяй, негодяй, подлец! — А.А.) *Я ничего не знала, что и как, и была ему даже благодарна, что он меня не трогает, я страшно уставала с ребенком, болела вечно согнутая над Тимой спина, два месяца потоком шла кровь, никаких подруг я ни о чем не спрашивала, из них никто еще не рожал, я была первая и думала, что так полагается* — (комментарий: глупая ты глупая, сказала бы маме, я бы сразу угадала, что подлец боится, что она еще раз забеременеет! — А.А.).

— *и думала, что это так и нужно, что мне нельзя и так далее. Он спал рядом со мной, ел* (комментарии излишни — А.А.)

— *пил чай* (рыгал, мочился, ковырял в носу — А.А.)

— *брился* (любимое занятие — А.А.)

— *читал, писал свои курсовые и лабораторные, опять спал и тихо похрапывал, а я его любила нежно и преданно и была готова целовать ему ноги — что я знала? Что я знала?* (пожалейте бедную — А.А.) *Я знала только один-единственный случай, первый раз, когда он предложил мне вечером после ужина выйти погулять, стояли еще светлые ночи, мы ходили, ходили и зашли на сеновал, почему он выбрал меня? Днем мы работали в поле, подбирали картошку, и он сказал «ты вечером свободна?», а я сказала «не знаю», мы рылись у одной вывороченной гряды, он с вилами, а я ползла следом в брезентовых рукавицах. Было солнышко, и моя Ленка закричала: «Алена, осторожно!» Я оглянулась, около меня стоял кобель и жмурился, и у него под животом высунулось нечто жуткое* (вот так, отдавай девочек на работу в колхоз — А.А.) *Я отскочила, а Сашка замахнулся вилами на кобеля. Вечером мы забрались на сеновал, он залез первый и подал мне руку, ох, эта рука. Я вознеслась как пух. И потом сидели как дураки, я отводила его эту руку, не надо и все. И вдруг кто-то зашуршал прямо рядом, он схватил меня и пригнул, мы замерли. Он меня накрыл как на фронте своим телом от опасности, чтобы меня никто не увидел. Защитил меня как своего ребенка. Мне стало так хорошо, тепло и уютно, я прижалась к нему, вот это и есть любовь, уже было не оторвать. Кто там дальше шуршал, мне уже было все равно, он сказал, что мыши. Он меня уговаривал, что боль пройдет в следующий раз, не кричи, молчи, надо набраться сил, набирался сил, а я только прижималась к нему каждой клеточкой своего существа. Он лез в кровавое месиво, в*

лоскутья, как насосом качал мою кровь, солома подо мной была мокрая, я пищала вроде резиновой игрушки с дырочкой в боку, я думала, что он все попробовал за одну ночь, о чем читал и слышал в общежитии от других, но это мне было все равно, я его любила и жалела как своего сыночка и боялась, что он уйдет, он устал

(если бы сыночка так! Нет слов — А.А.).

Он мне в результате сказал, что ничего нет красивее женщины. А я не могла от него оторваться, гладила его плечи, руки, живот, он всхлипнул и тоже прижался ко мне, это было совершенно другое чувство, мы нашли друг друга после разлуки, мы не торопились, я научилась откликаться, я понимала, что веду его в нужном направлении, он чего-то добивался, искал и наконец нашел, и я замолчала, все

(все, стоп! Как писал японский поэт, одинокой учительнице привезли фисгармонию. О дети, дети, растишь-берєжешь, живешь-терпёшь, слова одной халды-уборщицы в доме отдыха, палкой она расшерудила ласточкино гнездо, чтобы не гадили на крыльцо, палкой сунула туда и била, и выпал птенец, довольно крупный)

сердце билось сильно-сильно, и точно он попадал

(палкой, палкой)

наслаждение, вот как это называется

(и может ли быть человеком, сказал в нетрезвом виде сын поэта Добрынина по телефону, тяжело дышал как после драки, может ли быть человеком тот, кого дерут как мочалку, не знаю, кого он имел в виду)

— прошу никого не читать это

(Дети, не читайте! Когда вырастите, тогда — А.А.).

И тут он сам забился, лег, прижался, застонав сквозь зубы, зашипел «ссс-ссс», заплакал, затряс головой... И он сказал «я тебя люблю». (Это и называется у человечества — разврат — А.А.) *Потом он валялся при бледном свете утра, а я поднялась, как пустая собственная оболочка, дрожа, и на слабых ватных ножках все пособирала. Под меня попала моя майка, и она была вся в крови. Я закопала кровавое, мокрое сено, слезла и поплелась стирать майку на пруд, а он тронулся вслед за мной голый и окровавленный, мы помыли друг дружку и плюхнулись в пруд и долго с ним плавали и плескались в бурой прозрачной воде, теплой, как молоко. И тут нас увидела наша дисциплинированная Вероника, которая по утрам раньше всех выходила чистить зубы и мыться, она увидела на берегу пруда*

кровавую, еще не стиранную мою майку, от испуга пискнула, Сашка даже нырнул, оглядела нас безумными глазами и бросилась бежать, а я бросилась стирать, а Сашка быстренько натянул на себя все сухое и ушел. Я думаю, что он в тот момент испугался навеки. Все. Больше он ко мне не прикасался. (Да, и от всего этого ужаса и разврата родился чистый, красивый, невинный Тимочка, а что же говорят, что красивые дети рождаются от настоящей любви? Тимочка красив как Бог, несмотря на этот весь позор и стыд. Прятать эти листки от детей! Пусть прочтут, кто есть кто, но позже, что такое я и что есть она! Надо положить их обратно на шкаф, она все равно докопается, вспомнит, она все эти годы ищет и ищет свой дневник, как маньяк, она умрет, если узнает, но теперь она далеко. И я пишу это и для нее, чтобы она сама все поняла, чья жизнь какая! Да! Мне, например, ни один мужчина не сделал больно, да! Чего там, какие страдания, все иллюзия! Позволю себе также поразмышлять: вот тебе и на, от этих слез, стонов и от этой крови зарождается малая кровиночка, точка в икринке, головастик после этого взрыва и извержения, он первый доплыл по волнам и внедрился, и это каждый из нас! О обманщица природа! О великая! Зачем-то ей нужны эти страдания, этот ужас, кровь, вонь, пот, слизь, судороги, любовь, насилие, боль, бессонные ночи, тяжелый труд, вроде чтобы все было хорошо! Ан нет, и все плохо опять — А.А.)

Я стояла под душем и плакала навзрыд в квартире у замдиректора по науке, серьезного человека в очках, а он вдруг пришел и полез ко мне в ванну, я только успела закинуть трусики наверх, на занавеску. Он вытер мне глаза, он смотрел на меня, присев, отодвинувшись, он тяжело задышал — тебе же надо уезжать — нет, нет, сейчас — иди встречай поезд — молчание, льется горячая вода — если бы навеки так было, как я буду без тебя жить, оставь меня, что ты делаешь, ты опоздаешь.

(нет, надо действительно это оставить для потомков, да я по сравнению с ней просто не знаю что, младенец невинный, несмотря на то что у нее это всего второй человек: кобели чувствуют в ней ее женскую слабость и способность раз и хлопнуться на спину от счастья — А.А.)

Он меня одел, высушил мне голову феном, а я опять начала плакать в горячке, как будто бы я прощалась с отцом, как тогда, когда папа уходил от нас навсегда и я цеплялась за его колени, а мать меня в бешенстве отры-

вала, улыбаясь и говоря: «Что ты, девочка, перед кем ты, а ты уходи, чтобы духу твоего» и т.д. (Нашла кого с кем сравнивать, родного отца с этим... с отцом Кати приблудной... — А.А.)

Он говорил: «Не плачь, я на тебя выйду, пиши мне до востребования, я всегда там получаю, ты меня не теряй», — он бормотал, мотаясь по квартире, подбирая пылинки, соринки, сорвал белье с постели, постлал тщательно новую простыню и повалялся на ней, чтобы имитировать свой крепкий одинокий сон, а потом употребленное, в пятнах, белье сложил, аккуратно завернул в газету, сунул в пакет и отдал мне. «Что это?» — «Постирай». — «А потом?» Он подумал и сказал: «В рабочем порядке». (Нет бы сказать «дарю», а вот что она так упорно кипятила в баке, а потом прогладила и — что бы вы думали — вернула ему! Но правильно сделала, такие мужчины не выносят и малейшего материального урона! Да и потом это как-то неприлично, я думаю, он был прав, ничего не сказав насчет «дарю», делать такой подарок после первого свидания?! А мог бы выкинуть на улице в урну. Пожалел? — А.А.)

Когда мы уходили, он с тоской посмотрел на часы и на свою супружескую постель, и было видно, что ему хотелось бы использовать каждую минуту и он только ищет повода, чтобы опять все на мне расстегнуть. Но расстегивать не понадобилось, он обошелся так, в почти одетом виде, и только говорил «потерпи, сейчас». Все кончилось просто, я натянула колготки обратно, он мне сказал: «Иди выше этажом, вызывай лифт, я побегу пешком». Когда я вышла из подъезда, он уже давно укатил на своей машине или поймал такси — во всяком случае, улетучился, на остановке стояло несколько человек в ожидании воскресного автобуса, но его не было. И только в метро я поняла, что свои выстиранные трусики я оставила в его ванной на занавеске! О ужас! (Знала, что делала, небось жена приехала и погнала, хлопнула чужими мокрыми трусами да по морде, по очкам! А он тоже хорош, жалко было отпускать бесплатную, выжал до конца в одетом виде! Что же не ценишь себя, не говоришь-то «нет»? — А.А.).

Волосы у меня на голове буквально зашевелились от ужаса, когда я представила себе, что его жена полезет в ванну, потянет непромокаемую занавеску, и ей на голову в виде подарка шлепнутся мои мокрые трусики! Я ехала домой, вся замирая от стыда, и теперь сижу ночью, про-

сто проваливаясь сквозь землю! Сердце падает, уходит в пятки каждый раз как подумаю! Все, все предано, поругано! Как он тогда смотрел на меня в буфете, косвенно, ускользая взглядом, а сам ногой надавливал аккуратно на мою ногу, придавливал, да еще руку положил на колено и пальцем слегка царапнул повыше, но не успел куда собирался достать, я вся сжалась и сбросила его руку. Они с другом галантно проводили меня до самой моей двери, и вдруг он сказал своему компаньону: «Созвонимся, мне тут надо договориться», на что тот склонил в полупоклоне свою немужскую голову и, многозначительно усмехаясь, отчалил. И замдиректора быстро написал в своем блокноте адрес и время: 20 часов, и дату. И я к нему поехала в тот же вечер. И была счастлива! Когда я ехала, я была счастлива! И такой глупый, постыдный конец!»

Конец дневника.

Но это было у них только начало. Вскоре после этого мы с Тимочкой почти перестали видеть нашу молодую маму (22 года), она сдавала в институте госэкзамены, закончилась ее преддипломная практика (в том НИИ с замдиректора она защищала диплом якобы, но все свободное время была только с этим пожилым человеком — 37 лет, шутка ли!), все мысли о нем, потом вот и был конец. Она пришла: «мне надо с тобой поговорить» — и мне тоже, кстати — я выхожу замуж — а он что, будет двоеженец, многоженец? Нельзя сразу на всех быть женатым, — ты не понимаешь, мама. — он что, разошелся с женой? — Ма-ма, не в том дело. — Ах вот как, будешь любовь женатого мужчины. — Ма-ма, как ты не понимаешь, у нас будет ребенок, и он снимает нам квартиру. — Вам — это тебе, а сам? — Ма-ма! Не приведу же я его сюда к тебе! И тебя туда я не возьму, — вдруг сказала она с застарелой ненавистью, — Тимочку приеду и заберу, но не тебя! Не тебя!

Она не взяла меня. Но алименты она взяла. Правда, не скоро. Видимо, когда поняла, что он скуп, скуп и не будет сорить деньгами. Любовь у таких людей всегда возвышенная и платоническая, то есть платить ни за что они не будут. Нематериальная любовь. Их деньги всегда им самим нужней. Вот что характерно: удушатся за копейку! Все у них какие-то планы — то машина, то компьютер, то видеокамера, всю жизнь собирают на что-нибудь деньги и очень любят бесплатно «пожениться», видимо, считая свой взнос в женщину чем-то вроде валюты.

Вот кому мы платили, кого содержали. Моя бедная, нищая дочь, ау.

Ночь. Малыш уснул. Я держу оборону, хотя дочь время от времени наносит удары: перед прошлым Новым годом, никогда не забуду, мы собирались справлять его с Тимой дома, никуда не званы, как всегда, мы с ним пошли на елочный базар и из подобранных вполне пушистых, как веера, веток мы сделали букет, как елочку! Также мы с ним нарезали из цветной бумаги (старые журналы) флажков и зверюшек, и тут пришла Алена, выбралась якобы поздравить, принесла Тиме пластмассового синего кота, выдающегося по безобразию, но Тима с ним носился, укладывал его спать, и я не сказала бедному ребенку, что его родная мать, совершенно обнаглев, увезла из семейного дома две коробки елочных украшений, оставив нам только три. Я плакала. Но электрогирлянду она позабыла! И на Новый год мы обвесили наш еловый букет сверху донизу, в том числе я удачно заранее спрятала отдельно, как чувствовала, стеклянный домик: сверкающая крыша и два окошка по сторонам. Тима любит заглядывать в окошки, как Тильтиль и Митиль вместе взятые из «Синей птицы». И ненадолго я зажгла гирлянду, и домик у нас сверкал, и мы с Тимой водили хоровод (плюс синее пластмассовое чудовище), и я тихо вытирала слезы.

На Новый год мы сделали друг другу подарки: Тима мне завернул в газетку и заклеил свой рисунок, а я ему сшила вполне приличную куколку из тряпок, надевается на руку, театр. У него теперь четыре таких куклы. Мне их очень трудно выделывать, не получается красивое лицо, какие-то проблемы с носом, просто ставлю запятую. Но я не могу бесконечно ему что-то клеить, вырезать, шить, он и сам хочет это делать, чтобы у него сразу получилось хорошо, но он так быстро устает! Через десять минут уже хнычет, мало лет, руки еще кривые, все делает не так и спустя мгновение уже запутал и злобно дергает. А я же занята, мне надо работать! Уже кривит рот. Нервный тик.

Андрею я тоже пыталась сделать свой подарок, приобрела ему книжку «Правила хорошего тона», брошюру, но он отверг и запросил свою обычную цену, грубо и по телефону. А я уже поработала над этим текстом и жирно подчеркнула некоторые положения, так называемое поведение в быту. Андрей, кстати, опять грозился, что выбросится из окна.

Правда, не мне сказал, а жене, что уж она там ему опять нагрубила, в прошлый раз он ннчего не угрожал, а просто не вынес, выбросился действительно с второго этажа в сильной стадии опьянения, как определили в больнице. Перелом обеих ног, неудачно упал на асфальт. Лежал в больнице, и теперь у него болит пята.

Пята болит, как жена его сообщает, невыносимо, а по видимости нет ничего. Задет какой-то пяточный нерв. Он не способен оказался на ходячую н стоячую работу, только на сидячую. Где ему ее подберешь, чтобы н лежать иногда, только в пожарке или сторожевать. Трагедия, трагедня! Тому уже прошло пять лет. Две ноги пять лет назад со второго этажа.

Я их обоих боюсь, мужа н жену. Она говорнт по телефону, что у них все в порядке, вчера рукав халата оборвал у нее, но так все в порядке. Она медсестра. Тяжелая работенка, но она лечит и колет ему болеутоляющее, массаж ноги, ванночки, а ведь он еще молодой! Да н Аленка моложе-то его всего на два года, я ей сказала в нашу последнюю свнданку Анны Карениной с сыном над супом из спины минтая: ты следи за собой, в кого ты превратилась. Она глаза в сторону и медленно налилась слезами, набухла. Налилась опять ненавистью ко мне. Встала, ни тебе спасибо, ни наплевать, Тиму нн в грош н укатила с коляской. Пешком волокла с четвертого этажа эту коляску с толстенькой девочкой, отсутствие лифта — наше проклятие.

Эта ревность у нее была в детстве, потом прошла, потом они вроде бы даже говорилн ночами на кухне в юности, отвергиув меня, которая с радостью бы послушала их молодые разговоры и приоткрывала дверь своей комнаты, но! Кухня была плотно запечатана, как их души. И когда Андрей сел в тюрьму, она даже ему писала, речь об этом впереди. Пнсала, пока не привела к нам в дом этого охламона, который не знал ни сесть ни встать как следует и ел, забыв себя, все что было в холодильнике. Город Тернополь. Бреется всегда в полном экстазе перед зеркалом каждое утро, сеанс полчаса — гладит себя электробритвой. Медитация по йоге. Глаза полузакрыты, заглянешь в ванную по спешному делу, мысли, видимо, бродят, Тимочка мокрый кричит, моя сидит на унитазе рожает каждое утро, Андрей, пришедший из тюрьмы, не попадет ни туда ни сюда, ни в ванную, нн в уборную утром вставши, бешеный сидит в

кухне, где ему стоит кресло-кровать, и меня гонит, чтобы выпить в одиночестве свою чашку кофе. Горькую чашу кофе. Через год он и прыгнул, но уже от жены и не в нашей перенаселенной квартире. Честно говоря, покончил со своим прошлым здорового бугая, который уже отсидел за драку в то время, в какое другие служат в армии. Любовь, любовь и еще раз любовь и жалость к нему руководили мною, когда он вышел из колонии. Я его встречала у одного входа Бутырской тюрьмы, а он вышел из другого и, как был, одежду я ему привезла вычищенную, но с другого входа, — как был, на троллейбусе и автобусах без билета через всю Москву, денег ведь нет, затем еще пешком. Я, обознавшись и запутавшись, прождала напрасно, прибегаю домой, а тут он сидит, двадцать лет, во всей их форме. И кепка-пидараска, так он назвал, указав на нее, лежащую на столе. Все каменноугольного цвета. И тут же весна, народу на улицах много, видно, все на него смотрели. Вид героя, исхудалый, я присела на пятки и стала снимать с него ботинки. Он тихо говорит в кухне: «А это кто же? И что это вообще?» (тут выходит охламон типе обалдуй), спал днем, у них ни ночи ни дня, и Тима запищал. Вот куда ты вернулся, сын мой. Ночью Тима не спал со мной, я ночами не сплю, днем не спал с ними, если они сидели дома, а они оба спали. Я поэт, я всегда и во всем дома. Но тут меня не оказалось, и дверь Андрею открыл город Тернополь. Что за вопросы были, я не узнавала. Андрей тем не менее спрашивает: «А это кто же и что это?», видя, что я прикарманила еще одного сыночка (город Т.). Я стала все объяснять, сказала, что мы не писали, чтобы не волновать.

Я вообще бы сюда не пришел, говорит Андрей, боюсь еще один срок типа того что намотать, и что он уже все, ему все равно, что с ним, поскольку я в первых же строках своего рассказа сообщила, кто это такой тип и чего стоило женить его на Алене. А тот мимо кухни, опухший со сна, так и шнырнул в уборную и там задвижкой застучал, она плохо запирает, да и от кого было всегда запирать, все свои. Все просто кричат «есть там кто», а задвижка-то не запирает. Заржавела, видно, не от кого было. Тот со страху застучал как заяц. Он ведь тоже не подозревал, в какую семью входит и чьим там порохом воняет, еле-еле женился и еще не прописался. С помощью людей я его оженила, с помощью подруг, которые были с ними в колхозе на картошке в поддержку по уборке урожая колхозникам, которые вообще. В июне родился Тима, Андрей явился спустя шестнад-

цать дией. Вот-то был содом. Я вижу, иачинается. Я же ие зиаю, с чем пришел домой мой страдалец любимый и единственный. Мускулы опали, пропал молодой жирок, пухлые губы сжаты, красавец — не отвести глаз. Во всем готовом цвета асфальта.

Ситуация была такая: еле-еле этот город Т. на нас жеиился, ему резко намекиули в декаиате, что будут сложиости вплоть до ухода в армию, если ие жеиится. Мы его увидели в семье, уже когда стукнуло восемь месяцев беременности, привела его моя страдалица, моя вечиая боль, моя Алеиа. Ои пришел с таким видом, что оии иедовольиы. Они с большой буквы, всея Руси и Тернополя. Их усадили, оии изволили по сторонам не глядеть, Алеиа вся распухшая, юиая, страшиая, под глазами ямы, губы с голубизной, волосы висят. В общем, я никогда себя не теряла ни в одной ситуации, всегда волосы! Волосы самое главиое, богатство мытых, причесаииых волос! И если есть, свежесть кожи, ио это уже от прогулок, я любила тогда когда-то прогулки, теперь скорее шныряю.

— Алеика, — говорю, — я, когда тобой ходила, я себя ие теряла. Мужайся, поди помой голову. В чем дело? Что за траур тут? Ты что, первый раз беремеиия?

Оиа:

— Дорогой, я говóрила уже тебе, что мама круглая дура?

Даже ои струхнул. Но, видно, крепкий еще был паренек, еще верил в себя и в свои силы.

Оии пошли в ту комиату, в бывшую детскую, и там засели, и оиа носила ему еду. Оии там выкушали салат, по весеииему времеии картошка с луком с майоиезом, потом бадью супу, потом последиие три котлеты, которые я вертела, слава Богу, с половиной хлеба для величины. Я ждала из тюрьмы Андрея и экономила даже на Аленушке, не говоря о себе. Мие ие иадо ровиым счетом иичего, я и так полиею от чашки чая, такие пришли времеиа. Ои (Оии) выжрали три котлеты, Алеиа, по-моему, осталась ни при чем. Я ей иа кухне тихо даю свою порцию, говорю пока без него:

— У мальчишки аппетит? Ешь тогда все мое.

Она смотрит на меня спокойио-спокойно, вся взбелеиившись, и вдруг начииает плакать:

— Не-на-вижу! Господи, ие-иа-вижу!

— А что такого? Изголодался этот, я поияла. Но тебе тоже надо маленького во чреве кормить. Он, кстати, будет

вносить деньги на еду или будет пожирать твое? У меня заработки сама знаешь, поэт много не наработает.

— Графоманша, — ответила на это моя Алена.

Обычный случай.

А она в это время носила своего маленького Тимофея, я же не знала, моего Тимку, в честь какого-то тернопольского предка. Я бы ее на руках таскала, а тогда как я могла прокормить Аленку и маленького плюс этот муж нависал над нами, черт его нанес с ветром, труса, убоявшегося идти в армию вон из института в случае отказа от женитьбы, убоявшегося, что его там за красоту сделают педерастом, а через что прошел мой Андрей в лагере в таком случае, спрашивается? Через что? Как над ним там измывались, спрашивается, и чем окупить это страдание, раз ты за него на мои деньги ешь и пьешь? Наш муж, таким образом, женился, скромно посидели в детской комнате плюс две свидетельницы, не те, что были на картошке, этих он, видимо, не схотел. Я выставила винегрет, мясо с макаронами и пирог с сухофруктами. Утром она, продравши глаза, помчалась раньше меня на кухню и зажарила из последних трех яиц яичницу, видимо, для одного этого мужа. Сама стояла над ним с салфеткой, наверное, как лакей. Я попозже говорю:

— Лакей, а лакей, тут было три яйца на нас двоих, я хотела сделать блинки. Есть-то не фига. Пусть платит хоть что, так-то жениться, за пищу, неблагородно. Утром вари манну на воде. Как ты будешь, чем ты будешь, какой грудью кормить малышку? Иссохшая!

Я хотела ее обнять и заплакать, но она отпрянула. Так у нас потекла жизнь. Она билась из последних сил, чтобы угодить своему, как она его называла, дорогому. Так она его называла. Я стала просто не выходить из своей комнаты. Холодильник выключила, во-первых, энергия впустую, во-вторых, я, оскорбляемая, одинокая, брошенная ею мать, как должна реагировать на то, что притащишь домой две полные сумки после дня очередей, а у них «жадный гость пришел и все съел»? (по ее меткому выражению.) Гости не давали просохнуть народной тропе в нашу квартиру, всех трогала их ситуация голодающей беременной пары, находящейся в медовом периоде, и Она, торжествуя, несла на кухню Их картошку, Их сто грамм масла и Их колбаску. Плыли аппетитные запахи вплоть до того, что даже уносили мой единственный чайник, и я, голодная перед приездом

из колонии моего единственного любимого сына, экономя на всем, кипятила себе воду в кастрюле, пустую чистую воду, и ела чай с хлебом на ужин, завтрак и обед, тюремную еду. Раз он там так, я здесь тоже так.

— Мать рехнулась, — так она объясняла гостям мои проходы из кухни с кастрюлькой кипятка.

Я ведь ни с кем с ними не здоровалась. Но, оказывается, моя ненависть к всея Руси как-то хило, но все же сплотила их в крепкую семью. Они потешались надо мной. Она исполняла соло, а он был фундамент, они, короче говоря, спелись за мой счет, поскольку я действительно о том только и мечтала, чтобы они оба катились вон и оставили бы детскую комнату Андрею, но куда бы они выкатились? Куда бы? Я сказала им, что не пропишу их мужа, так они быстрее получат в общежитии комнатку для семейных, в доме воцарилась буря со слезами Алены. Ах, он женился из-за прописки, сказала я. Пусть разженивается обратно. Алена думала-думала и приняла меры: с его подачи она мне сообщила, что тогда будет против прописки Андрея в нашей квартире после тюрьмы, имеет право. О! Удар. Все разошлись по углам, успокоились, как всегда после великого скандала. Потом она вышла и вошла ко мне, я дрожала, я сидела работала якобы.

— Ты что, желаешь мне смерти? — обливаясь слезами (все еще), спросила она.

— Чего тебе умирать, живи со своим пащенком будущим, но учти! Если ваша семья состоится только при условии его прописки, тогда я, честно говоря, не знаю, стоит ли такая семейка жертв со стороны Андрея, которому негде будет приткнуться, и со стороны мамы в психбольнице?

Она легко-легко плакала в те времена, слезы лились просто струями из открытых глаз, светлые мои глазки, что вы со мной наделали, что вы со мной все наделали!

Хочу ее обнять, она, как ни странно, не отстраняется. Держу ладонь на ее плече, хрупенькое такое, дрожит.

— Хорошо, — говорит она, — я знаю, что я тебе не нужна с моим ребенком, что тебе нужен этот преступник всегда. Так? Ты хочешь, чтобы я умерла? Или как-то рассосалось? Так вот, этого не будет. Смотри, что-нибудь случится с дорогим, Андрюша загремит уже на много больше лет.

Так о своем брате, о страдальце, заслонившем грудью восемь друзей! О том, над кем она плакала ночами (я слы-

шала), кому она писала письма со всякими смешными деталями и стеснялась мне их читать (но я читала и восхищалась, видя в ней будущую писательницу, и как-то однажды это ей сказала и в доказательство процитировала ее же фразу из письма, шутку — и был дикий скандал о шмоне, который я устраиваю у нее, об обысках, дикий, дикий скандал). Правда, она плакала о нем первые два месяца тюрьмы, потом у нее остальные девять месяцев были основания плакать о себе.

И вот теперь все ждали амнистии к празднику 9 Мая!

— Ты, — тихо говорит она, — мало того что шпионишь за нами и нашими друзьями, ты мало того что вызывала к нам милицию, ты еще и украла у Сашки военный билет! Он искал! Он с ума сошел!

— Да? — говорю я, лишившись дара речи. — Я украла? На черта он мне нужен, твой Териополь!

— И подложила два дня спустя!

Параноики и шизофреники, просто бред преследования! Я купила на последние и пригласила очень милого слесаря вставить замок в дверь моей комнаты. Слесарь взял с меня рубль и шутил со мной, что как раз ищет жену. Глупец, он не подозревал, что я уже взрослая и даже готовлюсь стать бабкой! Святая простота простых людей, которым просто нравится любой человек, а преграда не существует ни на уровне возраста, ни на каком другом. На следующий день он пришел с конфетами и был встречен моей дочерью (я стояла поодаль в халате с ромашками) вопросом, вам кого. Он протянул мне издали кулек и сказал, чтобы я угощалась. Сам он уже был крепко угостившись. Моя дочь демонстративно сказала: «Мама! Еще чего!» От каковых слов мой набравшийся для храбрости жених стушевался и канул в вечность, вообще уволился из нашего дома.

Но когда за ним закрылась дверь, дочка моя рассмеялась:

— Мама, вот как раз он — типичный искатель московской прописки, будь осторожней, заразишься плохой болезнью или лобковыми вшами, я тебя вообще к ванной не подпущу, а тем более к тому, кто будет.

К моему родному Тимошке не подпустит!

— Пока не принесешь справку, что ты здорова венерическими болезнями.

Так она в суматохе своей победы выразилась.

— Нам в консультации всем на учебе говорили о быто-

вом сифилисе, не пить из стаканов на улице газировку, а тут это еще!

Конечно, она теперь порядочная, жена и будущая мать, торжественно ходит в консультацию на лекции, все в порядке.

Я ушла, заперлась у себя и долго плакала горячими слезами. Мне было тогда всего пятьдесят лет! Мои молодые, прежние годы, суставы только еще начинали болеть, давление не беспокоило, все было, все! Ночами, правда, я уже не спала, заснешь и проснешься, заснешь и проснешься. А потом — как лавина стала таять жизнь, но опустим над этим завесу тайны, тайна есть у всякого, в том числе и у могилы, не подлежит разглашению. Бедные старые люди, я плачу над вами. Но моя тогдашняя молодость, насколько же я ее не ценила и считала себя глубокой старухой! Нет, я не падала духом, я все еще мечтала сшить себе то юбочку, то платье, бегала по магазинам лоскутов в поисках дешевки и вся в мечтах. То хотела связать себе кофточку из дешевых бумажных ниток типа гипюра. Вот какая все-таки загадка эти мои мечты в разгар трагедий! Мне на пепелище вязать кружево, в преддверии прихода двух любимых существ, Тимки и Андрея!

Теперь из этих тогда приобретенных лоскутов я все намереваюсь что-то сшить Тиме, но рубашечку я не осилю, да и Машуня, добрая моя, отдает ихнего парня кое-что нам, не все, не богатое, не куртки и кроссовки, нет! Убогое. И есть уже школьная форма, да! Все коплю.

Машуня какая ни на есть, а все же последнее, что у меня осталось, о моей жизни прошлой я не найду тут места рассусоливать, о том, как мои бывшие подруги вдруг рассосались, ушли в семьи, когда меня выгнали с работы, а должны были выгнать не меня, и все дело теперь ограничивается моими якобы свободными к ним звонками и осторожными, раз в два месяца, приходами в гости на прокорм, но об этом уже речь была. О моей экономии речь уже тоже шла, но и тогда, в те поры, перед приходом этих двух любимых существ, я тоже экономила. Моим постояльцам перепадала стипендия и даже материальная помощь профкома, не говоря уже о том, что осатаневшие гости за право провести вечерок в теплом доме приносили с собой иногда и жратву, а уж те, кто оставался ночевать и пытался жить у них на

полу (а мои дураки очень бывали растроганы этим проявлением любви к ним и поощряли эти попытки проживания групповой семьей), — этим ночлежникам вообще приходилось кормить всю ораву! Они и попивали, бывало. Я держалась стойко и регулярно устраивала скандалы со звонками в милицию, протестуя против проживания у меня в квартире посторонних лиц после 23 часов! Один раз притопал наряд милиции, нагремели в прихожей, разбудили моих постояльцев и их ночных жителей, попросили предъявить документы. Это спугнуло желающих и вызвало прилив еще большей ненависти у дочери. Сам всея Руси даже и глядеть не изволили в мою сторону, так опасались, о простом «здравствуйте» не было и речи. Греческая трагедия! Андрей, ты должен будешь держаться, Андрей, в душе заклинала я, они тебя опять посадят!

Но я не желала им зла и, видя, как они бедствуют, варила и варила запасенный геркулес по утрам, якобы для себя, для больной печени, а потом обнаруживала пустую, но грязную кастрюлю. Слава Богу, этот Сашка с детства ненавидел геркулес. Их от него рвало. А моя ела и ела, слава Богу. Не удалось выяснить, чего он еще не переносит, пока что он косил все подчистую. Но не у меня. Если он отчаливал в библиотеку (шла весенняя сессия, и он долго каждый раз перед уходом раскачивался, брился, чесался), то я оставляла на кухне и супчик, и второе из рыбок и получала опять приказ долго мыть грязную посуду, но не впервой! Не впервой! Как я любила свою дочь, ее худенькую спину, ее розовые грязноватые пяточки в разношенных шлепках, ее спину, ибо лица своего она мне не показывала. Я бы ее всю вымыла, накормила, она бы у меня в чистых простынках, на пуховых бы подушечках под атласным одеялом (я его пока что убрала) лежала бы все последние дни перед родами, но она бегала, сдавала сессию досрочно, умудрялась поймать преподавателей пораньше и жалобила их своим аккуратным животиком. Я-то знаю! Она все рассказывала по телефону, а я-то не без слуха! Телефон имел короткую привязь, нельзя было его унести как следует, он застревал в полузакрытых дверях. Все новости были мои. Она сдавала сессию, и от меня шли ободряющие письма в преддверии амнистии, лета, свободы в ту страшную человеческую преисподнюю, где мучился терзаемый Андрей. А моя дочь все старалась накормить своего Шуру. Я мысленно уже привыкла к нему и называла «наш

подлец», видимо, в рифму к будущему слову «отец». Писать Андрею Алена перестала, а я в своих бодрых письмах ежедневно передавала от нее приветы и объясняла ее молчание сессией. Я писала, что меня беспокоит, что Алена слишком много занимается, и я боюсь, как бы она не загремела в больницу, — и накаркала.

Вечером я приползла домой из библиотеки, где собирала материал в газетной рубрике «Из зала суда» (есть надо), а дома, разумеется, я работать не могла по причине шума и агрессии в виде громкого смеха, хлопания дверью, рассказов по телефону, где я была темой номер один, сбрендившая мамаша, особенно в ходу была история со слесарем-больным-триппером, ха, ха! — и застала дома полнейшую тишину. В десять вечера никого. Я поужинала (ура!) в пустой кухне, тихо помылась, с удобствами и в покое, и радостно и свободно легла в свою чистую постель, чтобы в двенадцать ночи проснуться, как обычно, но на этот раз от полной тишины. Я встала и начала бродить мимо их двери, потом толкнула ее в панике — темно. Пригляделась — пусто. Вошла — их тахта застлана, но на покрывале пятно засохшей крови. На синем ржавое. Первая мысль была, что он ее убил. Вторая, сразу же, — что начались роды.

Шурка пришел в два ночи в сильном подпитии, подлец, и молча качнулся мимо меня в уборную, где его, подлеца, вырвало.

— Что случилось? — спросила я его прямо через дверь. — Что случилось? Где Аленка?

Он спустил воду и вышел бледный, как замазка.

— Алена родила, — сказал он.

— Поздравляю. Кого?

— Сына.

— Где они?

— В двадцать пятом роддоме. — И он упал как пьяная, свинья.

Я оставила его лежать где лежит, не мать его таскать, затем долго убирала за ним в уборной, затем кинулась к ним в комнату, нашла там узел детского рванья и всю ночь стирала и кипятила ту ветошь, какую они набрали по знакомым. Мой малыш, однако, пришел из роддома весь в кружевах, ибо теперь уже я начала методически, радостным голосом обзванивать всех кого знала баб, оповещать их о радостном событии и, минуя их недоумение, сразу спрашивала, необязательно чтобы у них лично, но, может, у родни осталось для новорожденных (в магазинах ничего,

шаром покати, складно врала я, там кое-что было, но не про нашу честь). Даже я не стеснялась просить, если у кого рваные старые мягкие простыни, на подгузники. Подлец как нанятый бегал по результатам опроса, даже привез блок детского мыла, даже, бывало, долго, впадая в медитацию, гладил, но по вечерам он регулярно исчезал, после чего повторялась вся история с мытьем уборной мною. Домой я категорически запретила ему водить, сказала, что где ребенок, там этому сброду их не место, мигом занесут клопов. Так. Он слушал, слушал, днем носил Аленке куру в банке, бульон в термосе и соки, я раскрыла мошну, да и что у него было, у этого щенка! Отец, тот знаменитый Тимофей, погиб в море, так и не нашли, мать ездила, искала, мать всю жизнь потом, оказалось, по больницам, инвалид второй группы. Спросила, а чем больна эта мать, померещилось, а не туберкулезом ли, еще этого нам не занесли, но ответ был: шизофрения. Спасибо. После нашего мирного разговора на кухне подлец опять смылся на ночь. Тут же Алена слабым голосом звонила из больницы, начала со мной нормальным голосом говорить, что мальчик красивый, кудрявый (я видела потом эти кудри, четыре приклеенных к темени пружинки, остальное лысина, как у китайского председателя Мао, и таковые же глаза). На что я ей ответила, что у нас в роду все женщины и все мужчины красавцы и красавицы и что они с Андреем тоже родились лучше всех, и тут я заплакала. И она быстро со мной попрощалась, узнав, что подлеца дома нет и неизвестно.

И с нетерпением мы поехали вдвоем с подлецом отцом встречать нашего Ненаглядного. Его вынесли няньки и отдали подлецу, я сунула няне трешку, все по чести, тут же я поймала немного загаженное такси, привезшее к роддому немолодую роженицу совершенно одну, с красным лицом. Ее бы надо было довести до дверей, бесформенную, скрюченную, она шла на полусогнутых, неся свой одинокий чемодан с детским приданым, но человек силен задним умом, и я так обрадовалась, что машина освобождается, что чуть ли не кинулась быстро мимо этой одинокой матери, чуть ли ее не сшибла, безумная, и в виде подарочка получила все залитое водой сиденье. Я тут же объявила об этом шоферу, он молча вылез, стал тряпкой обтирать внутренности своей обшарпанной машины и сказал крепкое слово в адрес той скрюченной родильницы, которая явно уже несла в промежности головку ребенка, так беспамятно она шла,

скрюченная, со старым бедным чемоданом. Я теперь все вспоминаю ее, все думаю о ней, все мечтаю ее встретить в добром здравии с ребенком. Но она тогда шла пятнистая, как черепаха, еле ползла, теперь же, если ребеночек остался жив, это стала, видимо, справная бабенка, лет сорока, а ребенок тоже уже шестилетний, если остался жить. Матери, о матери. Святое слово, а сказать потом нечего ни вам ребенку, ни ребенку вам. Будешь любить — будут терзать. Не будешь любить — так и так покинут. Ах и ох.

Так я и привела свою троицу на закаканное в переносном смысле сиденье такси. Что там было, воды и воды. Святые воды, несшие ребенка. Шофер был помятый и злобный, он, видимо, зарекался вообще связываться с этим делом и подозрительно оглядел мою святую: не обольют ли? Подлец вез ребенка на вытянутых руках, Она хлопотливо закрывала кружевцем лицо. В такси жужжала муха, притянутая, видимо, мокрой тряпкой, кровавые дела, что говорить, муха была, видно, тоже на сносях по весеннему времени. Все это наши грязные, кровавые дела, грязь, пот, тут же и мухи, если не мыть, а Они ведь жили у меня как баре: нальют, накапают на стол, набросают в кухне и под раковину. Что говорить, много было пролито пота, но я видела Его, моего ненаглядного, видела во всем и всегда, даже в лице подлеца научилась видеть его широкий лобик, Его рот — три вишенки. Говорить нечего, подлец откуда только вынырнул с этими данными, теперь он ловит большую рыбу, теперь он женился на иностранке, хотя и получает не очень чтобы очень, судя по алиментам. Моя была трамплин, не более того, но насчет этого не секла, как они выражаются, и плясала на коленях перед ним.

Шестнадцать дней пролетело как во сне, не было ни ночи, ни дня. То и дело что-то кипятилось, что-то гладилось, моя мокрая кура заболела запорами, у нее открылись трещины на сосках плюс загрубления молочных желез. Высокая, значит, температура, крик Тимы, побелевший подлец, я молчу. Она, видите ли, потребовала, чтобы я не смела касаться их ребенка после одной простой констатации факта, что подлец опять съел с каким-то другом (я сидела в читалке) все из холодильника на ночь глядя, утром ах! пустой дом. Ах! Неожиданность. Мать не принесет, нечего так и будет кинуть в эту тернопольскую прорву, а я не нанималась его обслуживать, еще и его, говорила я ей, войдя в их конуру, где было тепло и пахло молочком и свежим

бельем от принесенных с балкона мною же пеленок. Сладкий запах детской, где спало мое счастье с крутым лобиком и темным пухом на головушке. Моя радость. Но тогда я рвалась на части, Андрей придет, чем его кормить? И где он будет? И как вообще? Я не спала совершенно, заснешь проснешься, заснешь проснешься и лежишь вся в поту обливщись. А тут этот лишний привесок везде присутствует, якобы сдает сессию. Пощади, девочка моя, гони его в три шеи, мы сами! Я тебе во всем пойду навстречу, зачем он нам? Зачем?? Жрать в три горла все твое? Чтобы ты перед ним танцевала на карачках, вымаливая очередное прощение? Но я сказала одно:

— Пусть подлец идет работать, едет куда-то в тайгу, я не знаю. Где его папа вкалывал. Все равно тебе сейчас спать с ним нельзя! Я его кормить больше не намерена.

Она без слез:

— Этого не будет. Он мой муж. Все. А ты пиши свои графоманские стихи!

— Графоманские, да. Какие есть. Но этим я кормлю вас! — ответила я без обиды.

Разговор всегда сваливал на эту тему, на тему моих стихов, которых она стыдилась. А я, если не буду их писать, я умру, у меня разорвется сердце. Но я ответила вот что:

— Короче, пусть едет на заработки. На днях приходит Андрей. Объявлена амнистия.

Я же сама слышала по телефону, как подлец с кем-то договаривается насчет бетонных работ, якобы он имеет рабочие специальности, то-се, тихо кипятился по телефону.

— То, что объявлена, еще ничего не значит, не выступай раньше времени, а то сглазишь.

— А ты надеешься? Ты надеешься, что Андрея не будет? А он будет. Я ходила узнавала, была у адвоката. И я не хочу, чтобы Андрей с его нервной системой опять сорвался, теперь уже из-за подлеца. Ведь он его пришьет! — громко говорила я, рассчитывая на размер нашей квартиры, что подлец услышит. Тимка заскрипел в кроватке, она к нему бросилась, даже преувеличенно, а подлец, оказывается, стоял тут же, за моей спиной, и, как всегда, молчал. А что ему было говорить, кому кто здесь мог сказать что-либо новое? Все висело в воздухе, как меч, вся наша жизнь, готовая обрушиться. Западня захлопывалась, как она захлопывается за нами ежедневно, но иногда еще сверху падало бревно, и в наступившей тишине все расползались, раздавленные, и только Тимка жалобно скрипел, жаловал-

ся на голодуху, на материнское истощение, на отцово подлецово равнодушное молчание, на мою нищету и на тюремные лагерные дни сына Андрея.

А тем не менее настал тот день, когда Андрей пришел. И подлец, как уже было сказано, заперся (или не сумел) в уборной, а я Андрею:

— Молю, молчи, выслушай. Я тебе не писала, что было толку писать, что Алена ходит с животом неизвестно от кого. Расстраивать.

— Алена?

— Да. Неизвестно от какого подлеца.

— Погоди. А этот?

— Все было не сразу. Слушай по порядку.

— Я есть хочу, и голова кружится. Мать, все.

— Сейчас я наливаю суп. Ты не знаешь самого главного. Вот хлеб. Ты вымыл уже руки?

Как всегда, молчание. Проблема мытья рук. Смотрит на меня как обычно, со смешанным выражением во взоре. Взял хлеб немытыми руками, разломил.

— Хорошо, ты уже большой с руками. Ешь так. Так вот, я приняла меры.

— Ты?

— Насчет Алены. Я. Как всегда, я.

— Насчет меня ты не очень принимала.

Ревнует, как всегда!

— Андрюша, ты там не знал многого.

— Я знал, что один сел за восьмерых.

— Молчи, слушай. Ты один сел, получалось, ты был один против пяти, да?

— Я это уже слышал. Это плешь.

— Не пори ерунды. Слушай. Поэтому ты получил два года. Если бы вас было восемь против одного, которого топтали, кстати, все тринадцать человек, слышишь? Все! Я в больницу к нему ездила.

— Получил, что причиталось.

— О, как ты не прав!

— О.

— Если бы вас оказалось на суде восемь, срок каждому был бы от пяти лет. Понял?

— Мо-олчать! Сука.

— Умоляю тебя, — говорю я. — Успокойся, деточка моя! Мое солнце вернулось! Солнце моей всей жизни! И ты меня защитишь от подлеца!

Отчаянно застучал задвижкой этот трус в уборной, теперь он не мог оттуда выдраться.

— Значит, так, по порядку. Ешь. Я, пусть ты знаешь это, я приняла меры, и девочки из ее группы выступили свидетелями на сеновале что произошло и как она отстирывала кровь от майки, в сентябре.

— Все. Кружится голова.

— И он расписался с ней из-за свидетельниц. Ешь, вот картофель старый, вот селедочка... Маслице. Не все еще он съел. Подлец!

Я не могла плакать.

— Что мы пережили! А он, видишь ли, якобы сирота. Сам из гэ Тернополя, еле с трудом удалось поступить в этот институт, и грозила армия.

— Пошел бы. Я бы пошел в армию, чем это.

— Подлец не пошел.

— Приволокли себе молодого. Ну, мать, ты сволочь.

— Ешь, ешь, ешь домашнее.

Вошел тернопольский сирота, помывши руки, разомкнул рот и сказал странную вещь:

— Рад видеть.

Они пожали друг другу руки.

— Андрей.

— Саша.

Первым протянул руку подлец. Иногда в нем что-то проскакивает, какая-то искра разумного.

Ворвалась Аленка, застегиваясь (все это время кормила), охотно зарыдала и кинулась Андрею на грудь.

— Дура, она всегда дура, — радушно сказал Андрей.

— Что делать, — согласился подлец. Глаза ему выцарапать.

Она и эти двое как-то очень хорошо смотрелись на фоне нашей убогой, загаженной кухни. Свет молодости, свет надежды бил из их глаз, о, если бы они знали, прозревали, что их, собственно, может ждать впереди, кроме тьмы и единственного, что способно греть в этой тьме, детского дыхания Ненаглядного.

Я плотски люблю его, страстно. Наслаждение держать в своей руке его тонкую, невесомую ручку, видеть его синие круглые глазки с такими ресницами, что тень от них, как писала моя любимая писательница, лежит на щеках — и где попало, добавлю я. Даже на стене, когда он сидит в кроватке под лампой. Грубые, загнутые, густые ресницы. О

веера! Родители вообще, а бабки с дедами в частности, любят маленьких детей плотской любовью, заменяющей им все. Греховная любовь, доложу я вам, ребенок от нее только черствеет и распоясывается, как будто понимает, что дело нечисто. Но что делать? Так назначено природой, любить. Отпущено любить, и любовь простерла свои крылья и над теми, кому не положено, над стариками. Грейтесь!

Они стояли на этой кухне, мои двое любимых, а я была сбоку припека.

— Так, — сказала я.

Они не шелохнулись.

— Андрей, я возражала против прописки вот его. А она возражает против твоей тогда прописки обратно после колонии. Так она угрожала, что имеет право.

О сила слова!

— Как это? — сказал Андрей.

— А я тебе потом расскажу, — затуманилась Алена, — пошли посмотришь на нашего парня.

— Ты могла? — недоумевая, спросил Андрей.

— Да ну, что ты. Форма борьбы с ней. Ты же знаешь это наше вечное скотство.

— Ладно.

Они, как поникшие цветочки, ушли в свою комнату. Андрей стал есть. Я села напротив.

— Андрей.

— Мама!

— Две минуты, Андрей, действительно все очень плохо. Она хочет его прописать, не видя, куда это быдло смотрит. Она ему нужна как трамплин. Он же отсудит у нее комнату! Туда смотрит!

— Парень красивый. Очень. (Странный смех.)

— Да, он мог бы выбирать бы. Если бы не мои свидетельницы. Но, как говорится, он хочет урвать с нашей паршивой хоть клок. Хоть прописку и уйти.

Я говорила все это громко и не стеснялась. Я была права! Как оказалось, я была права в ста процентах, но доказать! Доказать эту правоту стоило многих усилий. Ибо подлец привязался к Тимочке. Он его полюбил плотской любовью, он его купал, он им гордился, сморчком, он с ним гулял и гордо показывал жадным гостям, пришедшим на дармовщину. Он его любил! Как это было непросто все...

Я оказалась лишней в жизни.

— Имей в виду, — сказала я Алене, как-то выйдя в

коридор. — Твой муж с задатками педераста. Он любит мальчика.

Алена дико поглядела на меня.

— Он любит не тебя, а его, — объяснила я популярно. — Это противоестественно.

Алена разинула рот и заржала. Она, правда, только что плакала у себя в комнате, что было видно даже во тьме коридора. Подлец еще не пришел в двадцать три вечера.

— Деточка моя! — Я хотела ее обнять, но Алена, облегченно хохоча, пошла к телефону и взяла его к себе, полузакрыв дверь. Я — постоянная тема ее длинных, как зимняя ночь, бесед по телефону.

Однако сколько же мне тогда было? Каких-нибудь пятьдесят лет!

Алене девятнадцать, Андрею двадцать.

Это было давно, когда я их родила, сразу за два года двоих, это было сумасшествие одной археологической экспедиции и моя очередная грандиозная ошибка в людях, когда я, юная особа двадцати девяти лет, стрижка под мальчика, худоба, глаза и ноги, девчонка совсем (мы с одним ребенком еще в начале, никто никого не знал, рассматривали за камнем его находку, ржавый обломок, а он подошел, так смешно, и говорит: «Мальчики, вы что тут делаете?» Я на него подняла глаза, он рассмотрел и поперхнулся, так я была похожа на мальчика. С того все и началось, дни и ночи счастья, когда я — поэтесса после пединститута и выгнанная из газеты со стажем журналистской работы за роман с одним женатым художником, отцом троих детей, которых я всерьез собиралась воспитать, дура! А жена его тут как тут: вам не стыдно? — и к главному редактору. И тут же им дают давно обещанную трехкомнатную квартиру — они жили в одной комнате все плюс мать его якобы жены, а у меня в комнате он мог работать, хотя моя в свою очередь мать очень бурно его попрекала, что он живет на моей шее, не женясь, — какие еще старые, старые песни, однако!), — так вот, когда я, уволившись из газеты, поехала куда глаза глядят в археологическую экспедицию, и вот вам результат, Андрей и Аленушка, два солнышка, все в одной комнате опять-таки, мать в своей упорно и упорно! Пожили, посмотрели на реальность, у моего мужа грандиозный развод в городе Куйбышеве, жена его приезжала смотреть на меня пузатую, то есть как смотреть — он открывает дверь, а там жена с пятнадцатилетним сыном, надо поговорить. Входят, она мне по щеке, окно разбила, осколком себе вены полос-

нула, все в крови, он ее держит, сын его бледный и кричит — не смей трогать мою маму! Моя мать всунулась, увидела такое дело, принесла бинтик (она жадная, принесла б/у, стираный свой, видимо, с ноги, любит перебинтовываться). Затем она увела их к себе, напоила чаем, мы сидели с ним как два голубя, клюв к клюву, запершись, и хорошо, что эта старая жена ворвалась, у нас уже было все плохо, он задумывался и тосковал о сыне, о доме, да где тут, работа, в археологии ставки низкие, да мой живот, да алименты. Осунулся. Тут она ворвалась и все перевернула, умница, женщина с жаждой разрушения, они многое создают! Разрушится, глянь, новое зеленеет что-то разрушительное тоже, как-то по костям себя собирает и живет, это мой случай, это просто я, просто я, я тоже такова для других.

Так что были дела, и так недавно. Перебираешь жизнь — они, мужчины, как верстовые столбы. Работы и мужчины, а по детям хронологию, как у Чехова. По́шло выглядит все, однако же что не выглядит пошло со стороны? Для Алены все мои слова и выражения, я чувствую, отвратительны. К примеру, вопрос типа «а он интересный?» — если она мне случайно выбалтывала по молодости в восьмом классе что-то о своей подруге Ленке и ее романах. Слова в вопросительной форме «а он интересный?» вызывали у нее столбняк и взрыв ненависти, хотя я имела в виду только одно, а именно что ее Ленка кобыла, с которой шкуру еще не ворочали, а надо бы, и кому придет в голову обнять такую кувалду, от которой в четырнадцать лет разит солдатским потом, нога тридцать восьмого размера, волос надо лбом черный, как на сапожной щетке, видны уже молодые усы, а под толстым задом в виде подпорок две жерди. Моя Алена (а в том году все девочки рождались Елены, равно как теперь все девочки, а как же, Кати) обожала этого кузнеца с усами Ленку, Ленка была постоянно у ней на языке, и даже при тех отношениях, которые у нас сложились к ее четырнадцати годам (отстань, отскеч, отвал и еще резкий ответ «ты с дуба, что ли, рухнула»), — даже при этих взаимоотношениях легенды о Ленке, в мало-мальски тихое мгновение, выкладывались мне с упоением вплоть до первого моего вопроса:

— А он интересный?

— При чем это?

— Я в том смысле спрашиваю, что уж он-то, наверное, интересный?

— Что это такое?

Я мнусь, мне надо сказать вообще-то только одно:

— Ну, в смысле, кто на такую слониху позарится. На Ленку.

— О-хо-хо! Это на меня никто...

Известно, что девочки, у которых ушел отец из семьи, на всю жизнь имеют комплекс брошенных жен со всеми вытекающими.

— Это на меня никто. А ей на каникулах еще в прошлом году в Гаграх проходу не давали грузины. Ей давали восемнадцать лет! А ей было тринадцать!

— Не тридцать давали, и то хорошо.

— Ма-ма! (почти визжит)

— Слушай историю. У них в Гаграх, конечно, все бывает, бабина подруга тетя Оля с сестрой там отдыхали, вышли на пляж в шестьдесят пять лет в халатах на босу ногу, сердечки мои, а женщины в теле, халатики брали, мне показывали еще в Москве, шестидесятого размера, бюсты тянут на восьмой номер, причем неразличимы, поскольку животы у бедных как на девятом месяце.

— Тьфу!

— Слушай. Вот, говорит, не поверите, Серафимочка (это они потом нашей бабе), каким мы пользовались в Гаграх на пляже успехом, дедушка посидел с нами наш, сестрин муж, плюнул и больше с нами никуда не выходил. А эти обступили, так сладко вслед чмокали, целовали даже воздух, проходу не было.

— Мама, ты... (шипит) Я просто не знаю... пошлость.

— Ну и что, он у Ленки интересный? Тоже из Гагр?

— Что ты ко мне пристала? (чуть не плачет)

А дело было в том, что я правильно видела, что та Ленка не стоит и мизинчика моей Аленушки. Моя младшая дочь, моя красавица Аленка, мое тихое гнездышко, которое согревало меня после бурь с Андреем в его подростковом периоде, моя Аленушка говорила в девять лет такие слова! Мудрые слова утешения, когда произошел у нас разрыв с их отцом, баба Сима нас доконала! Нашлась какая-то опять же летом в экспедиции, по тому же сценарию, причем с ним были и сын и дочь, а когда они вернулись, Аленка мне сказала:

— Мама, нас так любили, на прощальном костре, когда мы уезжали, одна тетя Лера так плакала! Так плакала!

Через месяц каких-то междугородних переговоров, покрывшись весь на нервной почве фурункулами по лицу, мой муж уехал теперь уже в город Краснодар, где и проживает сейчас с Лерой-плакальщицей, каким-то сыном и со слепой мамочкой, дети к нему ездили, снова в экспедицию, пока не выяснилось затем, что папе не до них. У Леры однокомнатная квартира и нет перспектив, туда моих детей не возьмут. А в экспедиции папочка стал ездить ни много ни мало как в Руанду или Бурунди. Международные связи крепчают, но в Африке СПИД, и есть повод думать об этом без оптимизма.

А баба Сима нашего папу считала дармоедом, ловкачом и тэдэ. Как она скорбно ликовала, когда он приехал за вещами и увольняться! Как демонстрировала! Как была мила и ласкова со мной: кобра, которая теперь плачет на своей подушке и пищит, что все ее разворовывают.... И жадно хлебает с ложки, жадно-жадно: диабет.

Пошли алименты ноль-ноль копеек, сорок рублей, я подрабатывала, отвечала на письма в отделе поэзии, приютил некто Буркин, добрый человек, бородка, усики, трясущиеся руки и такие раздутые щеки, что кажется все время, что болен флюсом. «Это у меня навеки!» — говорит Буркин в ответ на мои жалостливые слова, что я тоже терпеть не могу зубных врачей и бормашины, но если двусторонний флюс, то надо обратиться, а то все может быть. Рубль письмо, бывает и шестьдесят писем в месяц. Два моих стихотворения в год напечатано, оба на Восьмое марта, гонорар восемнадцать рублей вкупе.

И вот мудрые слова утешения, которые сказала мне моя девятилетняя Аленка, когда в последний раз закрылась дверь за их отцом, а я стояла усмехаясь, с горящими щеками и без слез, близкая к тому, чтобы выкинуться из окна и там, там встретить его бесформенной тушей на тротуаре. Наказать.

— Мам, — сказала Аленка, — я тебя люблю?

— Да, — ответила я.

Моя красавица, которой я любовалась в пеленках, каждый пальчик которой я перемыла, перецеловала. Я умилялась ее кудряшками (куда что девалось), ее огромными, ясными, светленькими, как незабудки, глазками, которые излучали добро, невинность, ласку — все для меня... О их

детство! Мое блаженство, моя любовь к этим двум птенчикам, когда они спали, их головушки на подушках, тихое тепло в моей комнате... «Белое пламя волос — Светит на белой подушке, — Дышит, работает нос, — Спрятаны глазки и ушки». Все потом было тьфу, все отобрано и брошено к первым попавшимся ногам этой Ленки. Все дни с нею, все ее думы — о ней, какие-то Ленкины капризы сводят нашу семью с ума. Андрей дрался с Аленкой из-за телефона, ему надо было звонить, а она ждала звонка от этой мымры, куда они пойдут, на день чьего рождения, да пригласят ли. Вообще мои дети дрались бешено. Аленка то и дело визжала и прибегала ко мне на кухню, неся разинутую пасть, полную слез, на вдохе: и ...Аааа! Тоже милая подробность нашей жизни. Ночами, только ночами я испытывала счастье материнства. Укроешь, подоткнешь, встанешь на колени... Им не нужна была моя любовь. Вернее, без меня бы они сдохли, но при этом лично я им мешала. Парадоск! Как говорит Нюра, кости долбящая соседка.

Андрюша играл в футбол и хоккей, к девятому классу у него было шрамов на голове и на лице, как у боевого кота. Его приводили со двора ребята, бледные от страха, а он ковылял то окровавленный, то с пробитой ступней, то его поднимали от проволоки без сознания (наши активистки во дворе, взбодрившись на почве политических свобод, вскопали газоны, сволочи, посадили что-то и застолбили свои раскопки натянутой невидимой проволокой на высоте детского горла). Другой раз деточки играли в ножички отточенной ножкой от кровати, стальной, разумеется. Один толстый Вася промахнулся и воткнул Андрею в ногу. В это время (дело было в молодости, но после краснодарского случая) у меня в гостях был мой знакомый, интересный, но женатый мужчина, однако запойный, что не мешало ему быть очень интересным.

— Старик, — сказал он Андрею, когда того привели на одной ноге с кровавым следом в лифте (я потом, плача, мыла), — старик, осколочное ранение?

— Ага, — ответил Андрюша.

Когда спустя шесть лет Андрей не пришел домой, а пришел в два ночи, и баба Сима встретила его в прихожей диким криком «иди откуда пришел» и табуреткой, у меня что-то случилось с сердцем. Утром я позвонила этому Аркадию Яковлевичу, и он бодрым голосом, какой у него всегда бывает после запоя, но задолго перед новым, сказал:

— Андриановна, на всякий случай надо вызвать «ско-

рую», хотя у баб инфаркт бывает редко (из чего видно, что Аркадий Яковлевич лежал в мужской кардиологии, а в женскую не заглядывал).

И затем он спросил, в чем дело. Затем он спросил, сколько лет Андрею.

— И вы хотите, чтобы он встал от бабы с криком «меня в десять мама ждет»? У меня в пятнадцать лет должен был быть ребенок, а ему уже шестнадцать.

Он меня всегда успокаивал, А. Я. Мы познакомились на почве работы, я составляла для Машуни сборник стихов поэтов на темы труда, меня уже выперли из издательства и отовсюду, долгая история, я не могла там появляться, и сборник составляла как бы Машуня, гонорар она мне потом отдала двадцать пять процентов и еще два раза давала по четвертной. Я и тому была счастлива. Короче, А. Я. был сыном поэта как раз трудовой тематики, я на этого поэта набрела во время работы в библиотеке, смотрю: раз стихи к Октябрю, два к Маю... О труде. Мне-то не все равно. Я позвонила, попросила Якова Добрынина. А мне сказал мужской голос, что его нет, и я спросила, когда он будет, а мужской голос ответил, что на этот вопрос ответа нет. Я поперхнулась, сердце ушло в пятки, но я объяснила, в чем дело, и мы познакомились с Аркашей, действительно очень добрым мужиком, жена которого восприняла мой визит однозначно, все жены меня всегда воспринимали однозначно, хотя и любезно, а одна жена поэта, по телефону согласившись в десять вечера вернуть мне рукопись моих стихов, которую я дала с просьбой прочесть и сказать, надо ли продолжать работу, — эта жена вышла в те же десять вечера на мой звонок в прихожую в чем мать родила, прикрыв только, присобрав в единое целое свой бюст. Типа того что «мы уже лежим». И дружба тяжкая их жен.

Ночь.

Но по порядку. Мое визгливое солнышко уже уснуло, разметавши ножки и ручки, сирота ты сирота, теперь бабе можно остаться наедине с бумагой и карандашом, поскольку на авторучку мне не заработать. Ни на что мне не заработать, Андрюша меня ограбил серьезно, это не то как раньше, когда он бушевал на лестнице и на прощанье поджег спичками мой почтовый ящик, а требовал он от меня ни много ни мало как четвертную и называл при этом страшными словами и методически бил ногой в дверь, а мы с малышом, я зажимала ему ушки, сидели на кухне.

— Я... (кричал Андрей) да я вселюсь, и будешь знать (страшные слова), дай, такая-сякая, четвертную! Заняла мою комнату, страшно сказать, теперь плати, страшно сказать, мать!

Мать матом.

Моя звездочка не плакал, а только трясся. Но, по счастью, Андрей сам трус. Я только хваталась за Тиму, но потом не выдержала и закричала громко и грозно:

— Вызываю милицию! Все! Звоню!

Андрей не способен никогда поверить, что я смогу вызвать милицию — к кому? К нему, к несчастному, который так и не оправился от колонии, не мог забыть, что с ним там творили, не мог возродиться как человек и все ходил по своим так называемым друзьям, за которых он сел, все укорял их и собирал трешки и пятерки путем шантажа — это я так думаю, потому что однажды Андрея разыскивала некая совершенно сумасшедшая мамаша его товарища по тому делу, подельника. Голос отвратный·

— Але! Але!

— Але, — говорю я.

— Але! (кричит в тревоге) Можно... Это квартира таких-то? Але!

— Нет, — отвечаю.

— Андрея такого-то нет? Але! (так тревожно)

— Он тут вообще не живет. А кто это?

— Не важно.

Не важно, значит, до свидания. Но не тут-то было.

— Але! Але! А где он?

— Я не знаю.

— Он больше не работает в пожарке? Я туда звонила.

Вот сука!

— Нет, он теперь в министерстве.

Пусть обзванивает все отделы кадров всех министерств.

— Да? Можно телефон? Але!

Так ее и вижу, паника на лице, уши горят.

— Это секретный телефон, — говорю я.

— ...

— Я его не знаю.

— Это говорит мама его товарища Ивана. Он унес у нас из дома кожаную куртку после его посещения без меня. Але! Вы слышите?

— Вы поищите у вашего сына, а его что, еще не посадили по делу Алеши К.? Начинается же пересмотр!

(Это ее сын до сих пор носит Андрюшин свитер, который я купила Андрею на день рождения из последних денег.)

— И кстати, — говорю я, — не может ли Иван вернуть мне стоимость украденных у меня вещей?

Трубка брошена.

Страшная темная сила, слепая безумная страсть — в ноги любимого сына вроде блудного сына упасть, стихи.

Андрей ел мою селедку, мою картошку, мой черный хлеб, пил мой чай, придя из колонии, опять, как раньше, ел мой мозг и пил мою кровь, весь слепленный из моей пищи, но желтый, грязный, смертельно усталый. Я молчала. Слова «иди в душ» не лезли вон, но стояли в горле как обида. С детства эта моя фраза вызывала у него рвоту отвращения (поскольку, понятно, эта фраза его унижала, напоминала о том, чего он стоит, потный и грязный, в сравнении со мной, вечно чистой, два раза в день душ и подолгу: чужое тепло! тепло ТЭЦ, за неимением лучшего).

— Дай мне денег.

— Каких денег? — вскричала я. — Ких еще денег? Я кормлю троих!

Да! И я четвертая! Здесь все из моей крови и мозга!

Так я стала восклицать, сама имея пять рэ в сумочке и часть на сберкнижке, мамина страховка, а часть за плинтусом, поскольку, всем все знакомым и незнакомым рассказав, я получила пять переводов с подстрочников неизвестных мне языков, поскольку: сын-диссидент в тюрьме по ложному обвинению, дочь почти без мужа родила, два студента без стипендии на руках и родился внук, ах, ох, ботинки, пеленки.

— И знаешь что, не помыться ли тебе? Хочешь ванну?

Он медленно сморгнул, глядя на мои ключицы.

— Ты знаешь, я приобрела тебе джинсы отечественные, не смейся, туфли светлые, иди переоденься, предварительно в душ, и все.

— Нет. Не буду переодеваться. Так пойду. Дай денег. Мне надо.

— Сколько это тебе надо?

— Пока что полста.

— Фью! Пять рублей на завтра на еду, и все. Этот все выжирает, я буквально прячу еду в комнату. Дать тебе трешник?

— Мне надо полтинник. Пойду убью, в таком случае.

— Убей меня.

— Андрей.

В дверях стояла моя прекрасная дочь.

— Андрей, иди к нам, у нас вчера была стипендия у Сашки, мы тебе дадим, она ведь удавится не даст.

Андрей тяжело ушел с этими пятьюдесятью рублями и не вернулся два дня, а за это время приходил участковый, спрашивал, где А., и говорил, что прописывать его нельзя. Была большая паника, и мы с Аленой подали на прописку и Андрея и Шуры. Махнулись, так сказать, обменялись, как страны шпионами. Я испугалась-то в первую голову, что Андрей натворил черт-те чего.

Но он явился через два дня во всем новеньком, в джинсовом костюме, с сумкой через плечо, побритый и с двумя девками такого вида, что у меня заклокотало в груди, как у орла. Вышла Алена и тоже стушевалась и отступила в свою теплую пеленочную обитель. С девками он прошел в мою комнату и там оставался ровно час, хотя я стучала ему аккуратно, ногтями, деликатно, что мне нужны мои вещи, но в глазах стоял плинтус с деньгами, а Алена, проходя мимо, саданула пяткой в эту проклятую запертую немую дверь.

Когда они отперли, я сказала, протянув руку:

— Пятьдесят рублей.

— ...

— Так вот, я вернула Алене эту твою сумму.

Девки задержались у двери, а он рылся в моем шкафу, перебирал вещи.

— Твое все собрано, ты что, вон чемодан наверху...

Кровью облитые сердца матери и сына, они бьются сильно и грозно. Где ты, беленький мальчик, запах флоксов и ромашковый луг.

— Тут приходил участковый, предупреждал...

— А хули он приходил...

— Чтобы тебя не прописывали...

Сердце, сердце!

— Ах так!

— Мы тебя прописываем, Андрей, не беспокойся, не волнуйся.

— А я не беспокоюсь. Я женюсь, и ваша прописка... Подотрись.

— На ком, на них?

— А что, плохие жены?

Девочки резко засмеялись, показавши зубы с недочетами.

— Кстати, где баба?

— Я не хотела писать... Баба наша сильно сдала.

— Померла, что ли?

— Хуже. Самое страшное, что может быть с человеком. Понял? Ты меня понял?

— И где она?

— В Кащенко, где же еще быть человеку.

— Упекли?

Он взял чемодан, и они все выкатились.

Ночь. Тишина. Где-то долбит кости соседка Нюра. Завтра она сварит из них суп.

И вот что странно, что Деза Абрамовна, завотделением психбольницы, такой спокойный, такой уверенный человек, такой даже успокоительный, она в одной из бесед сказала правильную фразу, относящуюся и к вышеприведенному разговору и вообще: что там, за пределами больницы, гораздо больше сумасшедших, чем тут, что тут нормальные в основном люди, которым чего-то не хватает, и не сказала чего. Мало ли, мне тоже всего не хватает, подумала я тогда и была полной дурой, как я понимаю сейчас, когда все кончилось: в первых наших беседах, когда я перед ней всегда плакала, жалуясь на то, что мама чуть ли не спалила квартиру, напустила газ и т.д., оставили ее одну на две недели летом, и мы вернулись, а у нас на балконе черви, птицы сидят рядами, и тяжелые жирные мухи прямо ползают а это она купила и забыла на воздухе балкона мясо. И запах! Это вообще был страшный период, когда Андрея таскали по повесткам в милицию, я была там, следователь накричал на меня, Андрей возвращался домой желтый и безжизненный, и ему все время звонили и что-то орали, а он кивал, не отвечая, и его вызывали родители этих проклятых друзей в кавычках на свиданки, таскали, уговаривали взять, видимо, вину на себя, а мама ничего не могла понять и тревожно говорила, что мальчик плохо чувствует и не питается, девочка вчера пришла домой поздно плащ светлый спина в зеленой краске, где-то лежала спиной; и вдруг мать затихла у себя в комнате и почти перестала выходить, это совпало с тем, что Андрей однажды ушел утром на допрос и больше к нам не вернулся. Она даже не спросила, где Андрей. Проходили месяцы, она трудолюбиво складывала у себя на серванте свои свободно вынутые из

десен зубы и однажды торжественно предъявила мне пакет кровавых ваток: вот сколько было кровотечений из горла! Зачем? Зачем, спрашивается? Кому, какой комиссии ты это все предъявишь, дай выкину! И в чем ты ходишь, мама? Во что ты превратилась? У тебя же полный шкаф одежды, это мне нечего носить, а у тебя? Я так поняла, что она сберегает до лучших времен, как бы представляя себе ясно, что в один прекрасный момент все расступятся и выйдет о н а, вся в новом демисезонном пальто или в шерстяном платье, и потом (внимание!) — на ней кто-нибудь женится. Она как-то даже пошутила, что берегите-де ее для жениха, и я тут же ответила: «Для пенсионера? Хочешь за пенсионером ходить остаток жизни», не желая вдаваться, какого на самом деле жениха ей ждать. Она поглядела на меня своими маленькими серыми когда-то глазами, теперь у нее осталась только голу́бизна, все выцвело и сравнялось — младенчески-голубое, му́тное, сияющее как луна. Сияя, она ответила, что терпеть не может пенсионеров и горшки таскать не намерена. Оставался вопрос, кого она ждала, и единственный вариант напрашивался сам собой, что она ждала возвращения молодости и свято верила в это. Где-то там, в глубине сознания, она ожидала лучших времен, т. е. что она встрепенется, сбросит с себя эту внешность, расцветет, как расцветала некогда после отпусков. Она, короче, ждала в глубине души чего? Рая и небес? Вместо этого случилось то, что она однажды тихо позвала меня к себе и сказала, что за ней «приехали».

— Это с какой стати?

— Ти-ше.

— Кто, господи?

— Посмотри, — она отвернула голову от окна и по возможности от меня. — Там.

— Где, что ты мелешь?

— Там, внизу.

Там, внизу, я посмотрела, был дождливый день.

— И что, ничего. Ничего нет.

— Едут опять.

— Кто?!

— На букву «п». И на букву «с».

— Какая бу́ква, ты что?

— Тише, не ори (шепотом). — Скорая помощь.

Я посмотрела. Сверху по улице действительно ехала «скорая».

— Ну и что?

— Я выходила вчера когда, они сразу за мной тронулись. И милиционер за мной шел, я специально повернулась и пошла ему навстречу. Иду и специально смеюсь ему в лицо. Я их не боюсь!

Так. Я оцепенело стояла на кухне, а потом вошла к Алене и сказала, что баба сошла с ума, на что она мне ответила, что это я сама сошла с ума. Я ей возразила, что это ничего страшного, это бывает, кстати, так тетка кончила, но жила долго. Наследственность. Алена резко вышла и пошла к бабушке, я слышала их тихий разговор, потом Алена плакала и говорила «какой ужас». А я ей отвечала, что она сама давно бы послушала меня и сходила бы к психиатру. Алена засмеялась, как всегда, не зная того, что я уже консультировалась с психиатром и поставила Алену на учет в психдиспансере, и врач ее уже навещал под видом терапевта, хотя Алена как по заказу отвечала на вопросы грубо и резко и на фразу «почему ты не в институте, почему валяешься на неубранной постели?» она вскочила и демонстративно пошла в уборную, где спускала воду минут пять, пока врач не ушел.

— Ты тоже разве нормальная? — сказала я ей в дополнение. — Посмотри на себя. Ты опять на занятия не пошла, ночью читаешь, утром не встаешь. Это же типичный психоз. Наследственность — это такая вещь. Моя дорогая.

Я говорила все это лишь для того, чтобы взбодрить ее, шокировать, сердце мое обливалось кровью, мать в маразме, сын в тюрьме, помолитесь обо мне, как писала гениальная. Я хотела вывести мою дочь из сна разума, в котором она пребывала по причине Андрюшиной тюрьмы, своих отметок, прыщей и какой-то ее первой любви, насчет чего она вела дневник, а я прочла.

«Никто не читайте этот дневник, а то я уйду с о в с е м. Мама, баба или Андрей! Никто! Вчера был семинар у Татарской. С. пришел и сел передо мной и все время поворачивался ко мне и смотрел на меня так туманно, откинув голову, а сам смеялся. Ленка с ним шутила, анекдотики, а я сидела серьезно как ни в чем не бывало, только сердце падало в пятки. После лекций мы с Ленкой уходили, и вдруг она сказала в раздевалке: «С. хочет встречать с тобой Новый год! Он мне так сказал». А я только пожала плечами, и кто бы знал, какая буря ликования была в моей душе! Я почти не могла идти! С. и я будем вместе на Новый год!

22 декабря. Ленка опять мне сказала, что С. меня, наверно, любит, так часто он обо мне спрашивает. Его спрашивают, пойдешь в кино, а он спрашивает, а Алена пойдет? И не идет. И при этих словах Ленка испытующе смотрит на меня. Хочет удостовериться. Я-то знаю, что она его любит, а про меня она не догадывается. Я совсем не могла сегодня спать от счастья. Утром мне приснился С. и что мы с ним едем в открытой машине с откидным верхом и я вся окружена каким-то его теплом. Сегодня С. не было нигде. Надо воспитывать силу воли! Надо по утрам делать гимнастику. С. прошлый раз сказал, что он проснулся в двенадцать часов дня.

30 декабря. Завтра Новый год. Зачет еле сдала. Плакала в седьмой аудитории. Ленка молчит, ничего не говорит. С. первый сдал и ушел. А я, как всегда, опоздала. Я ее спрашиваю: «Ну, где вы будете с С. завтра?» Набралась смелости и с таким ехидством. Она отвечает как ни в чем не бывало: мы с С. идем в Дом культуры Института транспорта. Я тебе не говорила, С. сказал, что никуда и ни с кем не хочет идти на Новый год, а будет дома спать, терпеть не может праздники. И Ленка купила им двоим билеты на встречу Нового года в ДК транспорта, там будет шампанское, подарки, дискотека, американские кинофильмы и маскарад. Я ради интереса спросила, какие будут кинофильмы, она ответила, что американские и что билеты уже все проданы, она якобы ходила еще за деньгами купить мне, а было уже все. Билеты дороговатенькие. Хочешь, пойдем вместе с нами, сказала она, постреляем лишний билетик в десять вечера? Я ответила, что ну еще. Она ответила, что можно придумать мне тоже костюм, она будет колдунья и всем гадать по картам, а С. она наденет отцовскую шелковую рубашку, косынку углом набок и повязку на один глаз, пират. После этого я пошла домой как побитая собака. Баба с мамой ругались, что меня надо правильно воспитывать, ночами она читает, говорила баба, утром результат: не встает даже на экзамен. Воспитывайте вашего Андрея, он курит! Да!

1 января. Сенсация. Ленки и С. не было в транспортниках! Я пришла туда в 10 вечера как дура в бабушкином черном платье, с розой в волосах (Кармен с веером, баба дала, баба меня наряжала), совершенно спокойно купила билет в кассе и смотрела в полупустом холодном зале дикий концерт, один крик и вытье и какие-то бальные

танцы до почти двенадцати часов, потом купила себе бокал шампанского, постояв в небольшой очереди, там же можно было купить себе кулек с подарком. Выпила шампанского, когда стрелки на больших часах сдвинулись, на дискотеку я не стала оставаться, пошла домой спать. Мама и бабушка доругивались перед телевизором после ежегодного скандала с красными щеками. Тема, как всегда, был Андрей, которого нет уже три дня, он звонил, бабушка кинулась, но мама взяла трубку и как следует ему все сказала, что бабе вызывали из-за сердца «скорую» и тэдэ. Он и вообще бросил трубку, и мама не дала бабушке поговорить с Любимым.

5 января. Ленка пришла на консультацию перед диаматом и сказала мне, что с маскарадом ничего не вышло, и она сама вечером 30 села и поехала в Питер к тетке и там смотрела телевизор в большой компании родственников и, что еще лучше, маленьких детей, которые плакали, так как их стали укладывать спать. Слезы и скандалы по всей земле на Новый год! На консультации С. не было.

8 января. Я сдала на удовлетворительно, буду пересдавать. Дома будет крик, т. к. могут не дать стипухи. С., как всегда, пришел, сдал на 5 и ушел. Ленка сказала, что звонил С. и что С. встречал Новый год с одноклассниками у школьного друга. Ленка сказала, что С., наверно, голубой. Мы с ней так смеялись.

12 января. С. пришел в библиотеку заниматься с Т. И. с третьего курса, всем известной проституткой. Они улыбались друг другу, потом С. встал, зашел к ней со спины и накинул на нее свой пиджак. Сам остался в черном свитере. Ленка сидела, напряженно улыбаясь, на щеках у нее были красные пятна. Потом в туалете мы курили и она плакала. А я не плакала, так пусто было внутри. Скучно жить на этом свете, господа. Я люблю тебя, С. Хоть ты меня не замечаешь. Хочу подарить ему свою фотографию с одним-единственным словом «Помни». Но как? Т. И. старая проститутка, ей уже 20 лет. А мне в декабре исполнилось 17. А С. будет 17 в феврале, он пошел в школу в шесть лет. Напрашивается сравнение. Ленке 19. Ленка хороший товарищ, но она слишком большая, ей придется туго на жизненном поприще. Она худеет. Кожа у нее на лбу в прыщах. У меня тоже бывает около крыльев носа. Она очень много курит! Она мне не говорит, но она уже жила с мальчиками. Она сказала, что понимает не

меньше Т. И. и разные позы, и все. С. не мужчина, она в этом убеждена.

15 января. Лежу. От нечего делать якобы готовлюсь и пишу, запишу разговор матери с бабой.

— Ты? Ты всю посуду уже переколотила! (это мать)

— Какую, ты что, охилела совсем! — кричит баба. — Какую, где? Я от страху умру!

— Вон, вон у чашки ручка отбита! Где я куплю? Тарелку теперь где я куплю?

— Это не я! Это не я! Ой, спасите, помогите! Ой! Господи, да что же это! Господи! Люди! Что это! Спасите! Я на колени встану, что не я (долго становится на колени, судя по шуму). Вот! Клянусь!

— О-о-о, вставай, вставай, ну что ты, из-за чего ты, ну разбила, ну и разбила.

— (долгий стон) Люди, спасите! Да где же... где же (кряхтя, видимо, встает) я что разбила?! (со слезами) когда ты разбила мою чашкусинюю...

— Ага, ага, вспомни еще твое тяжелое детство...

— А когда я единственно что разбила, так это отбила носик у чайника... (скрипит стул. Видимо, села допивать чай.) Это я, да, но это же можно приклеить... Я спрятала носик...

— Какой?!!

— Синего чайника носик, и все. Приклеится, ничего.

— Какого... Что!!! Здрасте! Начинается! У сервиза носик отколотила! У лучшего чайника! Кто теперь из него что нальет?! Ой-ой-ой (прослезилась).

— Ты чашку, я носик.

— Але-на! Иди сюда.

— У меня экзамен, мам».

Конец дневника.

Чтобы ее совсем сбить с толку, я возвращаюсь к прыщам.

— Прыщи, кстати, такая вещь, — продолжала я, — что если не мыться и даже не подмываться здесь и под мышками и не подстирывать трусов, то пахнет и прыщи. И ты могла бы стирать сама! Ну хорошо, я стираю за вами обеими, но ведь бабушка сошла с колес, а ты!

— Я тоже сошла, — отвечала эта прыщавая (слегка), бледная как тень юная девушка, героиня Тургенева. Все должны были лежать у ее ног, все! Но для этого надо мыться, по меньшей мере.

— Ты должна как минимум чаще мыться и мыть голову,

это раз. И потом предохраняться, предохраняться, раз уж спишь с ними.

Она уже сидела у себя в комнате и плакала о себе, слава Богу, о эгоизм молодости! Я очень боялась, что вид бабушки ее потрясет, она опять перестанет спать, но о освежающая сила оскорблений!

Тому прошло семь с лишним лет, жизнь.

Ночь.

Как раз сегодня в дверь позвонили. Я, как всегда, спрашиваю: кто там? Отвечают «по делу». Изумительно. По какому? (все через дверь) Тогда:

— Такой-то здесь живет?

И имя моего сыночка. Причем голос с акцентом.

Нет. Нет, нет и нет.

— А где его найти, женщина?

Я страшно испугалась. Я ответила, что он снимает где-то квартиру. «Адрес». Прям. Откуда я знаю адрес. «Откройте». Нет, ответила я, не обязана открывать свою дверь без санкции прокурора. Помолчали. Хорошо, мамаша, я бы советовал вашему сыну очень побояться. А вы что, из тюрьмы? Уголовные? «Нет, это он уголовный элемент, понимаешь. Мы его все одно найдем, поймаем, тогда береги его». Ударили ногой в дверь и отошли, много ног. Штук шесть. Я в тот день не выходила, а сыночку я позвонила сразу же. Они были не в духе и говорили со мной односложно.

— Привет.

— ...

— Как пята?

— М.

— Ты на работу устраиваешься?

— Мм.

— А почему?

— Да ты же... твою мать.

— Не по адресу. Мою мать, а твою бабушку я при всем желании не могу то, что ты предложил. Ну улыбнись. Что ты такой какой-то?

— А... мм.

— Обязательно надо устраиваться на работу.

— ...

— Да, ты знаешь, за тобой опять кто-то охотится.

— Кой охотится, это меня друзья спрашивали?

— Друзья. Сказали, все равно тебя найдут. Поймают.

— Кто?

— Друзья, ты говоришь, твои. Я им говорю: уходите, уголовный вы элемент.

— Так? (угрожающе)

— Они говорят: еще не известно, кто уголовники. Андрей! Что ты наделал опять?

— Я? Ты что? Почему я?

Судя по ответу, действительно что-то произошло.

— Короче, тебя ищут, там было шесть ног. По шуму судя.

— Трое?

— Тебе видней. Может, они одноногие. Короче, тебя ищут, не появляйся у меня.

— А. А я как раз хотел взять у тебя деньги.

— Ты — у меня?

— Ты, мама, все придумала, да?

— Вот чудак, — ответила я и положила трубку. Ежемесячная дань, которую, он думает, я должна ему платить, ему уже два раза перепала! Два грабежа! Я теперь нищая! Первый раз он унес у меня мою драгоценную, еще детскую книгу «Маленький лорд Фаунтлерой». Я все ждала, когда малыш сможет перешагнуть через ужас известия о том, что маленькому лорду ничего не достанется. Один раз я ему дочитала до этого места, один раз. Больше он не позволил, и я отложила книжку, а ее хапнул Андрей. Вообразить только эту мою панику! Малыш может все, но шкаф ему не отпереть.

Эти унизительные переговоры, мы с малышом подкараулили у больницы рано утром после дежурства его жену Нину. Нина была недовольна, мрачна, сказала, что больше не может жить с ним и пусть он уходит. Все выяснилось на том, что они уже полгода не платят за квартиру. Нина как-то умудрилась платить за телефон, однако свет у них отключили. Тут Андрей и пришел в отчаянии грабить меня.

Нина согласилась обменять «Лорда Фаунтлероя» на сорок рублей. Сорок рублей! Подозревала всегда, что Нина и была одна из тех двух девиц в черных очках и при полном маскараде, и никогда ей не доверяла.

Это был тот последний раз, когда Андрей посещал в мое отсутствие мое же материнское гнездо. Я пошла на многое и вставила дополнительный замок, хлопотала, бегала за слесарем, их пришло двое, осмотрели дверь, обои в прихожей, пол, что же делать. Дверь им не годилась, замок «не вставал», но я их умолила, сказав правду: ломится и грабит прописанный человек из тюрьмы. Его не берут на работу,

есть нечего, а у меня у самой... Я не плакала, но дрожала. Они поскучнели, их игра, их вечная игра в невозможность исполнения работы без дополнительных оплат, их борьба за лишний рубль рассыпалась от чужого горя. Они ушли, я слегла за новым замком как за стенкой, но следующий раз не заставил себя долго ждать. Андрею понравилось доить меня, тлю. Хотя в этот месяц мы жили как в лихорадке, я выпросила у Буркина, завотделом, лишние сорок писем, сказав, что буквально задолжала, это в него влезло, он и сам бывал должен. Остальное он не воспринимал — роды, болезни, тюрьма, все это он ненавидел и на такие слова не реагировал. Выпить и деньги на выпить — этому он сочувствовал. Лихая правда моей жизни была ему неудобна, и о, как легко я приходила в редакцию! Я буквально порхала, улыбалась, рассыпалась в комплиментах, мои щеки цвели, лицо, я это чувствовала, худело, скулы обтягивались, руки, трудовые, как у черепахи, мои грабли, я загодя приводила в порядок, стригла ногти скобочкой, делала серьезный массаж. Малыш во время моих визитов в редакцию пасся на диванчике около вахтера: детям наверх нельзя! Там, наверху, на третьем этаже, я была непризнанной поэтессой, а мой алкоголик заведующий был суровым, но справедливым меценатом, который буквально по капле выдавливал из себя раба, то есть не сразу сдавался на мои льстивые замечания типа «что бы я без вас делала», «подайте на чашку водки» и «вы мой спаситель». Он рылся в столе, выходил, в столе у него с громом перекатывалась пустая бутылка, напрасный ко мне намек, в жизни не даю взяток и не с чего, он говорил по телефону, копался в портфеле, с ним беседовали его девушки, которые приходили поодиночке, но скапливались затем кучкой и никто не уходил, все словно кого-то ждали. Они садились к нему на стол и чуть ли не на колени, они были молоды и прекрасны, а меня внизу ждал Тима, изнывая и становясь кверху тормашками. Тут же заходили деловые мужики из соседних отделов, но все это было не то, они все ждали, кто бы их повел в кабак. А у меня было только одно: писем и писем!

Девушки, возможно, тоже хотели бы писем, возможно, это были как одна голодные поэтессы, но Буркин всех прокормить не мог, он еще давал письма одной вдове своего товарища, который утонул, но его так и не нашли, и какие-то трудности были с пенсией его двум малолетним детям и неработающей жене, которая ничего на свете не умела. Зав научил ее шпарить по трафарету пять видов ответов, она

мне сама призналась, а я каждый раз создавала произведение искусства разового употребления, это были безумные ночи, полные разговоров с невидимыми душами пенсионеров, моряков, учетчиц, студентов и школьников, прорабов, медиков, сторожей и заключенных. Она писала: «Ув. тов... К сожалению, ваш(и) стих(и), рассказ(ы), роман, повесть, поэма не представляет(ют) для редакции интереса. Тематика нашего журнала сугубо такая». Это вариант номер один. Если все-таки тематика совпадает, то «по языку и стилю ваши произведения оставляют желать лучшего. Всего вам хорошего».

А я что писала? Я писала поэмы. Я цитировала, советовала, хвалила, а ругала очень сочувственно. Мой Буркин брал эти мои произведения, и его перекашивало, как от горя. Но ведь за каждой рукописью вставали передо мной живые люди, может быть даже больные, прикованные к постели, как Николай Островский! Инвалиды и горбуньи! Они иногда писали исключительно уже мне и мне лично присылали свои рукописи на рецензию, но их-то Буркин аккуратно отдавал на «ув. тов.» бедной вдове.

Он как огня боялся новых авторов.

А я тут написала неожиданно прозу, да еще от лица моей дочери, как бы ее воспоминания, ее точка зрения, надо же, что на меня навалилось среди ночи сидя без сна на кухне. Вот этот отрывок, но Буркину ни в коем случае:

«Лучше на улице, лучше так, как я сейчас, когда хозяин квартиры некто Шереметьев, сдавший мне ее как уехавший заколачивать большую деньгу на Север, теперь он приехал навестить, нашел унитаз с трещиной на подпорке и сказал: «Я теперь приехал, я буду сюда водить, мне больше некуда, не к жене же, я мужчина физически крепкий, выходи на это время с ребенком, а можешь остаться, бывает любовь втроем».

Прим. автора: страшные вещи лезут в голову, ужас, ужас, представить себе свою дочь беззащитной, но это почти то, что у нее вырвалось однажды со слезами, как она живет. Она рассказала о Шереметьеве все.

Дальше:

«Один раз я у мамы переночевала с дочкой, среди ночи поднялся шум и стук, зажгла она свет в квартире, демон-

стративно повела мальчика писять: писяй, писяй, маленький, раз ты уже описялся, — зажгла у нас в комнате свет искать в шкафу ему свежие трусики, шарила в шкафу. Катька проснулась в коляске, мальчик стоял босой и держался за ее локоть двумя худенькими ручками и дрожал от холода, стоя описянный, без трусов, в маечке. Худая попка, тоненькие ножки, груда спутанных кудрей на голове и по плечам, ангел! На нас не смотрит, а тут ведь Катька лежит в коляске и уже покряхтывает, мне все равно вставать, но не хочется, я говорю:

— Мама, давай я помогу, найду.

— Что ты найдешь? — Крик, визг, слезы. — Где что ты тут знаешь еще, черт, собака! Сволочь! (неизвестно кому) Говорили, не пить на ночь! Говорили, живете на наши деньги, так хоть стыд бы знали, наедаться за его счет, чтобы он с голоду пил! (она, высокая красавица еще, в драной рубахе, выдрала свой локоть из его клещиков, он вдруг горько зарыдал и закрыл лицо) На! — кричала она, как древнегреческая богиня ужаса. — На! Надевай!

— Иди ко мне, мальчик, я тебе надену, — сказала я, не в силах приподнять зад от кровати.

— Сам, сам, пусть теперь сам все приучается, мне скоро уже уходить на погост, на кого я его оставлю! Пусть все теперь сам!

Он упал как подкошенный вдруг на пол, рыдая. Сцена! И моя Катя завела, завела и вдруг как заорет!»

Вот какую я сценку написала с полным критицизмом в свой адрес и с полной объективностью, а почему, ах да.

Значит, дело в том, что вдруг раз в год мне позвонила моя дочь, живущая, как известно, на выселках со своей нагульной дочерью от воображаемого сожителя. Этот звонок произошел внезапно и кончился, не успела я развернуться и ответить. Значит, так (подумать только).

Звонок: бззз! бзз!

Малыш мчится, но я его опережаю, маленькая борьба.

— Але!

— Мама, это я.

— Привет! (я)

— Ладно.

— Хорошо, ладно так ладно.

— Мам. Послушай. У меня в моче белок.

— Я тебя сколько учила, что надо каждый день соблюдать гигиену. Плохо подмылась, вот и весь белок.

В ответ сдавленный смех. Как, впрочем, всегда. Когда ей хочется умереть, она сдавленно смеется. Погоди, скоро буду смеяться я.

— Мама.

— Ну слушаю, слушаю.

— Скажи. Вот они хотят меня класть в больницу.

— Не пори ерунды. Какая больница, ты же с малым ребенком. Какая может быть больница. Во-первых, сходи подмойся наконец и сдай анализ как следует.

Она отвечает:

— Ладно, этот вопрос проехали. Но если действительно и плохая кровь? Что в таких случаях? Ложиться помирать?

— Что значит плохая? Какая в наше время может быть плохая кровь? У кого ты видела хорошую? У малыша? Ты мать, ты хоть отдаленно представляешь, что у него гемоглобин такой-то при норме такой-то?

Сдавленный смех.

— У меня (ответ) вдвое меньше.

— При чем ты, при чем здесь ты? Дело идет о твоем сыне, о жизни твоего сына! Делай что-нибудь, плати ему хоть те деньги! Которые ты заграбастала! Да! Хоть деньги! Ему надо печень! Грецкий орех, да! Не давись от смеха, что смешного, сволочь, собака! Черт!

— Так. Мама, значит, ты считаешь, что не все так страшно?

— И что ты теперь рыдаешь? (пауза)

— Я не рыдаю (сдавленный смех).

— А кто?

— Слушай (дрожащий голос). Слушай, меня кладут в больницу на сохранение.

— Что? Что опять ты городишь! Псих. Что ты сказала?!

— Ну что, у меня роды-то через две недели срок, а они говорят, может случиться от высокого давления там, знаешь, гибель от комы, что ли. Во время родов. Судороги и все такое. Почки отказывают у меня, значит, так. Катька-то куда денется?

— Пф! Пф! Они меня тоже пугали, успокойся. Нашу семью не испугаешь. Когда я ходила тобой и был маленький Андрей. И что же? Несмотря что была мама и этот пресловутый твой отец, я ни в какую твою больницу не пошла, а пошла нормально, только когда начались схватки в полседьмого утра, его разбудила...

— Ладно.

— Твой этот знаменитый отец даже встать не хотел... Не

ловись на их удочку, кстати, не ходи! Возьмут на стол для обследования, ковырнут ложкой якобы на анализ, родишь прежде времени, как я: пузырь-то проткнули! Тем более им выгодно, чтобы рожали раньше указанного срока, меньше платить по декрету, а какое дело врачам?

— Тогда я так и сделаю, как ты говоришь, мама, а то я договорилась с одной тут соседкой, но она именно только пять дней может сидеть с Катей, а две недели и пять дней уже не берется.

— Ну ладно, ты держись, что делать, надо держаться! Прячься от них, и насильно никто не положит. Ничего страшного.

— А, ну тогда пока.

— Пока. Целую.

— Ага (смех). Как парень-то?

— А тебе что? (торжественно)

И тут я бросила трубку.

И только потом я медленно, но грозно начала прозревать, и весь ужас моего положения возник передо мной.

Она снова рожает, это раз.

И попрощалась она и побрела куда-то беременная да и с коляской, желая — это два — подкинуть мне толстенькую. И неизвестно на какой период. Что делать, о Господи, что делать? Что еще возникло в воспаленном мозгу этой самки? Зачем ей еще ребенок? Как она пропустила срок, как не сделала аборт? Ежу ясно. Опомнилась, когда уже плод начал толкаться ножками, я все восстановила, всю картину. Пока мать кормит, часты случаи отсутствия прихода Красной Армии, как моя дочь в разговорах со своей еще Ленкой: «Красная Армия пришла, на физкультуру не иду». И многие так обманываются. Кобель лезет, его какое дело. Кто этот кобель? Кто? Тот же самый бродячий замдиректора или слесарь по ремонту? Или, что хуже всего, этот ее хозяин с Колымы? И сколько это может продолжаться? Разумеется, ей отказали в позднем аборте. Тогда-то она и стала (восстанавливаю по обрывкам) толкаться к врачам со своим белком и давлением, что рожать противопоказано и сделайте поздний аборт, а они ее хоп — и поймали, вели-вели и теперь укладывают, чтобы проследить и не упустить, как будто бы их охватил азарт не упустить ни одного ребенка. Им, можно подумать, очень необходимы эти дети. Просто обыкновенный трудовой энтузиазм на рабочем месте, рабочий азарт, как в шахматах. Ни для чего, а так. Цоп ребенка! Еще один, а кому, зачем? Надо было найти человека! Сест-

ру в белом халате, чтобы сделать укол, женщину в белом, бабы-то справляются, и на шестом месяце тоже. Жена Андрея Нина рассказывала про свою соседку, та вовремя не сделала аборт, укатила на курорт, протрепыхалась, а потом отправила детей куда-то на субботу-воскресенье, уже на дворе месяц октябрь, родила с помощью укола шестимесячного сына, тот мяукал всю ночь при открытом окне, пока она мыла полы в соседней комнате, ай-я-яй, потом к утру затих, на что она и рассчитывала. За всю ночь даже к нему не подошла. А врач не ассистировал, сбежал после укола. Вот ведь: нашла она доктора, даже мужчину, и расплатилась с ним. Даром ли пьешь нашу кровь? Почему не позаботилась? Мать обо всем нашлась мучиться?

Ведь наш разговор был не о белке и не о моче, наш разговор был такой: мама, помоги, взвали на себя еще одну ношу. Мама, ты всегда меня выручала, выручи. —Но, дочь, я не в силах любить еще одно существо, это измена малышу, он не перенесет, он и так звереньшем смотрел на новую сестру. — Мама, что делать? — Ничего, я тебе ничем помочь не могу, я тебе все отдала, всю денежку уже, солнце мое, любимая. — Я погибаю, мама, какой ужас. — Нет, дорогая, крепись. Я же креплюсь вот. Я твоя единственная, твоя мама, и я еще держусь. Недавно у меня был случай. Один человек на улице пристал ко мне и принял за девушку, так: «Девушка!» Представляешь? Твоя мать еще женщина! И ты крепись. Ладно? Вселиться вам сюда нельзя, опять искаженные ненавистью лица, мелькающие в нашем зеркале в прихожей, мы ругаемся, мы ругаемся-то всегда в прихожей, плацдарм боевых действий. И рядом еще и Он, святой младенец, который не может сообразить, что рушится конец света для него, его мама (я) и его Алена (мать его) ругаются последними словами, его две богини! Я же для него живу! Ты же мне точно сказала, что лучше на улице, чем со мной! Крепись, дочь! — Ладно, мамочка, прости, я дура. Целую. (Это я воображаемо продолжила наш разговор.)

Пришел малыш со словами: «Баба, чего ты трясешься, отними руки от лица, не трясись, а. Не психуй», — хлынули наконец радостные слезы из моих глаз, сухих ущелий, хлынули, как солнце сквозь дождь в березовом лесу, мой дорогой, мое солнце незакатное.

Как мертвый подставлял свое лицо бесчисленным поцелуям. Кожа бледная и светится. Ресницы густые и слипши-

еся, как лучи, глаза серые с синевой, в бабу Симу, у меня глаза золотистые, как мед. Красавец мой, ангел!

— Ты с кем говорила?

— Не важно, мой маленький. Мой красивый.

— Нет, с кем?

— Я тебе сказала. Это взрослые дела.

— С Аленой? Ты на нее кричала?

Мне стало неловко перед ангелом. Дети все-таки воплощенная совесть. Как ангелы, они тревожно задают свои вопросики, потом перестают и становятся взрослыми. Заткнутся и живут. Понимают, что без сил. Ничего не могут поделать, и никто ничего не может. И я не могу подложить малышу эту свинью.

— А что ты кричала, что надо подмыться?

— Нет! Что ты! Я кричала, что надо наконец подмыть пол.

— Ты дура?

— О, я дура, мой ангел, я идиотка. Я тебя люблю.

Бесчисленные легкие поцелуи в щечки, в лобик, в носик, минуя рот. Детей нельзя целовать в рот. При мне в трамвае один вез, видимо, дочь из детсадика домой. И измучил ее поцелуями в рот. Я сделала ему резкое замечание через весь вагон. Он очнулся как от преступления весь малиновый и возбужденный, а дочь несчастная лет пяти уже совершенно скисла от смеха, от щекотки, потому что он еще ее и щекотал. Он очнулся и стал грязно меня ругать, глядя затравленными и обиженными глазами. Откуда ему было что знать? Он говорил то, что говорят: не лезь на хер не в свое дело.

— Посмотрите, до чего вы довели ребенка! Представляю, что вы с ней творите дома! Это же преступление!

Вагон весь ощетинился, но против меня.

— Какое вам дело, старая вы (...)! Уже давно старая женщина, а туда же!

— Я, я желаю вашему ребенку только добра. За такие дела ведь сажают. Развратные действия с несовершеннолетними! Изнасилование детей!

— Дура на хер! Дура!

— И потом еще вы удивитесь, что она внезапно родит в двенадцать лет. И причем не от вас.

Слава Богу, он отвлекся на меня, он горит теперь другим желанием, задвинуть мне кулаком по харе. И может быть, теперь каждый раз, когда он захочет подвергнуть ласкам

свою дочь, он вспомиит меня и переключится иа иеиависть. И опять я спасла ребеика! Я все время всех спасаю! Я одиа во всем городе в иашем микрорайоие слушаю по иочам, ие закричит ли кто! Одиажды я так услышала летом в три ночи сдавленный крик: «Господи, что же это! Господи, что же это такое!» Жеиский сдавлеииый бессильный полукрик. Я тогда (пришел мой час) высуиулась в окио и как рявкиу торжествеиио: «Эт-то что происходит?! Я звоиою в милицию!»

(Кстати говоря, милиция охотио ездит на такие случаи, где преступиик еще тут: сразу стопроцеитиая раскрываемость! Это я зиаю по опыту своих исследоваиий.)

Немедлеиио высуиулись еще в одио окио, пониже, кто-то еще закричал, и буквально через две минуты я увидела, что издали бегут двое на помощь. Моя задача была его спугиуть, чтоб он ее бросил, иичего ие успев.

— Да, да, товарищ, ои здесь, сюда, вот в кустах! (иесмотря иа то что им еще было бежать метров сто)

И мгновеино он выскочил из кустов и умчался за угол. И тут женщииа в кустах громко заплакала. Представляю себе ее ужас и омерзение, когда тебя душат зверски и бьют головой о стеиу.

Я сама с омерзеиием чувствовала на себе чужие руки, когда что-то затрепыхалось у моего бока в метро, как змея, настырио лезущая в кишки: грубо шарили у меня в сумке. Я обериулась и крикиула: «Это что же вы ко мие залезли в сумку!» И сразу три человека из моего окружеиия, смеющаяся жеищииа и два чериых почти бритых мужика, стали быстро уходить, вместе с моим, тоже чериым и бритым, и исчезли в толпе. Итак, мы побеждаем!

Нести просвещеиие, юридическое просвещеиие в эту темную гущу, в эту толпу! Воплощеииая чериая совесть народа говорит во мне, и я как бы не сама, я как пифия вещаю. Кто бы слышал мои мысли в школах, в лагерях, в красных уголках, дети сжимаются и дрожат, ио оии запомнят!

И плюс мое горе сидит всегда рядом со миой, я о ием забываю, а дети смотрят то иа иего, то иа меия, восприиимая иас обоих как неизбежное одно целое. Семь рублей с копейками потом получу я, ио три-четыре выступления плюс письма...

Есть ли силы, способные остаиовить жеищииу, которая стремится иакормить ребеика. Есть ли такие силы.

Вот я выступаю в пионерском зимнем лагере, в эту неделю, спасибо Надечке Б., оиа мне дала два выступления. Мы

едем, сбор у бюро пропаганды, там, сказали, покормят!!! Беру, как всегда, Тимофея. Собираться надо задолго, предстоит обычный скандал с одеванием.

И тут началось самое ужасное. Не самое ужасное вообще, а начало всего того, что последовало за этим. Звонок телефона, малыш кинулся первым и долго стоял, прижавши трубку к голове двумя ручками, не отдавая мне, известная манера, всегда кидается.

Он: Але! Але! Что? Кого? Анну кого? Але! Кого?

— Дай, дай, маленький. Дай бабе трубочку.

— Да погоди ты! Ничего не слышу! Что, але! (пауза) Положили трубку.

Я: Никогда! Слышишь? Никогда...

Опять звонок. Борьба. Я выхватываю трубку, он взревел и стукнул меня ножкой по голени. Какая боль... Я отбрасываю его рукой и вежливо разговариваю, а малыш сидит на полу, глаза сверкают, как граненый хрусталь, это он заходится, хватает воздух, три-два, один — пуск! А-а-а!!!

— Минуточку. Или ты замолчишь...

— Ааааа!!!

Никогда ни Алена, ни Андрей маленькие себе такого не позволяли, но ведь у малыша энцефалопатия, мать его, как видно, роняла со стола, я ее предупреждала, и у него расшатаны нервы, как у истеричной бабы.

В трубке приветливый провинциальный голосок информирует меня о том, что мою мать Серафиму Георгиевну переводят из больницы в интернат для психохроников.

Все. Это все. Все, о чем я даже боялась думать, сбылось. Ведь знает завотделением, знает, что мне некуда брать мать и на что я живу.

— Простите, деточка, как вас звать?

— Никак. Ну, Валя.

— Валечка, девочка, а почему так? Что стряслось? Она плохо себя ведет? А где Деза Абрамовна?

— Деза Абрамовна в отпуску, а мы все с первого в отпуску... Начинается ремонт, всех больных кого куда, кого даже выписываем домой, если можно. Кого в интернат, одиночек или отказных. Кого в другую больницу. Но вашу... тетя она вам... или мама...

— Не важно, тетя или мама, она живой человек...

— Вашу бабулю не примут.

— Почему, Валюша? Что такое?

— А не будут держать.

— Можно, я заеду поговорю? А кто на месте? Малышик,

погоди, не до тебя. (А он разбежался и ударил меня двумя кулаками по почкам.) Господи, за что? А, Валечка?

— В общем, вы решайте. Выписка в интернат уже готова. Вы не беспокойтесь, вам приезжать не надо, мы все оформим. Завтра ее увозят.

— Так... Тише, маленький (он вывернулся из моего кулака, которым я держала его за рубашонку). Почему такая спешка?

А сама лихорадочно соображаю, что делать. Значит, так, ее переводят, пенсию у нее отбирает государство. Интернатным не платят. Значит, мы сидим совершенно уже в калоше. Абсолютно. А ее пенсия как раз через два дня, я ее успею ли получить? Могут не дать. Ах ты горе какое! Живешь плохо, но как-то все уравновешивается до следующего удара, после которого может показаться, что предыдущая жизнь была тихой пристанью. Горе, горе. Они там умирают как мухи, в этих интернатах для психохроников.

— Какая спешка, никакой спешки, — неожиданно всплывает голос этой Вали, — вас же предупреждали загодя. Да вы не беспокойтесь!

— Никто, во-первых, не предупреждал. В какой интернат ее перевозят, это где?

— Не беспокойтесь. Это за городом. Да мы ее погрузим, ее там примут.

— Теперь за город ездить два часа в одну сторону, спасибо.

— Да нет, это дальше. Зачем вам ездить? — отвечает Валя. — Они там на всем готовом. Ну все, я вас предупредила. Да, еще нужна ваша подпись, ну это потом.

— Кака така подпись?

— Ну что вы согласны.

— Я не согласна, чего выдумали!

— А вы берете ее домой?

— Никаких подписей, — говорю я взбешенно, — никаких подписей вы не получите. Новое дело!

И я бросаю трубку.

Как всегда, следует скандал с одеванием, малыш не хочет надевать валенки с галошами, не хочет прекрасную ушанку еще Андрюшину: хочет вязаную, легкую.

Но ведь холодно! Что ты со мной делаешь, ты желаешь мне сидеть у твоей койки смотреть, как ты болеешь опять? Я тебя умоляю и т. д. Поехал все-таки в легкой шапке, но в валенках, хорошо, держи голову в холоде, ноги в тепле, народное правило. Ладно, до метро семь минут ходьбы быс-

трым темпом, в метро тепло, а там опять-таки три остановки. Денег на билеты ушла уйма, но дальше нас везут на машине, оказалось, зеленый продуваемый «газик». Спасибо и на том. Вместе с нами едет какая-то неизвестная дама в дубленке, рваной на спине по шву рукава, и в самодельной шапке из лисьего хвоста.

— У вас рукав продрался...

— О! О! Зашиваю, зашиваю...

Бьет на роскошь, но в дальнейшем тоже оформила выступление на три копейки, как и я. Низшая категория.

— Вы кто, я поэт, — говорю я, чтобы обозначить специализацию.

— Я, — говорит лисий хвост, — я сказительница, они меня так называют.

— Кто, простите?

— Сказительница, рассказываю сказки и показываю кукол.

— Кукол?

— О, это так просто! Я делаю необычных кукол, из картофеля, из мочалок, понимаете? Вот ваша девочка тоже посмотрит.

Ага, даже мальчика от девочки не может отличить, хотя Тимошины кудри всех вводят в заблуждение. Девочка моя стрижет припухшими глазками в окна, снявши шапку на морозе.

— А я поэт, — говорю я. — Надень, говорю, надень. Смешно, знаете, я ведь почти тезка великому поэту. А то не поедем, сейчас скажу шоферу остановить и вылезем, надень.

— Какому? — резонно спрашивает сказительница.

— Догадайтесь. Меня зовут Анна Андриановна. Это как высший знак.

— О, это всегда мистика! Мое имя тоже, знаете... Ксения.

— А это в чем заключается?

— Чужая. Чужая всем.

— Наградили родители, да...

— А.

Молчание. В животе у меня подвывает, в душе, которая не знаю, как у других, у меня находится в верху живота между ребер, в душе горит беспрерывная лампочка опасности, сигнал тревоги. Не ела ничего, в связи со звонком из больницы и не имела ни секунды, пыталась найти одного психиатра еще давних времен, сказали только (по домаш-

нему телефону и очень горько): «Такие тут уже не живут». Стало быть, разошлись с мордобоем, и новый телефон спрашивать бессмысленно. Тимочку покормила, посыпала сахаром кусок хлебушка и дала остывший чай, он любит, весь обсыпался и причавкивал, как хрюшка. Называется «пирожено» и сдобрено горькими слезами. Тимоша, вижу, тоже оголодал, но перед едой мы сначала должны трястись в «газике», холодно и воняет керосиновыми какими-то мешками, горькая, холодная судьба. Мать моя сегодня пока еще лежит (я дозвонилась еще раз в больницу, никакой такой Валечки мне не дали, такая не работает, тоже мистика), мама лежит хорошо, кушает, я это знаю, видела, как ест, жадно вытянув вялые как тряпочки губы, беззубо чавкает, глаза матовые, не блестят, зрачок туманный и как бы впечатан в глазное яблоко. Маленькая тусклая кругленькая печать. Как она в прошлый раз лежала, плечи один костяк, слеза из открытого глаза сбежала, едва смочила висок. Куда ее такую волочь? Да дайте же, сволочи, хоть умереть на своем месте! Не дают. Месть за все наши деяния настигает нас в конце, когда мы такие убогие, что кому тут мстить? Кому мстить? Но затаскают перед концом. Странно, кто такая Валя? Откуда был звонок? Или они там в больнице ленятся, не идут звать? Ведь я три раза звонила, дважды говорили «сейчас», и трубка лежала-лежала, пока я сама ее не клала безнадежно.

— Дети — самые лучшие слушатели, — говорит эта Ксения.

— О да, — соглашаюсь я.

— Приходишь — крик, гвалт, но начинаешь выступление... — заводит она на полном крике, «газик» рыпается по ухабам, мотор ревет.

Может быть, меня разыграла жена Андрея? Наняла подругу? Нет. Все подтвердилось. Маму выписывают завтра, завтра.

— ...сказки народов, — заканчивает Ксения.

— Простите, а как вас по отчеству?

— Зовите просто Ксения.

— Ну как-то неудобно, вы давно на пенсии?

— Я? Я не на пенсии, — отвечает эта безотцовщина, а сама явно уже кандидат в бабушки.

— А я на пенсии, — говорю я, — вот выйдет книжка моих стихов, мне пенсию пересчитают, буду получать больше. Пока что мы с Тимой живем Бог знать как, и маму вот из больницы выписывают, и дочь по уходу за двумя

детьми только алименты, а сын инвалид (перечисляю, как нищий в электричке).

— А я, — говорит не имеющая отчества, подскакивая на ухабах совместно с нами, — я выиграла машину. Водить учусь.

— Да, некоторые покупают лотерейные билеты, потом говорят, что выиграли, я знаю такие судебные процессы об отобрании прав.

— У нас сын! — говорит отца не помнящая, тряся щеками при скорой езде. — Его надо возить в музыкалку, так что пригодилось! Муж принципиально машину не водит, потому что лотерейный билет купила моя мама.

— Все понятно, поздно родили, — говорю я, — но ничего. Воспитать успеете к восьмидесяти-то годам.

— Мам, — говорит Тима, он меня то «мам», то «баб» зовет. — Мама! Я есть хочу!

— Ваша дочка, это ваша дочка, хочешь конфетку? — забормотала эта всем чужая.

Он съел как собака, гам! И посмотрел еще.

— Спасибо скажи и надень шапку, тогда тетя даст тебе еще, — говорю я.

Тима сидит, как бы не веря в такое.

— Вот шапку снял, — говорю я, — если ты заболеешь, я ведь бабушку из больницы беру... Я завтра — оп! (подпрыгнули) — бабушку из больницы беру... (предупреждая его вопрос «каку таку бабушку?») помнишь бабу Симу? Баба Сима не разрешает без шапок ездить! У-у! Надень шапочку. Тетя еще конфетку даст.

Тетя бормочет:

— Да-да, я всегда про запас... У меня язва желудка... Мама снабжает импортным, насильно запихивает...

Так дай же ребенку!

— Ну (это я), раз-два, надеваем! — И накидываю шапочку на него. Смотрим друг на друга выразительно. Тима и я. Тетя молчит.

Есть же некоторые. И про мать ее все ясно. Лотерейный билет, машина, импортные конфеты...

Тима осторожно тянет руку к шапке.

— Не снимай, Тима!

Неудобно как. Ксения без отца задумалась и поникла головой, трясясь, как холодец. Есть люди, которые легко-легко убивают, перед ними надо на четвереньках плясать, чтобы удостоиться одного взгляда, они же смотрят не выше

подбородка, об улыбке нечего и говорить. Просто так задумчиво глядят мимо.

— А шоколадную ему можно? Я знаю, некоторым детям запрещено, моему сыну.

Я говорю:

— Нет, шоколадную ему нельзя.

Тима окаменел, насколько это возможно в прыгающей машине.

— А у меня остались только шоколадные, увы.

— Спасибо, а то потом, знаете... Сыпь и все такое. — Я держусь. Мы не нищие!

Тимины глаза переливаются, как чистой воды бриллианты, все выпуклее и выпуклее. Сейчас скатятся эти слезы, нищие слезы. Он отвернулся. Он стыдится своих слез, молодец! Так просыпается гордость! Его ручка ищет мою руку и с силой щиплет.

Тетя деликатно отправляет в пасть конфету.

— Мне нельзя долго не есть.

— Ну ладно, — говорю я, — так и быть, я разрешаю. Ничего, одну в день можно, тем более что это не шоколад, а соевая смесь. У нас давно настоящего шоколада нет. Понижен процент содержания.

Тима чавкает, как его прабабка, неудержимо и захлебываясь. У меня в животе воет пустота, словно в печной трубе.

Нас встречают в пионерлагере.

— Вы знаете, вы сначала чаю попьете? Они только что чай отпили, пионеры.

Уже стемнело, желтые фонари, воздух опьяняющий, сыплется морозная пыль.

— Не знаю, — говорю я. — Надо подготовиться к выступлению.

Ксения, лишенная отца, возражает:

— Как же! Успеем! Обязательно горячего чаю, ведь говорить придется! Для голоса!

Сидим за столом в огромной столовой, я пью чай с карамелью и дважды покусилась на большие куски хлеба, им здесь хлеб режут ломтями от круглых хлебов, больше всего люблю неудержимо, неудержимо люблю хлеб. Капает из носу, у меня в портфеле с рукописями чистая откипяченная тряпочка, но как ее достать, деликатно сморкаюсь в бумажку, у них тут вместо салфеток нарезаны бумажки. Где-то вдали шумят дети, их заводят в зрительный зал, мы с Ксенией забежали в туалет, она там задрала юбку и стала

снимать с себя шерстяные рейтузы и осталась в шерстяных колготках, мелькнуло обтянутое брюхо и жирное лоно. Ужас, до чего мы не ведаем своего безобразия и часто предстаем перед людьми в опасном виде, т. е. толстые, обвисшие, грязные, опомнитесь, люди! Вы похожи на насекомых, а требуете любви, и наверняка от этой Ксении и ее матери ихний муж гуляет на стороне от ужаса, и что хорошего, спрашивается, в пожилом человеке? Все висит, трепыхается, все в клубочках, дольках, жилах и тягах, как на канатах. Это еще не старость, перегорелая сладость, вчерашняя сырковая масса, сусло нездешнего кваса, как написала я в молодости от испуга, увидев декольте своей знакомой. И правильно, что на Востоке такую Ксению (и меня) упаковали бы до предела в три слоя, до концов рук и подошв, и подошвы бы замазали хной!

Я отговорила свое, дети затихли, мы причем, как всегда, выступали вдвоем с Тимофеем, он сидел за моим столиком на сцене рядом со мной и наливал из графина воду в стакан, стучал, булькал, пил эту сырую воду, холодную и отравленную, а остаток сливал обратно — и ладно. Хотя пионервожатые, стоящие позади своих пионеров лицом к нам, как лагерные капо, уже настороженно и злобно переглядывались. Но, как всегда, искусство победило, я сорвала аплодисман, и мы с Тимошей пошли за кулисы ждать ужина. Я пыталась отправить Тимочку в зал к детям, посмотреть на Ксению, но он ни в какую, не дал бабе посидеть одной справиться с мыслями. Да, так о чем я? Плотно забрался на колени в пыли, во тьме кулис, ревнивый, требовательный, и стал оттуда смотреть в спину сказительницы, которая действительно ковырнула два раза картофелину (глаза), насадила ее на вилку, распустила мочало и с поварешкой и щипцами для белья показала очень симпатичную оригинальную сказочку, неожиданно для меня. Ах, друзья мои, и в старческом теле мерцает огонь ума! Брать хотя бы пример моей великой почти что тезки.

После сказочки мы пировали за отдельным столиком, дети подходили посмотреть на кукол сказительницы, а я под шумок взяла с собой, опуская незаметно в сумку с рукописями, три громадных бутерброда маслом друг к другу и конфет карамелей: будет пир горой, когда приедем домой. И льстиво выпросила эту огромную, видно с рынка, породистую шершавую картофелину с двумя выковырнутыми ямками, якобы чтобы Тиме устроить тоже повтор сказки, а на самом деле это же на второе! На второе блюдо!

Домой, домой. Безрадостное встанет утро после бессонной ночи с проворачиванием всех вариантов: пенсия-то пенсия, но запах! Как в зверинце. Мама давно «ходила на гумно», и как там смердело, у этих старушек в палате, и как они стеснялись посторонних, пытаясь накрыться до подбородка, и до подбородка марались, при мне сестра с сердечной руганью от всей души отворила такую укромно затаившуюся в тепле Краснову, соседку мамы, и с криком причем, как это угораздило-то, бля, до шеи. В глазах мамы сверкнуло, в темной воде белков пробудилось скромное торжество. Ах, как я знала это торжество! Как часто я видела его сквозь якобы расстроенные чувства, особенно когда она меня якобы защищала от мужа, всякое бывает в тесной семье, но упаси Боже на глазах мамы или в пределах ее слуха! Торжество правоты. Торжество правоты под лозунгом «я ведь предупреждала», торжество ее разума на фоне моей глупости.

И я даже думаю, что те немногие добрые дела, которые она делала, она делала вопреки кому-то, к примеру мне! Много добрых дел делается при попытке к сопротивлению, и я думаю, что и Малыш станет добрым к своей распутной матери только из сопротивления моей правоте — увы или нет, вот вопрос.

Сытые, вермишель с мясом, три стакана сладкого чая, три кусища хлеба с маслом, хорошо живется детям в нашей стране, Тимоша тоже ходил в садик, вот было времечко! Ел там. Я отсыпалась, писала свои штучки, ходила по библиотекам, в редакцию, даже сшила себе юбку из неплохой штапельной тряпочки. Золотое время! Но Тимоша болел. За каждую неделю свободы (моей) он платил двумя месяцами кашля, жалкий, с водянистыми, прозрачными щеками, он сидел дома и мучил меня и мучился сам. Что они там их терзают, что дети приходят злые, агрессивные и заболевают, или это дети детей терзают? Перестали мы ходить в садик и потеряли место, у нас в садик очередь.

И всю ночь я вертелась на своем диване, на своем продавленном ложе, «в норочке», как говорит Тимофей, всю ночь думала и не решалась, не плакала, но мучилась как на раскаленной сковороде, а потом посмотрела в окно и испугалась: что-то белое прилипло к стеклу! Это белое это был уже мутный рассвет. Утро стрелецкой казни, утро начала зловещих перемен, утро расплаты. Если бы мама жила со

мной, если бы я вытерпела этот ад, эти вечные крики и оскорбления, эту защиту детей от меня, а «скорые» и милиционеры — мы к их призракам привыкли довольно быстро и даже пытались, о идиоты, выводить ее на чистую воду и спорить с ней, что мусор просто дежурит у гастронома (это доказывал с пеной у рта Андрей, придя в досаде от следователя, когда бабушка с кривой улыбкой, выглянув в окно, провозглашала «ну вот опять милиционер», — «нужна ты мусорам»), а я говорила, что не за тобой поехала «скорая», не за тобой, гляди, свернули, кому ты нужна, но потом «скорая» приехала за ней.

Дела были такие: Алена плакала по всем углам до бессилия, потом начала толстеть и жадно ела, доводя Андрея до бешенства. Он вообще с детства следил, кто сколько за столом съедал сладкого, заставал на месте преступления Алену, а иногда и нас с бабкой. У него все должно было быть поделено по справедливости, и иногда он, как садист, клал на видное место свое несъеденное, чтобы изводить маленькую Алену, да! Это имело место! Что-то не в порядке с пищей было всегда у членов нашей семьи, нищета тому виной, какие-то счеты, претензии, бабушка укоряла моего мужа в открытую, «все сжирает у детей» и т. д. А я так не делала никогда, разве что меня выводил из себя Шура, действительно дармоед и кровопиец у своего ребенка пищи, но это уже были последствия того шока, который я пережила, когда со стоном все узнала, поговорив по телефону с подругой Алены, чтобы она, я просила, поговорила с Аленой, что нельзя же так кидаться на мать и не ходить неделями в институт! И психиатры говорят, что такое поведение отходит от нормы, может, полежать в санаторном отделении, нарочно спрашивала я подругу Веронику по телефону, а Вероника сказала, что Алене это не поможет. Я нарочно выбрала именно эту Веронику, честную комсомолку, которую Алена называла «водка-кислярка» после именно колхоза, и эта ядовитая Вероника, помолчав, сказала, что месяцев через пять Алене станет лучше и она поймет, как в дальнейшем себя вести с мальчиками (если бы я тогда знала, в чем дело, см. дневник), потому что все уже готово к разбору персонального дела, но лично она в эту грязь вмешиваться не собирается, и какое еще счастье, что она лично не пошла с Шурой на сеновал, а Алена пошла, есть гордые люди, которые не будут бороться за свое счастье такими методами, как сеновал, а этот Шура кому только не пред-

лагал, противно было смотреть, и она лично никогда не вешалась никому на шею, и для нее мужская красота состоит совершенно в другом, не в смазливом личике, а в другом!

Из чего я мгновенно сделала правильный вывод, и Вероника стала моим главным другом на ближайший месяц, когда Андрей приходил домой с допросов и ложился лицом к стенке, а бабушка неподвижно сидела в своей комнатке, плотно завесив окна, почти не ела, слабела, и один раз я ей принесла поесть, а она скосила на меня глаза, абсолютно алые по цвету, лопнули сосуды, и она ворочала глазами, как негр. Что она знала, что понимала, сказать трудно, все совершилось в тишине, вот уж когда мы шуршали как мыши, и Андрей исчез в пасти следовательской машины бесшумно, и я исчезала бесшумно, носясь от следователя к адвокату и на свидания к Веронике, и Алена, теперь одна в своей комнате, плакала тихо.

Дело шло, однако, к тому, что мы с Вероникой не допустили никакого персонального дела, она горячо ходила хлопотать за Шуру в деканат и к Шуре, чтобы он временно женился, хотя бы временно, на Алене, и меня это устраивало, на хрена мне был нужен этот человек, я об этом уже писала выше, да и Вероника за этот месяц сблизилась с Шурой, беседовала с ним, получила к нему доступ, к недоступному тайному идолу всех девочек курса, как я поняла, вечно молчащему, брови которого, я должна была объективно признать, были как у тюркской красавицы, ласточкины крылья, а рот вечно запекшийся, тьфу! О ненависть тещи, ты ревность и ничто другое, моя мать сама хотела быть объектом любви своей дочери, то есть меня, чтобы я только ее любила, объектом любви и доверия, это мать хотела быть всей семьей для меня, заменить собою все, и я видела такие женские семьи, мать, дочь и маленький ребенок, полноценная семья! Жуть и кошмар. Дочь зарабатывает, как мужик, содержит их, мать сидит дома, как жена, и укоряет дочь, если она не приходит домой вовремя, не уделяет внимания ребенку, плохо тратит деньги и т. д., но в то же время мать ревнует дочь ко всем ее подругам, не говоря уже о мужиках, в которых мать точно видит соперников, и получается в результате полная мешанина и каша, а что делать? Моя мама, пока не случилось все ужасное, именно так выжила из дому несчастного моего мужа и все говорила в хорошую минуту: кто тут глава семьи? (лукаво) ну кто тут глава семьи? (подразумевая себя)

Я двигала ошалевшей от безумных надежд Вероникой

как пешкой, впереди уже замаячил призрак прихода в наш опустевший дом нового мужчины; и причем как раз тогда, когда возникла, повторяю, надежда, Алена раздалась и совершенно опустилась, не веря ни во что, и готовилась умереть, я поняла.

И вдруг однажды, придя домой, я обнаружила, что дверь бабушки приперта с той стороны, я с трудом приоткрыла щель, дверь была приперта письменным столом. Зачем она подвинула стол, зачем забаррикадировалась? Зачем тебе стол под лампочкой, ответь?! Я ввалилась в ее комнату, она сидела бессильно на своем диванчике (теперь он мой). Вешаться собралась? Ты что?! Когда пришли санитары, она молча, дико бросила на меня взгляд, утроенный слезой, вскинула голову и пошла, пошла навек. Вечером я устроила жуткий крик, просто кричала и все, выла, не могла остановиться, Алена притащилась с таблетками и дала мне две, я выхватила у нее весь флакончик, я знала, зачем она берегла эти таблетки, и якобы для себя выдрала у нее их, попросила воды и, пока она брела за водой, я спрятала таблетки под подушку внутрь наволочки, не переставая выть. «Брось истерику», — сказала мне дочь, а что я ей могла объяснить? Что я была в больнице, где окна закрыты решетками? Что конец нашей жизни? Что Андрей в такой же яме с решетками? Что я преступник? Кто, кто отдает свою мать в психбольницу? Я, о Господи. Врачи меня утешили, что налицо большая опасность, что ее надо подлечить, очень старая шизофрения, сообщили дату, она сама рассказала, с каких пор за ней стали следить агенты КГБ, я сказала, что у нее лопнули сосуды в глазах, они сказали, что это бывает. Алые совсем глаза. Подлечат, сказали, ее жизнь в опасности.

* * *

Настало белое, мутное утро казни.

Я поняла, что не могу взять мать домой, не имею права перед Тимошей, за что ему эти дела, этот запах зверинца, эти крики и обвинения, эти моча и кал, и никакая пенсия ничего не возместит, тем более такая мизерная, она встанет поставить чай и подожжет дом. Нельзя, о Господи. Пришел ко мне Тимоша, я ему улыбнулась, как всегда (встречать Твой день улыбкой), и обещала хлеб с маслом, тот, вчерашний, и чай с конфетами (тебе понравилось вчера?) и скле-

ить домик с окошечками, только надо где-то раздобыть клей. Голова болела, я согрела чай и подумала, что вполне может быть, что я сейчас забуду выключить газ и сожгу дом, что это может со мной произойти в любую минуту, я и так последнее время еще удивлялась своим способностям находить дорогу, не терять деньги и ключи и так ловко отвечать на письма, что никто ничего не подозревает! Никто ничего! Но если это случится прежде, чем я уйду навеки, кто спасет Тимошу? Кто его спасет? Всегда надо, чтобы в доме были люди, а где, где их взять?

Вот тут и раздался гром небесный, звонок в дверь. Явление Христа народу: звонок. Кто там, спрашивается? Опять какие-нибудь друзья в кавычках Андрея? Я заплатила, я уже все заплатила, сволочи, собаки! Хорошо, спрашиваю, кто там, стоя за дверью с бьющимся сердцем. Малыш несется открывать — он откроет всем! Всегда!

— Да я, я, — раздраженно.

— Кто это «я»?

— Я, Алена, — отвечает она и что-то еще там такое говорит.

Сегодня же не день ее получки! Ошалела, что ли?

— А что такое? — спрашиваю я в своей полутьме.

— Мама! Мама пришла, — неизвестно чему радуется Тимоша. — Это ты?

— Я, я, — устало и раздраженно говорит Алена тупо в закрытую дверь. — Открой, сынок.

Сынок!

Я открываю на цепочку, как бы удостовериться.

— Ты что, мама? — с деланным любопытством спрашивает меня эта низенькая бабенка. Действительно, большие глаза, и действительно, ребенок на руках, второй (вторая, она же вторая по счету в ее многодетной семье) держится за подол юбки. Моя дочь принаряжена в какую-то чью-то куртку, куртка ей мала и явно с помойки.

— Открывай, открывай, — говорит она мне. Рядом я вижу коляску, все ту же самую, узел, чемодан. Как дотащила-то на наш этаж?

— У нас денег нет вас принимать тут! Нету!!!

Я хочу захлопнуть дверь.

Малыш борется со мной. Его мать с той стороны припасла ключ и вертит им в замке. Давно не тот ключ! И дверь на цепочке!

Алена через щель разговаривает с пыхтящим Тимошей:

— Тимочка, не надо, не старайся, прищемит она тебя!

— Тимочка, давай закроем дверь, — ласково говорю я.

— Нет! Нет! — кричит он.

— Тимочка, — говорит она, — не старайся тут с ней... Она же больная! Ты не понимаешь? Она тебя прищемит, сынок, она сумасшедшая! Не надо, отойди.

— Отойди, да! (это я)

— Нет!!!

— Отойди, сынок!

Я плюнула и ушла к себе в комнату и закрылась на ключ, они там шуровали, бегал Тимоша, слышался писк и другой тонкий голосок, который внятно, как попугай, говорил: «Аля́? Аля́? Уля́?» Ворковала их мать, все потом пошли мимо моей двери на кухню, потом в ванную, объединившись в одну секунду. Семья! Тима их спас, им открыл, он теперь счастлив и их, их член семьи! Мать с тремя детьми. Вот для чего я готовила почву, вот зачем не спала, голодала, лечила, учила: чтобы Тимоша меня в одну секунду бросил, возненавидел. Аля, аля, уля. В одну минуту жизнь потеряла смысл. Ах ты какой тонкий. Как хорошо сыграл. Все на руку матери, чтобы ей доказать преданность! Малая борьба у дверей — и все! Готово! Ах предатель, шелковые кудри, шелковые ножки! Так всегда, волк всегда в лес убежит, к матке! Сколько я видела таких матерей-кукушек, и как их любят брошенные дети, в одну секунду отказываясь от тех, кто их воспитал! Одна мимолетная знакомая еще с молодости, одна Ирина (помню), сказала, что наконец теперь-то знает, что мать ей не мать, потому и были такие отношения, а ходит она теперь на могилу к своей настоящей матери Астаховой, ибо наемная мать, к счастью, сохранила ей могилу, та умерла родами и была рабочей, в общежитии живущей, одна, без мужа и семьи. На эту-то могилу Ирина и готова таскать цветы, а той, настоящей матери, что ее кормила и питала потом и кровью, — шиш, хотя и говорит, что Ксенофонтова (она ее так в благодарность называет) болеет, слегла и уходит со своего большого поста замминистра. И от мужа Ирина Астахова ушла, он тоже ксенофонтовский, из ее дачного окружения, сын папаши на ровном месте. Ирина посоветовалась с могилой и выгнала мужа, выкормыша правительственных дач, живет теперь одна с маленькой дочкой, но в своей отдельной квартире. Как помнилась мне в молодости эта история, я так надеялась, что моя мать окажется тоже не моей матерью и все наконец встанет на свои места. Мне не жаль было эту колоду Ксенофонтову, а жаль было могилу Астаховой, а Ксенофонтова в

ее мужском пиджаке, со стрижкой чуб на лоб, я ее представляла трясущейся от волнения, когда она решила рассказать (чувствуя себя на склоне годов) своей дочери, кто она для нее есть на самом деле, и какой подвиг она совершила, и сколько ради этого было положено сил. Хотела Ксенофонтова лучше, оказалось, что хуже, и никакого оправдания она своей жизни не получила, шиш, шиш и шиш!

Это я теперь сидела, я теперь сидела одна с кровавыми глазами, пришла моя очередь сидеть на этом диванчике с норочкой. Значит, дочь теперь сюда переедет, и мне тут места не останется и никакой надежды. Дочь моя займет большую комнату, Тимошу отправит с кроваткой ко мне, так. И на кухне будет праздновать одиночество, как всегда я ночами. Мне нет тут места!

Я выхожу с абсолютно сухими глазами:

— Алена, можно поговорить? Ты способна меня выслушать?

Как ни в чем не бывало:

— Погоди, мама.

Мама! Кольнуло в сердце.

— Видишь, распаковываемся. Покорми старших, а?

— Так ты что, ввалилась жить? А?

— Тимоша, надо покормить Катьку. Ты можешь? А баба, видишь, не дает вам есть.

— Могу! — выпаливает Тимоша, взял эту толстую Катю за руку и заботливо повел в кухню мимо меня, как мимо столба. Мимо меня протопала эта пара, не замечая меня, только Катя сказала: «Уля?»

— Куда, там пусто!!! Пусто!

— Мамуля, — сказал Тимоша, — у нас есть два куска хлеба с маслом и конфетки, я могу поставить чайник.

— Куда, обваришься и обваришь ребенка, — закричала я, — Алена, последи, я ухожу срочно.

— Уходишь, — тускло говорит Алена.

Явно сама хотела куда-то уйти, оставив на меня всю свору.

— Ухожу, ибо: сегодня, — говорю я торжественно, — я забираю мать из больницы. Твою бабку.

— Бабушку? — бесцветно повторяет Алена с застывшим видом. — Зачем еще?

— Зачем? Вот вопрос так вопрос!

— Почему сегодня? Мама! — наконец говорит она. — Брось свои штуки! Тут трое детей!

— Да, да. Или ее сегодня через час отправляют в интернат для психохроников. Навеки.

— Ну и что, — говорит она.

— Что! Кто к ней туда будет ездить? Кто будет ее кормить? Ее там прибьют табуреткой, и все.

— Ты будешь ездить, ты будешь кормить, как все эти годы кормила. Ты же ходила к ней? — язвительно намекает на что-то Алена. — Или нет, я что-то не понимаю. С чего вдруг такой переполох? Ты же получаешь ее пенсию? А? Ну и будешь к ней ходить.

— Это где-то три часа на электричке.

— Ничего. К своей матери поездишь. Или не поездишь. Пенсию-то ее ты аккуратно будешь получать?

— Не буду получать. У интернатных пенсию отбирают, ты что.

— Ах вот как, так бы и сказала, что тебе жалко денег, и мы будем из-за этого опять выносить ваши взаимные скандалы. Все детство прошло в криках, все самые лучшие времена. Кривая семья.

Я, с сухими глазами:

— Вот для того, чтобы у тебя была прямая семья, чтобы тебе не мешать, бабушка и оказалась т а м.

— Слышала эти басни много лет.

— Чтобы спасти твою семью, я ее убрала с твоего пути, а оказалось, для спокойствия Шуры, чтобы он тебя начал терпеть. Но не вытерпел!!! Никто!!!

Глаза ее наливаются слезами, все-таки что-то человеческое в ней еще осталось, со странным удовлетворением замечаю я, какое-то осталось у нее чувство стыда, неловкости за свой разврат.

— Мамуля, не плачь! — Тима откуда-то очутился рядом с ней.

— Сынок, ты где оставил Катю? Ее нельзя оставлять на кухне, живо вывернет на себя кастрюлю.

Я говорю:

— И еще Андрея-то нашего жена гонит.

— Так-к...

— Со всеми последствиями. Андрей-то пьет.

(Тут я прилгнула. Когда второй раз Андрей ворвался ко мне с криком, что его убивают, и я открыла дверь на эту провокацию, действительно за ним стояли те трое, держа по одной руке в карманах, а Тима плясал за моей спиной, сгорая от любопытства. Выяснилось, что тут долг восемьсот рублей. Я извинилась, закрыла перед носом сопровождаю-

щих лиц дверь и сказала, что позвоню в милицию. Андрей был бледен, и ему удалось убедить меня, что они убьют не только его, но и Тимошу. Мы все вместе пошли в мою сберкассу и под их взглядами я сняла с книжки все, что там было, оплаканных шестьсот восемьдесят рублей, еще мамина страховка. Взамен Андрей обещал больше никогда меня не беспокоить, устроиться на работу, прекратить пить, лечь в больницу с пятой и прописаться к своей жене. Он плакал на коленях.)

— Семья! — протяжно вздыхает Алена.

Я:

— Бабушка будет в этой маленькой комнате. Я переселюсь на кухню в кресло-кровать. Если придет Андрей, место ему будет с бабушкой. Он бабин внук.

— Ничей он уже не внук. Я к нему приехала в гости с детьми, он пьяный посреди ночи начал бушевать.

— Когда?

— Сегодня ночью.

Так.

— Зажгли свет они с Ниной, начали выяснять отношения, а это он так нас гнал. Бей своих, чтобы чужие боялись.

— Он же обещал больше не пить!

— Он пьет не просыхая уже неделю, откуда-то деньги достал, поит дружков. Полный дом. Ну ладно, хоть эта комната моя! Наша!

— Так. Ну хорошо. Андрей... — Я глотаю слезы. — Сын, вот тебе сын.

Решение мое пришло абсолютно неожиданно. Свобода, свобода и свобода! Как странно, свобода в таком пространстве! Алена тоже не очень будет переживать. Из каких подземелий она воротилась, если комната восемнадцать квадратных метров на четверых ей кажется убежищем!

— Прошу политического убежища, — бормочет она, подбирая с полу и ставя обувь в ряд. Она читает мои мысли. — Как я жила! Мама!

Одна минута между нами, одна минута за три последних года.

— Нечего было рожать, пошла и выскоблила.

— Выскоблила — Колю? Да ты что!!!

— Господи, все же делают аборты с большими даже сроками... За деньги, — говорю я. — Абортируют вплоть до не знаю. За деньги!

— Какие деньги? Ты что, какие деньги? — забормотала она.

— Деньги с н и х! Надо было думать, когда ложилась под н и х! А ты брала с нас! Плять, — с сердцем сказала я и пошла собираться в поход.

Собираться в поход. Если я не поеду, ее уже увезут. Их увозят рано, их увозят, так, ее уже одели в два больничных халата, резиновые сапоги, полотенце на голову, такой холод, однажды ее так вели с рентгена, водили на рентген в другой корпус через двор, я пришла койка пустая, о как я перепугалась, но зачем меня пустили смотреть на пустую койку, сестричка Марина пустила отомкнула дверь в отделение, когда я поскреблась, а стучать нельзя, больные беспокоятся, и меня предупредили, Ревекка Самойловна еще тогда работала царствие ей небесное, а здравствуйте Мариночка это вам, что вы, что вы, это вам, а, пустяк ручка за 35 копеек, но мне и такую купить сложно, бегала по киоскам, везде за восемьдесят с гаком, ну проходите, и она ушла с ручкой, о как малыш плакал бедный плакал, дай порисовать этой ручечкой, его потрясло, что она красно-синяя, новенькая а теперь он плачет, теперь он не мой, да, моя мама уже стоит качается!

На нее надевают халат, второй халат, полотенце, а санитарка говорит санитару «скорой помощи», полотенце вернешь и два халата и рубашку до пупа, распишись, а моя мама стоит последняя в отделении, ее соседки Красновой уже нет, никого нет, постепенно отделение пустело, кого куда, отделение пустое гулкое одна мать лежала, водила глазами на шум шагов, к ней уже другое отношение, кормят как единственную, жадно ест замшевым ртом, замшевым с усами и бородой ртом, вялым пустым, и лицо сокращается вполовину, когда она жует деснами, шепчет «я не выживу», а выживешь выживешь бабуля, нет я не выживу материально, кой материально, бабуля, сейчас ты у нас поедешь новую больницу тчк ничего что не приехали за тобой, государство так тебя так дело не оставит, раньше смерти не похоронят, везде тебе будет порция каши, ну сейчас будем одеваться, бабуля, вставай страна огромная вставай на смертный бой, ну вот и хорошо, там тебя не бросят, мы к тебе привыкли бабулечка, последняя осталась, у нас завтра в отпуск, кто в отпуск ходит в феврале, мы, мы, мы, эх кому мы будем нужны на старость, так вот в говне и лежит бабуля, эх пошли подмоем ее, неси судно и квач, я кувшином полью, вся опять обмаралась эх, кости да кожа, а, а, а, ведь рожала бабуля, все висит, отстает, надысь ту подмывала что-то под ней лежит, матка выпала, Марина

сказала, эх, бывает, восемьдесят семь лет, она в пятую уехала, пятая хужее!

Бабуля, тебя в хороший интернат повезут, там почище, какунья, простыней на тебя пеленок не напасешься, чисто как ребенок, что, что ты говоришь, что она говорит, вот, убивать таких надо, вколоть укол и все, что ей мучиться, ну вставай бабуля, эх как стюдень дрожит вставай тчк.

Но ведь надо повезти ей что-то надеть, так, так, так, она худая, все мое ей подойдет, ах, нестираное, что делать, это нестираное, то рваное, неудобное, ах, вот когда нужда выступила наружу, нищета и нищета, а нищета это прежде всего белье, заведомая рвань, как им это предъявить, ну хорошо, лифчик ей уже не нужен, хотя полагается, трусы трико есть одни, слава тебе Господи, почти новые, на дне, на самом дне, на случай врача, о счастье, о слезы, так, теперь!

комбинашку, все рваное, что делать сама ношу что попадется, чиню латаю, но редко, а никто не видит, так и сойдет, теперь все вылезло на белый свет, так, Господи, есть, есть, есть вскл есть белая майка бывшего зятя Шуры, спасибо, Шура спасибо птица, так и должно было пригодиться, но, но откуда эта майка здесь, именно здесь, так, слава тебе Господи, чулки и пояс, этот пояс у меня один, ей не подойдет, однако есть спортивные трикотажные штаны, о, как, однако, все пригодилось, и если я найду носки целые, носков целых нет!

я точно знаю, я сносила, поскольку в валенках очень рвется все, так, так, зато есть еще целые бумажные чулки, ура, закатаю внизу, будет как носки, так теперь какие ей туфли!

тьфу, какие могут быть туфли, сейчас зима, стало быть валенки, о, о, о, мой запас валенок, Господи какая здесь в чулане лавина вещей, никак не могла разобрать, сволочь ты, сволочь, живешь как паразитка, ни о чем не думаешь, только о стихах, плачь теперь, вой, в больницу не успеваю, не успеваю оооо!

— Господи! Что ты тут делаешь, мама! Все повыкидывала, не пройдешь. Неужели же это надо делать день в день, как мы приехали (удаляясь) ты подумай, ну ты подумай, здесь малые дети, а она тут пыль, тьфу.

Не успеваю, не успеваю, ура, есть валенки с галошами, ура, слава тебе Господи, так, теперь надо найти платье, ее платья, слава тебе Господи, что она меньше меня и я ничего

не носила и не перешивала, а были мечты из разных платьев скомбинировать, но ничего не скомбинировала с мыслью о старости Алены, вот наступит, дескать, время, и я предъявлю ей, доченька, а у меня целый запас для тебя, Алена, ты ростом удалась в бабушку и такой же характер Акула Глотовна Гитлер, я ее так один раз в мыслях назвала на прощанье, когда она съела по два добавка первого и второго, а я не знала, что в тот момент она уже была сильно беременна, а есть ей там было-то нечего совершенно, так, так, так, есть чудное!

чудное платье, ура, мама ведь совсем худенькая, платье в талию темно-синее в красно-белый цветочек плюс шелковый красно-белый платочек в кармане пришитый, мама была изящная молодая дама на каблучках в злобном женском коллективе, любовники из высшего эшелона, из руководителей, покровители скоты, так, теперь ее пальто слава тебе Господи, с каракулевым воротником, синий коверкот, кто теперь знает эти материи, коверкот, ура, шляпа, нет, шляпа мятая и твердая как валенок, в народе говорят «каляная», уши не закроет, это самое главное закрывать уши, это я твердила малышу, малыш, малыш, не думать, забыть, не плачь, не плачь, нет, вон он жив, он с матерью, сестрой и братиком, ты была ему подстилкой, он вытер об тебя свои шелковые ножки и кинулся к другой матери, мать его острижет теперь, острижет его кудри и отдаст в детский сад как в армию на пятидневку, я прозреваю ход событий, она как мать-одиночка многодетная будет пользоваться благами детсада, тюрьмы для своих детей, их раздать и идти работать, все

все будет нормально!

все!

все!

но как он там будет спать один, а, а, а, как мать твоя спит одна, не будем думать, почти семь лет стоп так, на голову платок шерстяной, а платок в вещах Тимочки, ему нужен при ушных болезнях клетчатый довольно приличный, ага, но он весь в желтых пятнах, это камфарное масло и нельзя выносить на Божий свет.

— Ничего я не беру ничего не роюсь Аленочка но ведь бабушке надо что-то на голову старая голова это же тебе не жиринки черепок и кожица.

поняла, волос почти нет!

нигде!

нигде ничего нет, так, так я придумала, у меня есть

шарф старый полушерстяной, я ношу его на шею, но мне особенно не надо и потом это на один раз, так, я подниму воротник, так, теперь необходим чемодан, где, на шкафу, тьфу, какая пыль, обтереть тряпкой, время, время, время, ффу, теперь надо постелить свежее белье и потом где взять клеенку, Аленочка, прости еще раз, у тебя нет лишней клееночки, нету, ах нету, так я и думала, так, разорву полиэтиленовый пакет, или вот что, я попрошу старую в больнице не откажут списанное, так, бегом

бегом!

бегом с тяжелым чемоданом, вечный путь, пятьдесят два раза в год плюс на Новый год плюс Первое мая и Восьмое марта плюс день ее рождения, то ли девятого, то ли десятого, на всякий случай хожу девятого и седьмого еще ноября, поскольку покойница Ревекка, благородная женщина, деликатно намекнула, что именно в праздники бабульки чувствуют себя плохо, плачут, умирают, ничего не едят и хотят снотворного, кто тебя теперь вспоминает, Ревекка, я вспоминаю, ты была богом для нас, о Господи, какая тяжесть, ее наверно увезли, куда я мчусь, уже час дня, уже машина, насквозь ледяная «скорая помощь», уже ее везут, уже увезли, приеду, тьфу, все давно заперто, персонал в отпуске, внутри ходят маляры, а хуже маляров, что интересно, никто никогда не одевается, сколько лет не делала ремонт, о, о, о, о чем тут думать, уступите мне место, молодой человек, сейчас упаду ох благодарю не ожидал, это цитата, о Господи, сколько стоит на остановках, плетется, как я буду ее везти, если все-таки ее не увезли, а, надеешься на это, плять, низкая душа, доплелись, теперь метро, гул, но без пересадок, не люблю метро, гул, так страшно, все смотрят, куда едет эта высокая женщина с чемоданом с таким измученным лицом, а что касается зубов, не разжимая губ живи и помни, не улыбаться, как на почте, приду, а они говорят, мы о вас говорили, что говорили, что никак не идет эта высокая с ребенком? да, мы говорили, что-то ту бабулю с внучком не видать, перевод лежит на два раза по семь рублей, ой, спасибо, это за мою литературную работу, я ведь поэт, спасибо, вы всегда меня выручаете, двадцать-то копеек оставьте себе, купите конфету ребенку от моего имени, когда выйдет книга, подарю, ой, ай, уступите мне это место, девушка, так трудно стоять, измучилась, падаю, спасибо, так, едем!

едем едем, все-таки приданое получилось довольно сносное, а как же, старые люди всегда носят все старинное,

они это любят, ах ее брошь, я забыла, костяная на груди, и не будет ей задувать, ладно, хорошо, сниму свою шерстяную кофту, так, очередь на маршрутку, разрешите мне без очереди, мне нельзя опаздывать, психбольницу закрывают, да, да, я именно что психбольная, это вы угадали, да, со справкой, ну, что же вы, толкните меня еще раз, товарищ, ай, ой, дайте руку, я не влезу с чемоданом, уфф маршрутное такси это такое благо, раньше тут только на трамвае, передайте, а, а, почему, ах да, за чемодан двойная плата, забыла, и чего мы ждем, все вакантные места заполнены, ямщик, подгони лошадей, поехали

так, бегом, волочи чемодан по лестнице, сердце стук, стук, стук, «скорой помощи» у порога уже нет, или еще, стук, бух, бух, бух извините, что так колочу, здравствуйте, я за мамой, я забираю ее домой, я не опоздала, нет, о счастье, извините я должна была позвонить, но прособиралась, о, как я боялась, а что, машина едет

ах, извините, у меня дочь приехала с тремя внучатами, несчастная, одна, все ее бросили, все, я одна на всех, сына спасла от гибели, да, все я одна, да, ему угрожали уголовники, кому-то он был должен, я расплатилась, теперь он мне предан, но он болен, он инвалид без одной пяты, теперь меня рвут на части, кашку вари, эту качай, этого одевай, тому сказку, знаете, я счастливая бабушка, дивные внучата Тимофей, Екатерина, Николай, дивные имена, и плюс маме вещи собирала, да, а зачем вы мне пишете выписку, что это, ДЗ вялотекущая шизо (далее росчерк), ах да, дадут по ней бесплатные лекарства, нет, вы мне дайте просто ту, которую вы оформляли в интернат, просто так, на память, вас как зовут, Сонечка, солнечное имечко, какое удивительное в наше время, имя героини Достоевского, будьте так любезны

минуточку, я хотела вам подарить на память мои стихи с надписью, я ведь поэт, но такая сутолока, забыла дома, но ничего, это от вас не уйдет, вы ведь тут еще после отпуска будете, всем подарю, у меня выходит книга стихов

со стихами, у, заживем, я ведь, знаете, поэт, а поэты нищий народ и не от мира сего, кончают жизнь в забвении, ах, если бы была такая возможность, если бы не нужда, о чем бы было говорить, но у вас нет ли чего списанного, ну там судно, ну клеенка, старые простынки, можно рвань, я сошью куски, ну буквально нечего подстелить бабульке, а вы ведь новенькая, а моя матушка здесь ветеран вскл О я вам благодарна! О, кувшин, о, это судно? Квач, так, я пони-

маю. И пеленки!!! И клеенки!!! Ничего, я отмою! А марганцовочки... Ничего, все валите, и вату, чемодан-то будет пустой. И хлорка! О радость. Ну, ее приведете или уже можно мне прямо в палату? Здравствуй, привет, как поживаешь? Сейчас я тебя одену, и мы поедем домой. Пипи сделаешь на дорожку? Я тебе подложу судно, пись-пись-пись. Ну. Давай. Молодцом! Писнула все-таки. Сонечка, она ведь все понимает: удивительно! Сонечка, а ее лекарства... Я понимаю, рецептов вы не даете... Но ее-то лекарства посмотрите в истории болезни записаны... Мама, одеваемся. Поднимайся. Голова голая! Ее побрили.... лысая. Так, молодец. Ой какие ногти, надо будет остричь, отросли как у Вия, а на руках тоже, как же за тобой тут смотрели, ничего, видишь, и трико тут целое, и майка беленькая, видишь, тебе прямо ниже колен, как комбинация, ну маленькая какая у нас мама, а валенки потом, держись за меня, чулочки сверху, штаны в них, валенки потом, теперь платье до пяток, тогда так носили, уфф, спина болит, не разогнуться, оо, спасибо, чудесная девочка Сонечка нам принесла лекарства про запас, я и просить-то боялась, видите, Сонечка, мою куколку, Господи, какой запах от этого тела, больной зверь, голова кружится, нет ли у вас валерианочки, Сонечка, так, мама, вставай в валенки, ногти-то не мешают ли —

Не колыхайся, колени не подгибай, как же я тебя поволоку-то, о, Сонечка, спасибо, глумглумглум, валерианка это чудо, ничего в жизни не пила страшней валерианки, а, ах, Сонечка, как же я ее потащу, она же не ходит, вы говорили, едет машина, а нельзя ли сказать шоферу, что нам надо не за город, а гораздо ближе, метро такое-то, семь минут ходьбы, умоляю вас, а у меня нет денег на такси, нету, нету совершенно, книга-то еще не вышла, а выйдет, я всем отдам кому обязана, а, Сонечка.

— Бабуля, — трезво отвечает Сонечка, — если вы ее забираете, то это не больница развозит.

Ну в виде исключения, Сонечка, ну хотите, я встану на колени, ну не мучайте нас, отвезите, ну врачей нет, никого нет кого умолять...

— Это с шофером, это с ним. — И Сонечка, потерявши интерес, убирается от греха подальше.

Мы одеты, мама сидит скрючившись как эмбрион, поникнув головой, еще немного — и она описяется, я уже чувствую, куда идет дело. Гром на лестнице, в коридор входит санитар

— Больная Голубева!

— Здесь, здесь, я ее провожаю, все-все документы у меня. Голубчик, помогите ей одолеть лестницу.

Сонечка издали наблюдает эту драму, мы выходим на лестницу, она запирает дверь с той стороны особым ключом, все.

Моя матушка в валенках, как кот в сапогах, передвигается дико и странно, санитар, средних лет мужчина в белом, ведет ее под локоть и под спину, лестница. Мама в большой шапке, свою шапку я вынуждена была надеть на мать, из шарфа она вообще ежеминутно выпадала, как кукушка из часов.

Мы в машине.

— Простите меня великодушно, как вы поедете?

— В пятую.

— Это далеко? В пятую, сказали ведь в другую...

— Это-то? Порядочно. Часа три в одну сторону.

— А потом?

— А потом обратно в город. Но на подстанцию, это не здесь.

— Вы знаете... Я предлагаю вам вот какой выход из положения. Как хотите, можете везти ее в этот интернат... Как хотите... А можете везти всего-навсего здесь двадцать минут езды.

— Это куда?

— Документы вот у меня. Я вам отдаю справку, что я ее забрала домой. И все. Неожиданно, понимаете? И пять часов вы свободны.

— Так. Бабуля, вы тут что... вы ее забираете так забирайте, нечего нам тут... ваньку, понимаешь... Берите и везите на такси сами.

— Нет. Если вы ее не везете сюда, то мы с вами едем туда, в пятую, вместе, а уже оттуда вам главврач даст указание везти ее домой как передумавшую. Я так и так с ним договорюсь, я бы и здесь договорилась, Дезы не было, заведующей. Потому что таких возят, возят, я вам говорю, на «скорых помощах» именно. Просто здесь сейчас главврач и Деза в отпуске, иначе все было бы проще. Ну, поехали.

— Давайте бумаги.

— Бумаги я вам отдам у подъезда моего дома, ребята, ну что вы, в самом деле, вам же легче. Не ходит она, не ходит.

— Это вы не с нами тогда везите, у нас путевка туда, кто нам подпишет?

— Ну едем туда, там вам подпишут, но на обратном пути

мы все равно поедем к иам домой. Я вам это гараитирую. Не ближний свет, шесть часов по морозу. А лучше всего скажите на подстанции, что больную забрали домой, и все, даром проездили.

— Мы сами зиаем, что говорить...

— А я вам дам в подтверждение эту бумагу. И все. Ну подумайте, в такую погоду, не дай Бог она умрет... Ребята...

— Выходи! Выходите все! Мы и так вернемся, без вас.

— Нет. Без нас вы никуда, а с иами вы поедете туда.

— Так... Много мы видели сумасшедших. Вас же саму иадо, тебя надо в дурдом! Вы же старая женщина! Старая!

Я вся дрожала, но валерьянка, драгоценный кореиь жизии, делала свое дело. Собранная, энергичная, волевая, я действовала на эти тупые мозги так мощио, что оии были готовы убить меия оба. Они ясио понимали, что что-то здесь происходит ие то, и готовы были тронуться в пятую, одиако перспектива провести шесть часов со мной в машине их тоже не радовала. С другой стороны (прослеживала я ход их мыслей), здесь спокойиый иаряд, а вериувшись раиьше времеии иа подстаиицию, оии могут получить иаправлеиие куда-нибудь почище, к белой горячке или к топору в запертой квартире. Да. Жизнь.

— Я вам очень и очень сочувствую, искрение прямо, ио положеиие безнадежиое, я ее сопровождаю и буду сопровождать, куда бы она ии поехала, и вы меия ие выкинете. Вы не имеете права везти ее без докумеитов.

— Да к тебе надо врача со шприцом!

Странная ситуация, в психперевозку поиадобился врач со шприцем.

— Смотрите, сейчас оиа обосрется у вас тут, ее покормили. Я ее раздеиу. Я ие собираюсь стирать все это, и оиа сходит вам иа пол (про судно в чемодаие я молчала).

Моя старушка что-то забулькала, лежа иа койке. Я сидела у ее изголовья.

Оии мрачно иа меня смотрели из кабины.

— Везите нас скорее. Здесь полчаса.

Мрачно, мрачно, с сердцем шофер тронулся. Я прокричала адрес. Они ие шелохнулись и не прореагировали. Они иас повезли. Куда? Путь был сложеи. Куда иас везли? Куда? Я лишеиа была возможности видеть, стекла ведь в таких машинах забелены специально, чтобы не волновать окружающих. Врачебные тайны, врачебные тайны, что происходит под вашим покровом! Роды, иасилие, пытки, боль, преступлеиия против иравственности, кровь, скру-

ченные руки, крики, последнее отчаяние, смерть. Санитары это власть, это деспотия, не знающая неповиновения и милосердия, и дорого бы дал этот санитар, чтобы всадить мне укол и показать, кто здесь тля, а кто тиран и начальник.

Через буквально десяток минут шофер остановил и сказал, что приехали. Приехали. Но каким образом? Откуда они узнали, как подъезжать, — ах да, им дали историю болезни, ах и ох, но ведь к нам трудно разобраться, поворот во двор совершенно из другого переулка, те считанные разы, когда я брала такси, — куда, куда он привез, совсем не туда, а стекла замалеванные —

— Будьте добры, вы с той ли стороны заехали, а то мне трудно бабушку выводить, я понимаю, мне уже никто не поможет, я бы взяла такси, но пенсия, вот в чем вопрос, только послезавтра, не могли бы вы сказать, где мы находимся, у меня топографический кретинизм, ха, ха, ха, вечно не понимаю, как добраться — какое место —

— Приехали, приехали, то, то.

Я выставила чемодан на снег, долго выводила мою старушку, она была хоть и невесомая, но какая-то каменная, неповоротливая. Два здоровых лба сидели и курили, и «скорая» вывернулась из-под наших ног буквально в ту же секунду, когда я захлопнула дверь. Как буквально живое существо, как таракан, вывернулась и укатила.

Где-то мы стояли, на каком-то мосту, серым днем, ближе к вечеру, у обочины. Справа дымили огромные трубы, под мостом проходили железнодорожные пути, открывались огромные производственные дали. Мимо проехал незнакомый трамвай приглушенно по снегу, стояли на той стороне какие-то кирпичные дома, шли небольшие осадки. Я все дрожала. Где мы находимся?

Но, но! Не война, не под танками. Санитары да, они все поняли, ну не первый же раз. Ну они возят каждый день по сто человеческих отбросов. Сколько они видели-перевидели таких хитрых родственников, которые хотят забрать домой своих старичков и детей, не отдают их дальше на смерть и растерзание, сколько, ха, ха. Они поневоле научились.

Мы тряслись, расположившись на одном месте, у края тротуара. Я посадила бабу на чемодан, она сидела скрючившись, в той же позе эмбриона. Вдруг она вздрогнула всем телом и опять поникла, и я поняла, что в этот момент она

помочилась в валенки. Сейчас ей тепло. Через пять минут она замерзнет. Я ее подняла под мышку, взяла чемодан и поволокла скрюченное, окаменевшее тельце по снегу ближе к трамваю, будь что будет, мне помогут. В трамвае тепло, и куда-нибудь доедем.

Сзади, фырча, надвинулась какая-то машина. Подождут. Хлопнула дверца.

— Ложите ее давайте, чего там, — сказал мужской голос, и бабулю у меня перехватили под мышки. Я повернулась и пошла следом, волоча чемодан.

У обочины стояла «скорая помощь». В лицо секла метель. Кто-то вызвал, подумала я, спасибо добрым людям. Мы подошли к дверям, мужчина открыл дверцу. Я разглядела его сквозь обледеневшие ресницы! Это был все тот же он, санитар психоперевозки. Они вернулись. Санитар быстро, умело поднял тело моей мамы в машину, уложил ее. В машине, я чувствовала, было тепло, горела лампочка. Мама лежала на носилках, санитар укрыл ее сверх мокрого пальто каким-то их рубищем. Мама лежала на белой подушке в слишком большой шапке горшком, с провалившимся ртом и малюсенькими щелочками глаз. Глаза были мокрые, как и все лицо.

— Ну подписывайте, — сказал мне санитар и подсунул мне бумажку.

Вот зачем они возвращались. Все должно было быть подписано.

Дома дети, Алена, я ей нужна, куда в этот детский очаг наше говно и пропахшие мочой одежды, наша старость. Вообразить рядом запахи мыльца, флоксов, глаженых пеленок, зачем я все эти сутки пугала мою бедную Алену, мне самой-то надо уйти.

Санитар влез с моей подписью в машину, поправил еще маму, оглядываясь на меня. Возможно, он ждал, что я с ней попрощаюсь. Потом он вылез, захлопнул с силой дверцу, залез к шоферу, хлопнул еще своей дверцей, и машина тяжело тронулась.

У ближайшего мусорного контейнера я разгрузила свой чемодан, выбросила пахнущие хлоркой пеленки, остро воняющую клеенку, квач и утку, свои сокровища периода надежд. Туда же пошли рваные простыни, я оставила только ком ваты.

Теперь Алена меня полностью загрузит детьми, думала я, бросит на меня троих, а как же так, мне надо съездить к

маме туда. Почему я не обтерла ей лицо? Что было так каменеть, обычное дело, старца везут в богадельню, божие дело этих санитаров. Что было так рыдать на скамейке в метро, люди смотрели, глупость. Закон. Закон природы. Старое уступает место молодым, деткам.

Я подошла к моей священной обители, не стала звонить, тихо так открыла, было темно и тепло, пахло маленьким ребенком и пригорелым молочком, на кухне урчал явно пустой холодильник, надо выключить, все можно хранить на балконе. Так я размышляла, прокрадываясь к себе, стащила с себя все мокрое, вымылась тихо, пропарилась, легла в свою кровать. Теперь я проснусь среди ночи, мое время, ночь, свидание со звездами и с Богом, время разговора, все записываю.

В квартире полная тишина, холодильник выключен, издалека тупые, глухие удары: соседка Нюра дробит кости на суп детям, сколько раз ей говорили, чтобы она прекратила по ночам эти леденящие душу удары, как поступь судьбы. Почему такая полнейшая тишина, трое детей ведь! Никто не пикнул, молодцы, устали. И мать не шляется по квартире то молочка согреть, то пеленку сухую. Молодец. Все тихо и эти удары. Шаги судьбы. Что же они молчат?! Молодцы. Спят мертвецким сном. Спят как мертвые. Полная тишина. Живы ли, вот вопрос. Живые дети так не спят. Совсем не ворочаются. Уже всю ночь тишина. Что еще эта сумасшедшая натворила с собой и детьми? Живы ли? Полное молчание. Я и всю-то жизнь прокрадывалась к детским постелькам послушать, дышат ли. Иногда дыхание такое слабенькое, спят как умерли. Как сейчас. Не придумывай на свою голову. Какая тишина! Далекие удары. Совсем Нюра с ума тронулась, все жалуются. Кормить нечем, она пустые кости где-то достает детям. Потом сутки вываривает, делает холодец, молодец. Спят как убитые, молодцы. Не могу туда идти. Не могу знать. Не могу предугадывать насчет четырех гробов мал мала меньше, и как все это хоронить?! Как, скажите мне! Зима, цветы! Какие могут быть еще зимой цветы! Андрюша запьет. Подлец не явится от ужаса передо мной и этой погубленной маленькой жизнью. Ветер будет трепать на мертвой головенке легкие кудри. Ветер создаст впечатление живых волос. Как она это совершила, гадина! Таблетки! У нее всегда были в запасе таблетки. За что детей? Тому последнему и вообще крошка понадобилась, растворила в молоке. У мертвых выражение лица облегчение как после слез. В ряд лежат. Сколько можно бить по

костям, я спрашиваю? Удары судьбы. Нюра, хватит! Пойти постучать ей в дверь. Можно просто сойти с разума. Ответит матом, распаренная трудовая женщина, с визгом. Все давно привыкли и спят. Господи! Господи!!! Спаси и помилуй!

Я сделала две вещи. Первое, я не выдержала и пошла к Нюрке. Я ей сказала пару слов на ее языке, что заявлю, что ее Генка ворует телефоны, если она не понимает простых вещей. Мы с детьми видели. Срезал трубку. Она только разинула пасть для мата в разгар трудовой деятельности, как я захлопнула с треском ее дверь. Пусть подумает. Далее. Я решительно поднялась к себе и вошла в комнату своей дочери, и там при свете включенной лампочки никого не оказалось. На полу лежала сплющенная пыльная соска. Она их увела, полное разорение. Ни Тимы, ни детей. Куда? Куда-то нашла. Это ее дело. Важно, что живы. Живые ушли от меня. Алена, Тима, Катя, крошечный Николай тоже ушел. Алена, Тима, Катя, Николай, Андрей, Серафима, Анна, простите слезы

СОДЕРЖАНИЕ

В садах других возможностей

Монологи

Людмила Стефановна Петрушевская

ПО ДОРОГЕ БОГА ЭРОСА

Редактор *Т. Д. Дажина*
Технический редактор *Т. С. Казовская*
Корректура автора

Подписано в печать 18.03.93. Формат 84 x 108 1/32. Бумага тип.
Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 20,38.
Тираж 50 000 экз.

Издание подготовлено к печати на персональных компьютерах. Редакционно-производственное агентство «Олимп», 121069, Москва, а/я 68.
Издательство Русского ПЕН-центра «ППП» (Проза. Поэзия. Публицистика), 103031, Москва, Неглинная ул., 18/1. Тульская типография, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109. Заказ № 40

Серия «My best»

Выпуск первый

Фазиль Искандер
Человек и его окрестности
Роман

•

Людмила Петрушевская
По дороге бога Эроса
Повести и рассказы

•

Гюнтер Грасс
Встреча в Тельгте. Из дневника улитки
Пер. с нем.

•

Джон Ле Карре
Ночной менеджер
Роман. Пер. с англ.

•

Булат Окуджава
Заезжий музыкант
Поэзия и проза

•

Эли Визель
Ночь. Рассвет. День
Трилогия. Пер. с франц.

•

Подписка на первый выпуск продолжается.
О последующих выпусках будет объявлено дополнительно.
Контактные телефоны: (095) 200-63-97, 331-01-54

Людмила Петрушевская пнсать начала поздно. За ее творческую жизнь на роднне вышло всего трн книги, не считая огоньковской брошюры, — кннга прозы «Бессмертная любовь» (1988) и два изданння пьес — «Пьесы XX века» (1988) и «Трн девушкн в голубом» (1989).

Перед читателем нанболее полное собрание прозы, составленное самнм автором.